

ГРАНИ

GRANY

51

1962

Postverlagsort: Frankfurt (Main), Mai 1962

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XVII

№ 51

1962 г.

СОДЕРЖАНИЕ

«Дело» Михаила Александровича Наризицы-Нарымова	3
К 125-летию со дня смерти А. С. Пушкина	13
В. ЖУКОВСКИЙ — Письмо к С. Л. Пушкину	14

ПРОЗА

НИКОЛАЙ ЕЛЕНЕВ — Две сказки: Предводитель собачества. Под Млечным путем	25
К двадцатипятилетию со дня смерти Евг. Замятина	
ЕВГ. ЗАМЯТИН — Ела. (Повесть)	43
ЮРИЙ АННЕНКОВ — Евгений Замятин. (Воспоминания)	60

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

П. ЗАМИР — В арестантском вагоне	97
----------------------------------	----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГЕОРГИЙ МЕЙЕР — Свет в ночи. (Опыт медленного чтения)	120
ЭММАНУИЛ РАЙС — Сорокалетие русской поэзии в СССР (окончание)	140
Стихотворное приложение	149

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

ГЛЕБ РАР — Первые православные японцы	170
---------------------------------------	-----

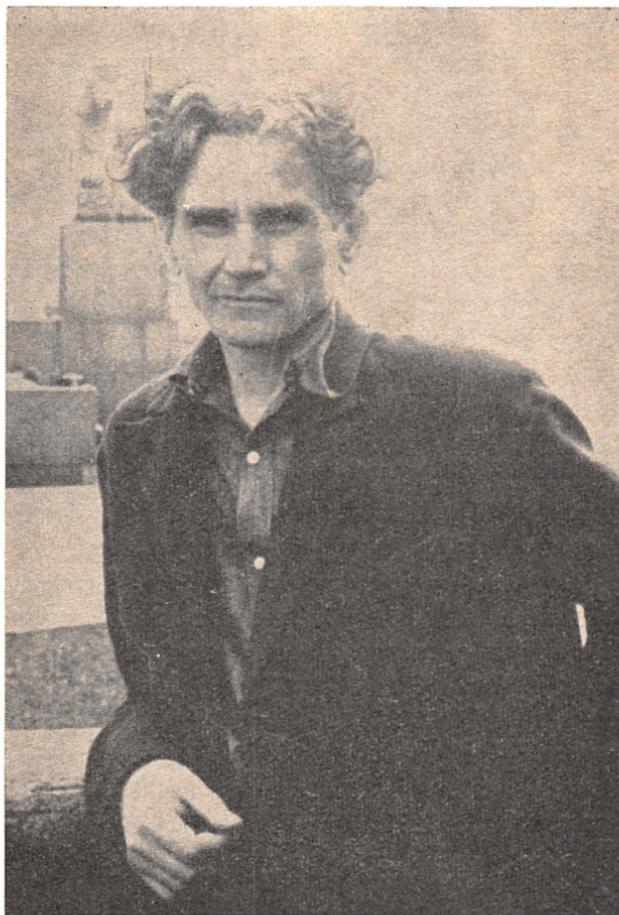
ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

КАРЛ ЯСПЕРС — Философская автобиография (продолжение)	179
КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ — Современность и будущее (продолжение)	193
В. САВИН — Финансовая система хозрасчета	214

БИБЛИОГРАФИЯ

С. Сокольников. Благодарная память сердца. — Н. Тарасова.	
Лунный поэт. — Г. Шикин. Дальневосточная трагедия	231
Хронология важнейших событий (июль — декабрь 1961 г.)	240
Обращение издательства «ПОСЕВ»	247

«Дело» Михаила Александровича Нарицы-Нарымова



М. А. НАРИЦА-НАРЫМОВ

«Дело» писателя и скульптора Михаила Александровича Нарыцы, роман которого был вывезен из СССР и опубликован в 48 номере нашего журнала под псевдонимом Нарымов, есть *гласная* победа человеческого духа над бесчеловечностью нашей эпохи. О негласных мы и не говорим — они есть, и только ими и держится еще наша земля, как некогда держалась на десяти библейских праведниках.

И вот перед нами стоит человек, жизнь которого представляет собой удивительную противоположность тому, что из нее пытался в течение десятилетий сделать тоталитарный режим в России, поставивший своей целью «расчеловечивание человека».

Страдания без вины виноватого и вопиющая несправедливость власти, швырявшей Михаила Александровича четырнадцать лет из его пятидесятитрехлетней жизни по тюрьмам, концлагерям, поселениям для «сильных» и принудительным работам, не только не сломали его волю и не уничтожили человеческое достоинство, но привели к мощному сосредоточению всех духовных сил и страстной жажде справедливости:

«Вчера долго любовался северным сиянием. Оно было грандиозно! Все снопы света шли к центру, прямо над головой. Небо напоминало гигантский купол, — пишет герой романа «Неспетая песня» Антон своей жене из концлагеря. — Я ходил и думал, что зло не вечно, думал о торжестве справедливости».

Произвол и тупая жестокость власти превратили его не в загнанного в подполье труса, готового каждого продать и предать ради собственного сомнительного благополучия, а в человека, сохранившего для мужественного подвига: оставаясь в полной власти государственного произвола, Михаил Александрович Нарича выходит на бой, как Давид с пращей против Голиафа:

«И если Вы серьезно претендуете на роль носителей ума, чести и совести (а к этому Вас обязывает Ваше положение и угроза всеобщей гибели), то примите мой вызов на честную, открытую борьбу в одних вопросах и честное сотрудничество — в других», пишет он в письме к Хрущеву.

Насильственное расчленение семьи и долготетное систематическое растрепывание ее оборачивается в случае Наричы в потрясающую семейную верность и солидарность. Ни жена, ни дети не оставляли своего мужа и отца в нужде и горе и следовали за ним, деля его участь и любовью питая и поддерживая его. Эта семья — пример органически целого духовного организма, могущего выдержать любые потрясения и испытания злом и горем. С полным правом пишет Михаил Александрович в том же письме к Хрущеву:

«Моя семья полностью разделяет мои взгляды, помогала мне в работе не только материально, но принимала весьма существенное участие и в творческой работе».

Систематическое истребление творческой мысли привели Наричу к животворному рождению ее и к упорному творческому труду: в продолжение восьми лет, начав в ссылке, работает он над

своим романом «Неспетая песня», стремясь в нем «изобразить не столько истерзанное тело, сколько истерзанную душу; трагедию гения и торжество пошлости, ведущей к гибели всё человечество». (Из письма к Хрущеву). А эпитафией к своему роману избирает слова Ромэна Роллана: «Трижды убийца — убивающий мысль!..»

Открытое издевательское торжество Зла и опыт государственной преступности приводят Михаила Александровича Наричу к равному отрицанию капитализма и социализма:

«К капитализму я отношусь как к безнравственной и разлагающей системе, но то, что Вы называете социализмом — всего лишь разновидность капитализма».

Его дух устремляется в будущее, с неизбежной российской мечтой о таком государственном строе, который будет держаться не насилием капитала и не насилием над человеческим духом, а на тех справедливых и добрых основах, которые дадут наконец возможность жить людям крошечным, добрым и радостным, — «способным быть счастливыми, не делая несчастными других». Эта мысль, на которой оканчивается «Неспетая песня» и которой пронизаны неповторимо прекрасные образы жены Антона Лиды и их маленького сына Приши, глубоко укоренена в Евангельской заповеди блаженства: «Блаженни крошечии...»

В дни, когда пишутся эти строки, весь мир узнал и говорит о подвиге этого человека. И то, что тайное стало явным — не меньшее чудо, чем сама жизнь Михаила Александровича. Тот, Кто слил тысячи случайностей и причудливых совпадений таким образом, чтобы никому неизвестный человек вдруг стал известен *всем*, чтобы людям раскрылась и стала доступной красота его духа — совершил это с целью: перед нами предстала возможность проявить *свое* добро и *свою* человеческую солидарность. В судьбе этого человека брезжит и для нас великая надежда на иное — светлое — будущее.

Михаил Александрович Нарича снова заточен в тюрьму, брошен в тюремный сумасшедший дом, ожидает черного суда «при закрытых дверях»... Но это лишь физическое тело его подвергается гонениям Зла. Дух бодрствует и через все препяды — с людьми. И люди — с ним: и студенты, возмущившиеся арестом Наричы и увольнением его сына, и скульптор, принявший тотчас его сына к себе на работу, и адвокат, бесстрашно взявшийся за опасное дело защиты мужественного человека. А за всеми этими людьми, пробужденными к достойной жизни подвигом Михаила Александровича, встают в упрямом рассеивающемся тумане величественные контуры новой России...

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАРИЖЕ

В четверг, 15 марта 1962 года, в 3 часа дня, в Париже, в отеле Палэ д'Орсей, редакция журнала «ГРАНИ» дала пресс-конференцию представителям парижской и иностранной прессы, посвященную «делу» писателя и скульптора Михаила Александровича Нарницы (литературный псевдоним в Гранях — Нарымов). На пресс-конференции присутствовало двадцать журналистов, представляющих работников агентств печати — «Юнайтед пресс интернейшил», «Дейтше прессе агентур», «Франс пресс»; газет — «Фигаро», «Фигаро литерер», «Ле монд», «Орор», «Паризьен либере» (Франция), «Санди телеграф» (Англия), «Де телеграаф» (Голландия); радио «Голос Америки», «Свобода», «Голос Израйля»; представители печати политической эмиграции из стран, поработанных коммунизмом, и другие. Председательствовал на пресс-конференции проф. Парижского университета И. Г. Трэн, в президиуме находились редактор журнала «ГРАНИ» Н. Б. Тарасова и сотрудник журнала Э. М. Райс. В своем выступлении проф. Трэн изложил суть «дела» М. А. Нарницы и охарактеризовал профиль журнала «ГРАНИ». Н. Тарасова и Э. Райс отвечали на вопросы работников печати и радио.

МАТЕРИАЛЫ, ОГЛАШЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ ЖУРНАЛА «ГРАНИ» НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Писатель М. А. Нарница, закончивший свою повесть «Неспетая песня» в начале 1960 года, искал пути для пересылки ее за границу.

В августе 1960 года М. А. Нарница в Эрмитаже, в Ленинграде, смешавшись с толпой иностранных туристов, вложил в руки одной француженки рукопись в конверте, на котором на нескольких европейских языках была написана просьба увезти рукопись за границу. Француженка испугалась и бросила пакет на пол.

Инцидент повлек за собой то, что и писатель М. А. Нарница и француженка оказались в милиции. Однако француженка — к ее чести — на допросе в милиции отказалась подтвердить, что человеком, передавшим ей рукопись, был М. А. Нарница, и заявила, что пакет передал ей кто-то другой. М. А. Нарница, в свою очередь, отрицал, что он что-либо передавал француженке. М. А. Нарница был отпущен.

В августе-сентябре 1960 года М. А. Нарница сделал еще не-

сколько попыток переслать рукопись за границу и, видимо, уверился, что они увенчались успехом.

После этого, в сентябре 1960 года, он направил второй экземпляр рукописи Хрущеву с сопроводительным письмом. В этом письме писатель мужественно поднял голос в защиту свободы творчества, бесстрашно обличал тоталитарные коммунистические порядки.

Ответа от Хрущева не последовало. Тогда М. А. Нарница и члены его семьи подали прошение в Верховный Совет СССР с просьбой освободить их от советского гражданства и разрешить выехать на Запад, в ту страну, которая готова была бы их принять. В этом прошении говорилось, что на Западе «существует относительная свобода» для художников, тогда как в Советском Союзе ее вообще нет.

В мае 1961 года всю семью М. А. Нарницы вызвали на допрос и спросили, что они имели в виду, подавая такое прошение. Они настаивали на своем желании покинуть СССР и повторили, что в Советском Союзе нет свободы для художников. Тогда им было заявлено, что прошение не может быть рассмотрено, пока к нему не приложен гербовый сбор в размере 250 новых рублей (50 рублей за каждого члена семьи М. А. Нарницы). Таких средств у них не было, и вопрос с прошением остался открытым.

Что касается судьбы рукописи повести «Неспетая песня», пересланной М. А. Нарницей за границу, то она в феврале 1961 года попала через проф. К. Менерта в редакцию журнала «Грани» и была опубликована в № 48, вышедшем в конце июля 1961 года.

Хотя редакции «Граней» и было известно от самого автора его имя, она опубликовала повесть под псевдонимом М. Нарымов, так как не знала тогда, что М. А. Нарница выступил с открытым забралом, послал экземпляры рукописи и письмо Хрущеву.

В июле 1961 года редакция «Граней» получила второй экземпляр рукописи «Неспетая песня», вывезенный из СССР другим человеком.

По полученным из Ленинграда сведениям, М. А. Нарница был арестован органами КГБ 13 октября 1961 года. Его жена и сын подверглись допросу.

При аресте был сделан обыск, во время которого были найдены еще два экземпляра рукописи. Ни М. А. Нарница, ни члены его семьи в это время не знали, что рукопись уже опубликована.

Теперь М. А. Нарница знает, что его роман увидел свет. По его словам, этим достигнута цель его жизни. Он считает, что моральным долгом каждого автора является открытая защита

своих убеждений, даже в ущерб благополучию его (самого и его близких).

Редакции «Граней» неизвестно, состоялся ли уже суд над М. А. Наричей. Но ей известно, что среди ленинградских адвокатов нашлись желающие защищать писателя. Один из них и перенял дело.

В середине декабря 1961 года следственные власти сделали попытку объявить М. А. Наричу умалишенным и перевели его в тюремную больницу, где, по существующему законодательству, могли держать его лишь в течение трех недель.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПИСАТЕЛЯ

Михаил Александрович Нарича родился в Псковской губернии в 1909 году. В свои детские годы он потерял отца, которого очень любил. Мать вторично вышла замуж. Из протеста М. А. Нарича покинул родительский дом и жил у тетки, а затем в детском доме.

С юношеских лет у М. А. Наричи появилась большая тяга к искусству, в частности, к скульптуре, и он поступил в художественный техникум в Ленинграде. После окончания техникума год преподавал в нем. В 1933 году женился на ленинградской студентке и переселился с нею в Архангельск. Через год они вернулись в Ленинград, где у них родился сын — Федор. В 1935 году М. А. Нарича был принят в Академию художеств в Ленинграде. В это время в стране проходила волна арестов, которая коснулась также М. А. Наричи. Он был арестован в 1935 году и после шести месяцев одиночного заключения был приговорен к пяти годам концлагеря (ИТЛ), которые отбыл в Ухто-Печорском лагере.

Жена, теща и ребенок были также репрессированы: высланы на Север. Устроиться на работу по месту ссылки жена М. А. Наричи не могла. Распродав все, что у нее было, семья его стала голодать. Тогда жена его направила письмо Вышинскому, с просьбой предоставить ей работу для прокормления семьи или же отправить их в концлагерь. В результате уполномоченный НКВД по району направил ее на работу счетоводом на лесозаготовительный пункт.

В 1940 году М. А. Нарича вышел из концлагеря и, несмотря на очень плохое состояние здоровья, был сразу отправлен, как бывший заключенный, в рабочий батальон. Через 6 месяцев М. А.

Нарица по инвалидности был отпущен и подвергся операции язвы желудка.

В 1941 году, когда М. А. Нарница с семьей проживал в колхозе под Архангельском, у него родился сын Петр.

В 1948 году власти выселили из Архангельской области всех бывших в заключении по статье 58 У. К. РСФСР (политическая антисоветская деятельность). М. А. Нарница с семьей переселился в город Лугу. В 1949 году во время «ждановщины» М. А. Нарница был снова арестован и пробыл год в тюрьме. После этого его отправили на принудительное поселение в Караганду, куда за ним переехала и семья.

С 1954 года открылась возможность добиться реабилитации. Однако М. А. Нарница долго отказывался подавать соответствующее прошение, рассматривая его как унижение перед властью. Прощение он подал только по настоянию жены и был реабилитирован в 1957 году.

После реабилитации М. А. Нарнице удалось добиться разрешения вернуться в Ленинград и даже получить комнату в коммунальной квартире. Его снова приняли в Академию художеств. Старший сын Федор в эти годы находился на Севере, где кончил медицинский вуз и обзавелся семьей.

Свою повесть М. А. Нарница писал 8 лет и закончил ее в начале 1960 года.

Сын М. А. Нарницы — Петр, который до ареста отца работал в качестве натурщика в Академии художеств, был уволен скульптором, которому он позировал. Многие студенты Академии были возмущены эпид, но нашелся другой художник, который дал ему работу. Арест отца так подействовал на сына, что он пытался покончить жизнь самоубийством, приняв веронал. Его доставили в больницу и, несмотря на критическое положение, спасли.

ПИСЬМО М. А. НАРИЦЫ-НАРЫМОВА ХРУЩЕВУ

Никита Сергеевич, в начале августа я был задержан в Эрмитаже тайными сотрудниками государственных органов... после передачи рукописи моего романа «Неспетая песня» одному из членов французской делегации, приехавшей из Парижа в автобусе. В этом экземпляре рукописи, брошенной перепуганной французской женщиной на пол (её также задержали), не было моей фамилии, так как я не был уверен в успехе передачи пакета этой делегации. Это

дало мне возможность временно отрицать свое авторство. (На то, чтобы так поступить, у меня были некоторые соображения).

У меня есть теперь основания быть спокойным за судьбу своего романа. Возможно, Вы еще не читали его. Я высылаю Вам в этом конверте один экземпляр, который немного более отредактирован и не вполне совпадает с тем, который я неудачно передал...

Вам невозможно обвинять меня в клевете на советскую действительность. Она у меня несколько облагорожена, ибо «литературе слишком присуще чувство меры и приличия, чтобы она могла взять на себя задачу с точностью воспроизвести карикатуру действительности» (Салтыков-Щедрин). Да и задачей своей я поставил изобразить не столько истерзанное тело, сколько истерзанную душу; трагедию гения и торжество пошлости, ведущей к гибели всё человечество. Я показал ничтожность идей, разъединяющих государство, и ничтожность интересов, толкающих мир к последней войне: после нее уже никому будет воевать, никому будет жить. К капитализму я отношусь как к безнравственной и разлагающей системе, но то, что Вы называете социализмом — всего лишь разновидность капитализма.

Пытался ли я печатать свои произведения в нашей стране? Да, я делал такую попытку с более безобидным по содержанию произведением, и безуспешно.

Разумеется, я не думаю, что «заправилы капиталистического мира» ухватятся за мой роман с большим удовольствием, но там есть хоть некоторая свобода для умственной деятельности...

У нас художникам не разрешается самостоятельно мыслить, им разрешается только пользоваться готовыми формулами казенного мышления. Отсюда у нас такое чудовищное однообразие и в журналистике и в искусстве, отсюда в искусстве истинная эмоциональность заменена притворством, отсюда ничтожность идей («мелкотемье»), пустословие, поверхностное репортёрство. Поэтому художники бессильны что-либо сделать кроме поверхностных и посредственных иллюстраций к истории партии.

Неужели Вы сами не видите, что в прославленном произведении прославленного писателя, в «Поднятой целине» не изображе-

но ни одного умного человека, нет ни одной стоящей мысли, что она вся заполнена «дешевым балаганным вздором»?

Кто-то из вас говорил, что нам нужны свои щедрины и голы. Это пустые слова! Вы сами недавно ратовали за «лакировщиков». Я понял Ваши слова так: не ваше, мол, дело, писатели, совать свой нос в наши ошибки и промахи; мы и сами покритикуем себя, как нам это заблагорассудится.

Меня скорее можно упрекнуть в прилаживании действительности, чем в сгущении красок. Всё дело в том, что я мыслю иначе, чем это разрешается государственным стандартом. Однако Вы претендуете на то, чтобы вашу страну называли подлинно свободной и даже считаете себя (свою партию) умом, совестью и честью нашей эпохи. А настоящий ум не боится контакта с другими умами. Только в атмосфере честной и открытой борьбы и открытого заимствования здоровых элементов в чужих взглядах и могут развиваться передовые идеи. А настоящая совесть!.. Может ли она свободному взаимодействию идей мешать силой оружия, шантажом или хитростью?!

И если Вы серьезно претендуете на роль носителей ума, чести и совести (а к этому Вас обязывает ваше положение и угроза всеобщей гибели), то примите мой вызов на честную, открытую борьбу в одних вопросах и честное сотрудничество — в других.

Одним из способов недостойной борьбы является клевета: зачем говорить, что мы не можем напечатать ваш роман по политическим соображениям (а где же тогда свобода!), гораздо выгоднее сказать, что роман слаб и не заслуживает внимания народа и материальных затрат на его издание. Если Вы унизите себя до того, что пойдете этим путем, то я могу избавить Вас от материальных затрат; народ же пусть сам решит, что стоит его внимания. Разрешите мне только свободно общаться с народом, не окружая меня тучей шпионов и провокаторов. Если же и это окажется Вам не по силам, то по крайней мере отпустите меня вместе со всей семьей на все четыре стороны.

Разумеется, я не считаю допустимым насильственное разлучение меня с семьей, ибо такое обращение с людьми характеризует нравы отживших «формаций». Моя семья полностью разде-

ляет мои взгляды, помогала мне в работе не только материально, но принимала весьма существенное участие и в творческой работе.

Не знаю, насколько трудно Вам расстаться с нами, но мы все без всякого сожаления лишились бы всех благ социализма, хотя и не ждем рая для себя в других странах.

Дописано от руки:

Сентябрь 1960 года

Получено почтовое уведомление о том, что пакет поступил 29 сент. 1961 года в секретариат Хрущева.

К деятелям культуры свободного мира

Редакция русского литературного журнала «Грани», издающегося во Франкфурте-на-Майне, обращается к вам по делу советского писателя М. А. Нарницы, которое было предано гласности на состоявшейся сегодня в Париже пресс-конференции.

М. А. Нарница арестован органами КГБ в Ленинграде после того, как передал за границу свою повесть «Неспетая песня», которая была опубликована в нашем журнале. Вся жизнь М. А. Нарницы является свидетельством борьбы художника за свободу творчества, и не случайно он поставил эпиграфом к своей повести изречение из Ромена Роллана: «Трижды убийца — убивающий мысль».

После высылки рукописи за границу М. А. Нарница переслал один ее экземпляр Хрущеву, приложив письмо, которое выражало его жизненное кредо. Вместе со своей семьей он заявил об отказе от советского гражданства и просил советское правительство выпустить его за границу.

Редакция призывает вас протестовать против незаконного ареста М. А. Нарницы и просить дать ему возможность выехать с семьей за границу. Преследование М. А. Нарницы — явное нарушение подписанной советским правительством Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 года.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ГРАНИ»

15 марта 1962 года

К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

А. С. ПУШКИНА

10 февраля (29 января) 1837 года умер великий русский поэт, родоначальник новой русской литературы Александр Сергеевич Пушкин. В связи со 125-летием со дня его смерти мы печатаем клише титульного листа VIII тома первого посмертного собрания сочинений, выпущенного друзьями А. С. Пушкина — В. А. Жуковским, П. А. Вяземским и П. А. Плетневым в 1838 году, а также письмо В. А. Жуковского к отцу поэта Сергею Львовичу Пушкину, помещенное в конце этого тома. Письмо печатается с сохранением тогдашней орфографии.

СОЧИНЕНІЯ

Александра Пушкина.

ТОМЪ ВОСЬМОІІ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

ВЪ ТИПОГРАФИИ ЭКСПЕДИЦИИ ЗАГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ.

МДСССХХХVIII.

ПОСЛѢДНІЯ МИНУТЫ ПУШКИНА

Россія потеряла Пушкина въ ту минуту, когда гений его, созрѣвшій въ опытахъ жизни, размышленіемъ и наукою, готовился дѣйствовать полною силою — потеря невозвратная и ничѣмъ вознаграждаемая. Что бы онъ написалъ, если бѣ судьба, такъ незапно не сорвала его со славной, едва начатой имъ дороги? Въ бумагахъ, послѣ него оставшихся, найдено много начатого, весьма мало конченнаго; съ благоговѣйною любовію къ его памяти, мы сохранимъ все, что можно будетъ сохранить изъ сихъ драгоценныхъ остатковъ; и они въ свое время будутъ изданы въ свѣтъ*. Здѣсь сообщаются читателямъ извѣстія о послѣднихъ минутахъ его жизни. Они описаны просто и подробно въ письмѣ къ несчастному отцу его.

ПИСЬМО КЪ С. Л. ПУШКИНУ

15 Февраля 1837.

Я не имѣлъ духу писать къ тебѣ, мой бѣдный Сергѣй Львовичъ. Что могъ я тебѣ сказать, угнетенный нашимъ общимъ несчастіемъ, которое упало на насъ, какъ обвалъ, и всѣхъ раздавило? Нашего Пушкина нѣтъ! Это къ несчастію вѣрно; но все еще кажется невѣроятнымъ. Мысль, что его нѣтъ, еще не можетъ войти въ порядокъ обыкновенныхъ, ясныхъ, ежедневныхъ мыслей; еще по привычкѣ продолжаешь искать его; еще такъ естественно ожидать съ нимъ встречи въ нѣкото-

*) Вскорѣ за полнымъ изданіемъ сочиненій, уже извѣстныхъ публикѣ и теперь издаваемыхъ въ осьми частяхъ по подпискѣ. Если напечатать все найденное въ рукописяхъ Пушкина, то конечно составитъ два хорошихъ тома, или и пять, если присоединить къ литературнымъ отрывкамъ всѣ матеріалы, приготовленные для Истории Петра-Великаго. Ж.

рые условные часы; еще посреди нашихъ разговоровъ какъ будто отзывается его голосъ, какъ будто раздается его живой, ребячески-веселый смѣхъ, и тамъ, гдѣ онъ бывалъ ежедневно, ничто не перемѣнилось, нѣтъ и признаковъ бѣдственной утраты, все въ обыкновенномъ порядкѣ, все на своемъ мѣстѣ; а онъ пропалъ, и навсегда — непостижимо! Въ одну минуту погибла сильная, крѣпкая жизнь, полная генія, свѣтлая надеждами. Не говорю о тебѣ, бѣдный и дряхлый отецъ; не говорю о насъ, горюющихъ его друзьяхъ. Россія лишилась своего любимаго, національнаго поэта. Онъ пропалъ для нея въ ту минуту, когда его созрѣваніе совершалось; пропалъ, достигнувъ до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь съ кипучею, иногда безпорядочною, силою молодости, тревожимой геніемъ, предается болѣе спокойной, болѣе образовательной силѣ зрѣлаго мужества, столь же свѣжей, какъ и первая, можетъ быть, не столь порывистой, но болѣе творческой. У кого изъ Русскихъ съ его смертію не оторвалось что-то родное отъ сердца? Слава нынѣшняго царствованія утратила въ немъ своего поэта, который принадлежалъ бы ему, какъ Державинъ славѣ Екатерины, а Карамзинъ славѣ Александра.

Первыя минуты ужаснаго горя для тебя прошли; теперь ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебѣ все, что было въ послѣднія минуты твоего сына, что я видѣлъ самъ, что мнѣ рассказали другіе очевидцы. Въ среду, 27 числа января, въ 10 часовъ вечера пріѣхалъ я къ князю Вяземскому. Мнѣ сказываютъ, что и онъ и княгиня у Пушкиныхъ, а Валувъ, къ которому я зашелъ, встрѣчаетъ меня словами: получили ли вы записку княгини? За вами давно послали; поѣзжайте къ Пушкину: онъ умираетъ. Оглушенный этимъ извѣстіемъ, я побѣжалъ съ лѣстницы. Пріѣзжаю къ Пушкину. Въ его прихожей, передъ дверями его кабинета, нахожу докторовъ Арендта и Спасскаго; князя Вяземского, князя Мещерскаго. На вопросъ: *каковъ онъ?* Арендтъ отвѣчалъ мнѣ: очень плохъ; умретъ непременно. Вотъ что рассказали мнѣ о случившемся: въ шесть часовъ послѣ обѣда Пушкинъ привезенъ былъ въ этомъ отчаянномъ положеніи домой подполковникомъ Данзасомъ, его лицейскимъ товарищемъ. Каммердинеръ принялъ его изъ кареты на руки и понесъ на лѣстницу. *Грустно тебя нести меня?* спросилъ у него Пушкинъ. Его внесли въ кабинетъ; онъ самъ велѣлъ подать себѣ чистое бѣлье; раздѣлся, и легъ на диванъ. Въ то время, когда его укладывали, жена, ни о чемъ не знавшая, хотѣла войти; но онъ громкимъ голосомъ закричалъ: *n'entrez pas; il y a du monde chez moi*¹⁾. Онъ боялся ее испугать. Жена вошла уже тогда, когда онъ лежалъ совсѣмъ раздѣтый. Послали за докторами. Арендта не нашли; пріѣхали Шольцъ и Задлеръ. Пушкинъ велѣлъ всѣмъ выйти (въ это время у него были Данзасъ и Плетневъ). *Плохо со мною,* сказалъ онъ, подавая руку Шольцу. Его ос-

мотрѣли, и Задлеръ уѣхаль за нужными инструментами. Оставшись съ Шольцемъ, Пушкинъ спросилъ: *Что вы думаете о моемъ положеніи, скажите откровенно?* — Не могу отъ васъ скрыть, вы въ опасности. — *Скажите лучше, умираю.* — Считаю долгомъ не скрывать и того. Но услышимъ мнѣніе Арендта и Саломона, за которыми послано. — *Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi,* сказал Пушкинъ, замолчалъ, потеръ рукою лобъ, потомъ прибавилъ: *il faut que j'arrange ma maison*²⁾. — Не желаете ли видѣть кого изъ вашихъ ближнихъ? спросилъ Шольцъ. — *Прощайте, друзья!* сказалъ Пушкинъ, обративъ глаза на свою библіотеку. Съ кѣмъ онъ прощался въ эту минуту, съ живыми ли друзьями, или съ мертвыми, не знаю. Онъ, немного погодя, спросилъ: *Развѣ вы думаете, что я часу не проживу?* — О нѣтъ! но я полагалъ, что вамъ будетъ пріятно увидѣть кого нибудь изъ вашихъ. Господинъ Плетневъ здѣсь. — *Да, но я желалъ бы и Жуковскаго. Дайте мнѣ воды; тошнитъ.* — Шольцъ тронулъ пульсъ, нашель, что рука была холодна, пульсъ слабъ и скоръ; онъ вышелъ за питьемъ, и послали за мною. Меня въ это время не было дома; и не знаю, какъ это случилось, но ко мнѣ не приходилъ никто. Между тѣмъ пріѣхали Задлеръ и Саломонъ. Шольцъ оставилъ больного, который добродушно пожалъ ему руку, но не сказалъ ни слова. Скоро потомъ явился Арендтъ. Онъ съ перваго взгляда увѣрился, что не было никакой надежды. Начали прикладывать холодныя со льдомъ примочки на животъ и давать прохладительное питье; это произвело желанное дѣйствіе: больной поуспокоился. Передъ отъѣздомъ Арендта, онъ сказалъ ему: *попросите Государя, чтобъ Онъ меня простилъ.* Арендтъ уѣхаль, поручивъ его Спасскому, домовому его доктору, который во всю ту ночь не отходилъ отъ его постели. *Плохо мнѣ,* сказалъ Пушкинъ, когда подошелъ къ нему Спасскій. Спасскій старался его успокоить; но Пушкинъ махнулъ рукою отрицательно. Съ этой минуты онъ какъ будто пересталъ заботиться о себѣ и всѣ его мысли обратились на жену. *Не давайте излишнихъ надеждъ женѣ,* говорилъ онъ Спасскому, *не скрывайте отъ нея, въ чемъ дѣло; она не притворщица; вы ее хорошо знаете. Впрочемъ дѣлайте со мною, что хотите, я на все согласенъ и на все готовъ.* В это время уже собрались князь Вяземскій, княгиня, Тургеневъ, графъ Вельгорскій и я. Княгиня была съ женою, которой состояніе было невыразимо; какъ привидѣніе иногда прокрадывалась она въ ту горницу, гдѣ лежалъ ея умирающій мужъ; онъ не могъ ее видѣть (онъ лежалъ на диванѣ лицомъ отъ оконъ и двери); но всякій разъ, когда она входила, или только останавливалась у дверей, онъ чувствовалъ ея присутствіе. *Жена здѣсь?* говорилъ онъ. *Отведите ее.* Он боялся допускать ее къ себѣ, ибо не хотѣлъ, чтобъ она могла замѣтить его страданія, кои съ удивительнымъ мужествомъ пересиливалъ. *Что дѣлаетъ жена?* спросилъ онъ однажды у Спасскаго.

Она бѣдная безвинно терпѣтъ! въ свѣтъ ея зайдятъ. Вообще съ начала до конца своихъ страданій (кромѣ двухъ или трехъ часовъ первой ночи, въ которые они превзошли всякую мѣру человѣческаго терпѣнія), онъ былъ удивительно твердъ. Я былъ въ тридцати сраженіяхъ, говорилъ докторъ Арендтъ, я видѣлъ много умирающихъ, но мало видѣлъ подобнаго. И особенно замѣчательно то, что въ эти послѣдніе часы жизни, онъ какъ будто сдѣлался иной; буря, которая за нѣсколько часовъ волновала его душу неодолимою страстію, исчезла, не оставивъ на ней и слѣда; ни слова, ниже воспоминанія о случившемся. Но вотъ черта чрезвычайно трогательная. Наканунѣ получилъ онъ пригласительный билетъ на погребеніе Гречева сына. Онъ вспомнилъ объ этомъ посреди своего страданія. Если увидите Греча, сказалъ онъ Спасскому, поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участіе въ его потерѣ. У него спросили: желаетъ ли исповѣдаться и причаститься. Онъ согласился охотно и положено было призвать священника утром. Въ полночь докторъ Арендтъ возвратился. То, что отъ него услышалъ умирающій, обрадовало, успокоило и укрѣпило его душу. Исполняя желаніе, уже угаданное, въ которомъ выражалась трогательная заботливость о его судьбѣ и за гробомъ, онъ исповѣдался и причастился Святыхъ Таинъ. До пяти часовъ утра въ его положеніи не произошло никакой перемѣны. Но около пяти часовъ боль въ животѣ сдѣлалась нестерпимою и сила ея одолѣла силу души; онъ началъ стонать; послали опять за Арендтомъ. По прїѣздѣ его нашли нужнымъ поставить промывательное; но оно не помогло и только-что усилило страданія, которыя наконецъ дошли до крайней степени и продолжались до семи часовъ утра. Что было бы съ бѣдною женою, если бы она въ теченіе этихъ двухъ вѣковыхъ часовъ, могла слышать его стоны? Я увѣрен, что ея разсудокъ не вынесъ бы этой душевной пытки. Но вотъ что случилось: она, въ совершенномъ изнуреніи, лежала въ гостиной, у самыхъ дверей, кои однѣ отдѣляли ее отъ постели мужа. При первомъ страшномъ крикѣ его, княгиня Вяземская, бывшая въ той же горницѣ, бросилась къ ней, опасаясь, чтобы съ нею чего не сдѣлалось. Но она лежала неподвижно (хотя за минуту говорила); тяжелый летаргическій сонъ овладѣлъ ею, и этотъ сонъ, какъ будто нарочно посланный свыше, миновался въ ту самую минуту, когда раздалось послѣднее стenanіе за дверями. Но въ эти минуты жесточайшаго испытанія, по словамъ Спасскаго и Арендта, во всей силѣ оказалась твердость души умирающаго: готовый вскрикнуть, онъ только стоналъ, боясь, какъ онъ говорилъ самъ, чтобы жена не услышала, чтобъ ее не испугать. Къ семи часамъ боль утихла. Надобно замѣтить, что во все это время и до самого конца, мысли его были свѣтлы и память свѣжа. Еще до начала сильной боли онъ подозревалъ къ себѣ Спасскаго, велѣлъ подать какую-то бумагу, его рукою написан-

ную, и заставилъ ее сжечь. Потомъ призвалъ Данзаса и продиктовалъ ему записку о нѣкоторыхъ долгахъ своихъ. Это его однако изнурило, и послѣ онъ уже не могъ сдѣлать никакихъ другихъ распоряженій. Когда поутру кончились его нестерпимыя страданія, онъ сказалъ Спасскому: *Жену! позовите жену!* — Этой прощальной минуты я тебѣ не стану описывать. Потомъ потребовалъ дѣтей; они спали; ихъ привели и принесли къ нему полусонныхъ. Онъ на каждого оборачивалъ глаза молча, клалъ ему на голову руку, крестилъ и потомъ движеніемъ руки отсылалъ прочь. *Кто здѣсь?* спросилъ онъ у Спасскаго и Данзаса. Назвали меня и Вяземскаго. *Позовите,* сказалъ онъ слабымъ голосомъ. Я подошелъ, взявъ его похолодѣвшую, протянутую ко мнѣ руку, поцаловалъ ее: сказать ему ничего я не могъ, онъ махнулъ рукою, я отошелъ. Но онъ опять подозвалъ меня: *Скажи Государю,* промолвилъ онъ, *что мнѣ жаль умереть; былъ бы весь Его. Скажи, что я Ему желаю долгаго, долгаго царствованія, что я Ему желаю счастья въ Его Сынѣ, счастья въ Его Россіи.* — Эти слова говорилъ онъ слабо, отрывисто, но явственно. Потомъ простился онъ съ Вяземскимъ. Въ эту минуту пріѣхалъ графъ Віельгорскій и вошелъ къ нему, и также впослѣдніе подалъ ему живому руку. Было очевидно, что онъ спѣшилъ сдѣлать свой послѣдній земной расчетъ и какъ будто подслушивалъ шаги приближающейся смерти. Взявши себя за пульсъ, онъ сказалъ Спасскому: *Смерть идетъ.* Когда подошелъ къ нему Тургеневъ, онъ посмотрѣлъ на него два раза пристально, пожалъ ему руку; казалось, хотѣлъ что-то сказать, но махнулъ рукою и только промолвилъ: *Карамзину!* Ея не было, за нею немедленно послали, и она скоро пріѣхала. Свиданіе ихъ продолжалось только минуту; но когда Катерина Андреевна отошла отъ постели, онъ ее кликнулъ и сказалъ: *Перекрестите меня,* потомъ поцаловалъ у ней руку. — Между тѣмъ данный ему пріемъ опіума нѣсколько его успокоилъ; къ животу вмѣсто холодныхъ примочекъ начали прикладывать мягчительныя; это было пріятно страждущему; и онъ началъ безпрекословно исполнять предписанія докторовъ, которыя прежде всѣ отвергалъ упрямо, будучи испуганъ своими муками и жадно желая смерти для ихъ прекращенія. Но тутъ онъ сдѣлался послушенъ, какъ ребенокъ; самъ накладывалъ компрессы на животъ и помогалъ тѣмъ, кои около него суетились. Словомъ, ему повидимому стало гораздо лучше. Такъ нашелъ его докторъ Даль, пришедшій къ нему въ два часа. *Худо мнѣ, братъ,* сказалъ Пушкинъ съ улыбкою Далю. Но Даль, дѣйствительно имѣвшій болѣе другихъ надежды, отвѣчалъ ему: *мы всѣ надѣемся, не отчаивайся и ты.* — *Нѣтъ!* возразилъ онъ, *мнѣ здѣсь не житье; я умру; да видно такъ и надо.* Въ это время пульсъ его былъ полнѣе и тверже; началъ показываться небольшой общій жаръ. Поставили пѣивки; пульсъ сталъ ровнѣе, рѣже и гораздо легче. Я ухватился, говорить Даль, какъ утоп-

ленникъ за соломенку, робкимъ голосомъ провозгласилъ надежду и обмануль-было и себя и другихъ. Пушкинъ, заметивъ, что Даль былъ поборѣе, взялъ его за руку и спросилъ: *Никого тутъ нѣтъ?* — Никого. — *Даль, скажи мнѣ правду, скоро-ли я умру?* — «Мы за тебя надѣемся, Пушкинъ, право надѣмся». — *Ну, спасибо!* отвечалъ онъ. Но повидимому, только однажды и обольстился онъ утѣшеніемъ надежды; ни прежде, ни послѣ этой минуты онъ ей не вѣрилъ. Почти всю ночь (на 29-е число, эту ночь всю Даль просидѣлъ у его постели, а я, Вяземскій и Вельгорскій въ ближней горницѣ) онъ продержалъ Даля за руку; часто бралъ по ложечкѣ воды или по крупинке льда въ ротъ, и всегда все дѣлалъ самъ: снималъ стаканъ съ ближней полки, теръ себѣ виски льдомъ, самъ накладывалъ на животъ припарки, самъ ихъ перемѣнялъ и проч. Онъ мучился менѣе отъ боли, нежели отъ чрезмѣрной тоски. *Ахъ! какая тоска!* иногда восклицалъ онъ, закидывая руки на голову, *сердце изнываетъ!* — Тогда просилъ онъ, чтобы подняли его, или повертели на бокъ, или поправили ему подушку; и не давъ кончить этаго, останавливалъ обыкновенно словами: *«ну! такъ, такъ — хорошо; вотъ и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо; или постой — не надо — потяни меня только за руку — ну вотъ и хорошо, и прекрасно!»* — (все это его точныя выраженія). Вообще, говоритъ Даль, в обращеніи со мною онъ былъ повадливъ и послушенъ, какъ ребенокъ, и дѣлалъ все, чего я хотѣлъ. Однажды онъ спросилъ у Даля: *Кто у жены моей?* — Даль отвѣчалъ: много добрыхъ людей принимаютъ въ тебѣ участіе; зала и передняя полны съ утра до ночи. — *Ну спасибо,* отвѣчалъ онъ, *однако же поди, скажи жень, что все слава Богу легко; а то ей тамъ, пожалуй, наговорятъ.* — Даль его не обмануль. С утра 28 числа, въ которое разнеслась по городу вѣсть, что Пушкинъ умираетъ, его передняя была полна приходящихъ; одни освѣдомлялись о немъ черезъ посланныхъ; другіе — и люди всѣхъ состояній, знакомые и незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство національной, общей скорби выражалось въ этомъ движеніи. Число приходящихъ сдѣлалось наконецъ такъ велико, что дверь прихожей (которая была подлѣ кабинета, гдѣ лежалъ умирающій) безпрестанно отворялась и затворялась; это беспокоило страждущаго; и мы придумали запереть эту дверь, задвинули ее изъ сѣней залавкомъ и вмѣсто ее отворили другую узенькую прямо съ лѣстницы въ буфетъ; а гостиную, гдѣ находилась жена, отгородили отъ столовой ширмами. Съ этой минуты, буфетъ былъ безпрестанно набитъ народомъ; въ столовую же входили только знакомые. На лицахъ выражалось простодушное участіе; очень многіе плакали. Такое изъясненіе общей скорби меня глубоко трогало; въ Русскихъ, которымъ дорога отечественная слава, оно было неудивительно; но участіе иноземцевъ было для меня усладительною нечаянностію. Мы теряли свое, мудрено

ли, что мы горевали? Но ихъ что такъ трогало? Отвѣчать нетрудно. Геній есть общее добро; въ поклоненіи генію всѣ народы родня; и когда онъ безвременно покидаетъ землю, всѣ провожаютъ его съ одинакою братскою скорбію. Пушкинъ, по своему генію, былъ собственностію не одной Россіи, но и цѣлой Европы; потому-то и многіе иноземцы приходили къ двери его съ печалію *собственной*, и о *нашемъ* Пушкинѣ пожалѣли, какъ будто о *своемъ*. Возвращаюсь къ своему описанію. Пославъ Даля ободрить жену надеждою, Пушкинъ самъ не имѣлъ никакой. Однажды спросилъ онъ: *Который часъ?* и на отвѣтъ Даля продолжалъ прерывающимся голосомъ: *Долго ли . . . мнѣ . . . такъ мучиться? . . . Пожалуста . . . поскорѣй! . . .* Это повторилъ онъ нѣсколько разъ послѣ: *скоро ли конецъ? . . .* и всегда прибавлялъ: *пожалуста поскорѣй!* Но вообще (послѣ мукъ первой ночи, продолжавшихся два часа), онъ былъ удивительно терпѣливъ. Когда тоска и боль его одолѣвали, онъ дѣлалъ движенія руками или отрывисто кряхтѣлъ, но такъ, что почти его не могли слышать. Терпѣть надо, другъ, дѣлать нечего, сказалъ ему Даль, но не стыдись боли своей, стонай, тебѣ будетъ легче. — Нѣтъ, онъ отвечалъ прерывчиво: *нѣтъ . . . не надо . . . стонать; . . . жена . . . услышитъ; . . . смѣшно же . . . чтобъ этотъ . . . вздоръ меня . . . пересилилъ, . . . не хочу.* — Я покинулъ его въ 5 часовъ утра, и черезъ два часа возвратился. Видѣвъ, что ночь была довольно спокойна, я пошелъ къ себѣ почти съ надеждою, но возвратясь, нашелъ иное. Арендтъ сказалъ мнѣ рѣшительно, что все кончено, и что ему не пережить дня. Дѣйствительно, пульсъ ослабѣлъ и началъ упадать примѣтно; руки начали стыть. Онъ лежалъ съ закрытыми глазами; иногда только подымалъ руки, чтобы взять льду и потереть имъ лобъ. Ударило два часа пополудни, и въ Пушкинѣ осталось жизни только на три четверти часа. Онъ открылъ глаза и попросилъ моченой морошки. Когда ее принесли, онъ сказалъ внятно: *Позовите жену, пускай она меня покормитъ.* Она пришла, опустилась на колѣни у изголовья, поднесла ему ложечку, другую морошки, потомъ прижалась лицомъ къ лицу его; Пушкинъ погладилъ ее по головѣ и сказалъ: *Ну, ну, ничего; слава Богу, все хорошо; поди.* — Спокойное выраженіе лица его и твердость голоса обманули бѣдную жену; она вышла какъ будто просіявшая отъ радости. Вотъ увидите, сказала она доктору Спасскому, онъ будетъ живъ; онъ не умретъ. — А въ эту минуту уже начался послѣдній процессъ жизни. Я стоялъ вмѣстѣ съ графомъ Віельгорскимъ у постели въ головахъ; съ боку стоялъ Тургеневъ. Даль шепнулъ мнѣ: отходить. Но мысли его были свѣтлы. Изрѣдка только полудремотное забытье ихъ огуманивало; разъ онъ подалъ руку Дально, и пожимая ее, проговорилъ: *Ну, подымай же меня, пойдѣмъ, да выше, выше . . . ну, пойдѣмъ!* Но очнувшись, онъ сказалъ: *Мнѣ было пригрѣзилось, что я съ тобой лъзу вверхъ по этимъ книгамъ*

и полкамъ! высоко . . . и голова закружилась. Немного погода, онъ опять, не раскрывая глазъ, сталъ искать Далеву руку и потянувъ ее, сказалъ: Ну, пойдѣмъ же, пожалуста; да вмѣстѣ. — Даль, по просьбѣ его, взялъ его подъ мышки и приподнялъ повыше; и вдругъ, какъ будто проснувшись, онъ быстро раскрылъ глаза, лице его прояснилось и онъ сказалъ: *Кончена жизнь!* Даль, не разслушавъ, отвѣчалъ: да, кончено; мы тебя поворотили. *Жизнь кончена!* повторилъ онъ внятно и положительно. *Тяжело дышать, давить!* были послѣднія слова его. Я не сводилъ съ него глазъ, и замѣтилъ въ эту минуту, что движеніе груди, доселѣ тихое, сдѣлалось прерывчивымъ. Оно скоро прекратилось. Я смотрѣлъ внимательно; ждалъ послѣдняго вздоха; но я его не примѣтилъ. Тишина, его объявшая, показалась мнѣ успокоеніемъ, а его уже не было. Всѣ надъ нимъ молчали. Минуты черезъ двѣ я спросилъ: «что онъ?» — *Кончилось!* отвѣчалъ мнѣ Даль¹. Такъ тихо, такъ спокойно удалилась душа его. Мы долго стояли надъ нимъ, молча, не шевелясь, не смѣя нарушить таинства смерти, которое совершилось передъ нами во всей умилительной святинѣ своей. Когда всѣ ушли, я сѣлъ передъ нимъ, и долго, одинъ смотрѣлъ ему въ лице. Никогда на этомъ лицѣ я не видалъ ничего подобнаго тому, что было на немъ въ эту первую минуту смерти. Голова его нѣсколько наклонилась; руки, въ которыхъ было за нѣсколько минутъ какое-то судорожное движеніе, были спокойно протянуты, какъ будто упавшія для отдыха послѣ тяжелаго труда. Но что выражалось на его лицѣ, я сказать словами не умѣю. Оно было для меня такъ ново и въ то же время такъ знакомо. Это не было ни сонъ, ни покой; не было выраженіе ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выраженіе поэтическое; нѣтъ! какая-то важная, удивительная мысль на немъ развивалась; что-то похожее на видѣніе, на какое-то полное, глубоко-удовлетворяющее знаніе. Всмотриваясь въ него, мнѣ все хотѣлось у него спросить: что видишь, друг? И что бы онъ отвѣчалъ мнѣ, если бы могъ на минуту воскреснуть? Вотъ минуты въ жизни нашей, которыя вполнѣ достойны названія великихъ. Въ эту минуту, можно сказать, я увидѣлъ лице самой смерти, божественно-тайное; лице смерти безъ покрывала. Какую печать на него наложила она! и какъ удивительно высказала на немъ и свою и его тайну! Я увѣряю тебя, что никогда на лицѣ его не видалъ я выраженія такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она конечно таилась въ немъ и прежде, будучи свойственна его высокой природѣ; но въ этой чистотѣ обнаружилась только тогда, когда все земное отдѣлилось отъ него съ прикосновеніемъ смерти. Таковъ былъ конецъ нашего Пушкина. — Опишу въ немногихъ словахъ то, что было послѣ. Къ счастью, я

¹. Въ три четверти третьяго часа по полудни, 29 Января.

вспомнилъ во-время, что надобно съ него снять маску; это было исполнено немедленно; черты его еще не успѣли измѣниться. Конечно, того перваго выраженія, которое дала имъ смерть, въ нихъ не сохранилось; но все мы имѣемъ отпечатокъ привлекательный, изображающій не смерть, а тихій, величественный сонъ. Не буду рассказывать того, что сдѣлалось съ бѣдною женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, графъ и графиня Строгановы. Графъ взялъ на себя всѣ распоряженія похоронъ. Побывъ еще нѣсколько времени въ домѣ, я поѣхалъ къ Вельгорскому обѣдать; у него собрались и всѣ другіе, видѣвшіе послѣднюю минуту Пушкина; и онъ самъ былъ приглашенъ за три дня къ этому обѣду . . . праздновать день моего рожденія. На другой день, мы, друзья, положили Пушкина своими руками въ гробъ; а на слѣдующій день, въ вечеру, перенесли его въ Конюшенную церковь. И въ эти оба дня, та горница, гдѣ онъ лежалъ во гробѣ, была безпрестанно полна народомъ. Конечно болѣе десяти тысячъ чело-вѣкъ перебивало въ ней, чтобы взглянуть на него: многіе плакали; иные долго останавливались и какъ будто хотѣли всмотрѣться въ лице его; было что-то разительное въ его неподвижности, посреди этаго движенія, и что-то умилительно-таинственное въ той молитвѣ, которая такъ тихо, такъ однообразно слышалась посреди этаго смутнаго говора. Отпѣваніе происходило 1-го Февраля. Многіе изъ нашихъ знатныхъ господъ и многіе изъ иностранныхъ министровъ были въ церкви. Мы на рукахъ отнесли гробъ въ подвалъ, гдѣ надлежало ему остаться до отправленія изъ города. 3-го Февраля, въ 10 часовъ вечера, собрались мы въ послѣдній разъ къ тому, что еще для насъ оставалось отъ Пушкина; отпѣли послѣднюю панихиду; ящикъ съ гробомъ поставили на сани; въ полночь сани тронулись; при свѣтѣ мѣсяца, я провожалъ ихъ нѣсколько времени глазами; скоро они поворотили за уголь дома; и все, что было на землѣ Пушкинъ, навсегда пропало изъ глазъ моихъ.

В. Жуковскій.

За тѣломъ слѣдовалъ А. И. Тургеневъ. Пушкинъ не разъ говаривалъ женѣ, что желаетъ быть похороненъ въ Святогорскомъ Успенскомъ монастырѣ, гдѣ недавно положили его мать. Этотъ монастырь находится Псковской губерніи въ Опочковскомъ уѣздѣ, въ 4-хъ верстахъ отъ сельца *Михайловскаго*, гдѣ Пушкинъ провелъ нѣсколько лѣтъ поэтической жизни своей. 4-го числа, въ девятомъ часу вечера, тѣло привезли во Псковъ, откуда оно, по надлежащемъ распоряженіи со стороны губернскаго начальства, въ ту же ночь на 5-е число Февраля было отправлено черезъ городъ *Островъ* въ Святогорскій монастырь, куда привезли

его уже къ 7-ми часамъ вечера. — Мертвый мчался къ своему послѣд-
нему жилищу мимо своего опустѣвшаго сельскаго домика, мимо трехъ
любимыхъ сосенъ, имъ недавно воспѣтыхъ. Гѣло поставили на *Святой*
горь въ соборной Успенской церкви, и отслужили съ вечера панихиду.
Всю ночь рыли могилу подлѣ той, гдѣ покоится его мать. На другой
день, на разсвѣтѣ, по совершени божественной литургіи, въ послѣдній
разъ отслужили панихиду, и гробъ былъ опущенъ въ могилу, въ присут-
ствіи Тургенева и крестьянъ Пушкина, пришедшихъ изъ сельца Михай-
ловскаго отдать послѣдній долгъ доброму своему помѣщику. Чудно по-
казалось предстоявшимъ изреченіе Библии, сопровождавшее горсть зем-
ли, брошенной на Пушкина: «земля еси.»

¹⁾ не входите; у меня поселители. *Франц.*

²⁾ я благодарю вас, вы честно поступили по отношению ко мне,.. мне
нужно привести в порядок мой дом. *Франц.*

ДВЕ СКАЗКИ

ПРЕДВОДИТЕЛЬ СОБАЧЕСТВА

В уезде, где я родился, уезде, который не славился ни урожайностью полей, ни талантами помещиков, предводитель дворянства, по фамилии Языкин, носил полатавшийся его званию мундир, фуражку с красным околышем и окладистую бороду, подражавшую бороде императора Александра III. Две сварливых музы вдохновляли Языкина: слепая тупость и надутая глесь. Некоторые из его суждений повторялись им чаще, чем утренняя и вечерняя молитвы.

Никто никогда не собрал изречений тупцов, несмотря на их древность, а подчас забавную привлекательность. Если богословы спорили когда-то, какого пола ангелы, то предводитель дворянства Языкин был занят вопросом о назначении хлебопашца на земле.

«Мужикам прамота вредна», — изрекал он, не то любя, не то ненавидя крестьян. — «Кто будет сеять хлеб, если их пустят в университеты?» — И его голос гремел, как угроза пророка. — «Назло слонтяям, я проживу еще сто лет, чтобы увидеть, кто будет плакать тогда землю!»

Званием своим кичился он безмерно. Но нет счастья без изъяна. Беда была в том, что в нашем уезде создалась некоторая неловкая раздвоенность: в нем имелся еще «Предводитель собачества». Существование последнего являлось незаживающей раной, горькой обидой для первого. Когда в гостиных заходила речь о предводителе, зачастую повторялась изношенная шутка: «Который?.. Предводитель дворянства или собачества?»

Языкин был лицо сословное и должностное. — «Во мне, — утверждал он не раз, — отражаются лучи алмазов скипетра и короны царей самодержавных».

Предводитель же собачества был умиривший оптолосок охотничьего тысячелетнего быга. В нем еще тлел пепел гульбы и

тризны древних кочевников. Звали его — Безрукий. Это был чертополох на меже двух полей, двух миров. Последний в роду, он безвыездно жил в своей запущенной усадьбе, чуждался людей, был независим. По ночам много читал и писал, но о чём, — толчки были разноречивы.

Псарня его предков, да и его самого, когда-то славилась на всю страну. Борзые, благоговейно преподнесенные его пращуром императрице Елизавете, страстной охотнице, но ленивой, как степная река, не изгладились в памяти уезда даже в мое время. Покупать породистых щенков приезжали к «предводителю собачества» даже из Сибири. Какой-то польский мажнат, поднявший во время делового визита нагайку на любимца Безрукого волкодава «Аттилу», наслушавшись ругательств хозяина, достойных конюха, поспешно укатил на своей тройке к генерал-губернатору с жалобой. Титулованный правитель, лицемер и светский человек, выразил обиженному свое сожаление, долго тер лоб и подал дружеский совет: не брать с собою в следующий раз нагайки.

Живая слава Безрукого, шумевшая в толках помещичьих пиршешек, на конских ярмарках, в биллиардных провинциальных трактиров, в офицерских полковых собраниях, эта слава начала, однако, умирать. Размах крыльев славы живой, волнующей толпу своей правдивой обиденностью, шире и громче, нежели размах славы признанных гениев. Она, эта живая слава, бескорыстна и обрывает свой полет вместе со смертью любимца текущего дня.

Жизнь изменилась и вошла в иное русло. Безрукий оторвался от ее нового течения. Его начали забывать.

Степной помещик, одинокий, как коршун, давно занимал мое воображение. Я знал, что нищета была теперь его привычной и бессрочной гостьей. Заменить ее могла только смерть.

Щенки хирели, их не на что было кормить. Охота вырождалась. Волки перебрались в Азию, распуганные локомотивами железных дорог и доменными печами, горевшими ныне вместо костров суровых охотников. Безрукий пережил свой век, опоздав во время умереть.

У меня не было предлога явиться к нему. Мои занятия историей уезда, казалось мне, не впустят меня в его дом, не признававший, как я полагал, истории. Но пономарь ближайшего села, заменявший в ту дальнюю пору несуществовавшие телеграфные агентства, гордившийся своим прозвищем «Газета», пытавший безвозмездно округу слухами и новостями, сообщил однажды по линии помещичьих усадеб, что «предводитель» тяжело заболел. Однако весть эту сообщил мне не он, а мельник, а мельник узнал

ее от косяка, а косяк слышал ее от бабы, служившей панихидаду по ребенку, умершему от скарлатины. Установить точно, какой из двух «предводителей» болен, я не мог. Но я решил больше не мешкать.

«Отшумевшая слава — налицо, а затем — смерть»... — сказал я себе. И велел седлать коня.

Мой отец, помещик тоже, но плохой охотник, находился в родстве с Безруким. Он был единственным человеком, от которого «собачий предводитель» принимал иногда помощь: муку, копченое сало и чай. Отец наказал мне передать Безрукому письмо с приветом и две бутылки старой домашней вишневки.

— Упомяни, что ты историк, пишешь книгу о прошлом нашего уезда. Авось он примет тебя... — напутствовал меня отец, проверяя подпругу на коне.

Степные просторы родного края во время моей юности были мне любы еще потому, что в них было мало человеческого жилья. Люди и земля содружны только в известной мере. Путешествовать от одной помещичьей усадьбы к другой, от одного села к другому требовало много времени. Но и время в ту пору текло иначе. Жизнь шла медленно, как широкая река, где нет ни порогов, ни плотин. Турбина времени счастья нам не прибавила.

Медвяным запахом полевых цветов и трав дышал я только в степи. Ликующую хвалу полдню ее жаворонков не могут заменить ни флейта виртуоза, ни вдохновение колоратурной дивы. Не исследования археологов, но скачущая рядом со мною тень коня, воскрешала в моем воображении полчища кочевников Азии, которые, выпалывая эти степи, докатывались до стен средневекового Парижа. Скифы, гунны, татары топтали степь пятнадцать столетий, чуть ли не из лета в лето. Свирепый Алчила бахвалился, что после его набегов трава здесь никогда больше не взойдет. Но многовековая степь цвела, степь не умирала. Ветер все так же, как тысячелетие назад, играл прядями шелковистого ковыля и сургутанами синего шалфея. Паруса облаков всё так же величаво плыли в океане безмерно высокого неба. И только одинокие, редкие курганы, могилы славы, такой же немой, как прах их героев, ставших первоначальной глиной, напоминали мне в тот день, что история уезда, которую я действительно знал и начал писать, — жалкая горсть куцых человеческих воспоминаний. Многовековая степь цвела, степь не умирала.

Усадьба Безрукого была в долине. Три переката горбатых холмов окружали этот зеленый остров с высокоствольными тополями-

ми и домом с колоннами. Это было ветхое гнездо, которое настойчиво разоряло время, толкая впереди себя запустение.

Покосившиеся колонны с рубцами унылого кирпича напомнили паломников в раздумье, юность которых стала преданием. Лепные аллегорические фигуры на фронтоне не устояли перед метелями и суховеем степей. Диана, богиня-девственница, покровительница охоты, всё ещё протягивала руку за стрелой в колчане, но у богини уже не было головы. Гирилянды гипсовых роз давно расперяли свои лепестки. Облицовка стен превратилась в грязное рубище.

Над садом, заросшим диким хмелем, крапивой и ядовитой цикутой, кружились голодные ястреба.

Окна служебных построек, крытых соломой, были заколочены досками. В стороне торчали обгоревшие стены старой писарни, памятника славы рода Безруких.

Во дворе, где когда-то были клумбы, цвели теперь одичавшие мальвы и кусты шиповника. Одинокая пара овец выщипывала траву. И только узкая тропа, ведущая к дому, указывала, что в нём ещё кто-то живёт.

Почуяв меня, где-то залаяла, надрываясь, собака. Я привязал коня у покосившегося забора и, напружив на плечо наливку, направился к крыльцу.

Сухой ветер стучал листьями заржавленного железа, заменявшими разбитые стекла в двух окнах. Низкая дубовая дверь в сенях, вся в трещинах, была отперта. На пороге лежал старый волкодав.

— Аттила! — окликнул я виновника изгнания польского магната. Я не сомневался, что это был он.

Тяжело дыша, Аттила устало поднял голову и посмотрел на меня с тоскою больного удушья. Волкодав молчал. Заметил ли он, что я был робок, неуверен в себе? Возможно... Но, вздохнув, он поверил наконец мне свои думы:

— «Смерть недалеко... Дело, впрочем, не в ней. Она — утешительница, тихая, мирная дрема без през. Это она торжествует над недугами». — И он вновь печально положил голову на лапы, утомленные состязаться с ветром степей.

Собачью речь почти никто не улавливает. Постичь её нелепко. Полунемой язык собак в Академиях наук не изучают. Установить собачью грамоту безнадежно. Звуковой же состав её для неискушённого слуха кажется ничтожным. Но вина здесь не в собаке, а в человеке. Человек пренебрег развить в себе дар понимания собачьей речи, как давно утратил он, например, и нюх. Вместе с тем,

речь эта существует. Наблюдая мимику собаки, выражение ее глаз, игру ее хвоста, ее телодвижения, различая присущие ей так называемые нечленораздельные звуки, включая лай, вой, рычание, вздохи, взывания, — путем долгого опыта, терпения, а, главное, чуткости, собачью речь можно начать понимать через год. Упражняясь, доверяя тому, что утраченный нами дар восстановим, через три года можно свободно разговаривать с собаками.

Было бы ошибочно предположить, что собаки могут беседовать только о плотном обеде, своих любовных похождениях и охотничьих геройствах. Мышление собаки пространно. Собака способна рассуждать об эстетике, о примерах собачьей взаимности, о тщете человеческой деятельности и даже о вопросах мироздания.

Изучение в будущем духовной природы животных откроет и подтвердит то, что я пишу сейчас. Это способности не собаки, но человека в отношении собаки, которые находятся в полном вырождении. Учитесь собачьему языку, он существует!

В раздумье я долго глядел на Аттилу. Вдруг я услышал чьи-то шаги. Старый слуга с бакенбардами, в ливрейном изношенном кафтане, но в ночных туфлях, испытующим взором взглянул на меня поверх очков. Потом перевел глаза на бутылки вишневки на полу.

— Доложите барину, — начал я, — что его хочет видеть родственник. — Я назвал себя. — Вот письмо, а там подарок, наливка... Ведь, сказывают, барин болен... Тяжело?

Слуга удивленно поднял седые мохнатые брови.

— Их милость находятся в полном здравии. Они в кабинете пишут-с. Извольте обождать.

Я обрадовался. Очевидно, что весть пономаря относилась к предводителю с императорской бородой.

Войдя в столовую, поскрипывая половицами, я стал расхаживать и знакомиться с ее необычайной обстановкой. Если в этой низкой, но довольно длинной зале и бывали когда-то трапезы и застольные речи, веселье здравицы, горячие споры о собаках и охоте, то это было давно. Очень давно...

Ощущение глубокого сна и воспоминания в самом сне породила эта зала. Я пережил внезапно мгновение, знакомое многим. Казалось, что зала существует, но я не существую, что явь только тихий сон, тот сон, который посещает нас очень редко, несмотря на то, что мы бодрствуем.

Даже люстра со вздрагивающими подвесками (а в ней уже не было ни одной свечи), полускневшая, задернутая паутиной, слов-

но истлевшим кисейным чехлом, не помогла мне сразу прийти в равновесие, именуемое здоровым смыслом. Вернее было бы считать его ограниченным смыслом. Ибо мгновенный сон в яви преодолевает пространство, время и косную плоть.

Я услышал снова дребезжащие листы железа в окнах. И в то же мгновение потерял волшебную способность постигать скрытый смысл вещей и среды. Благодаря горнего бытия стала опять явью трех измерений.

Безрукий, где-то за стенами, был недоволен моим вторжением. Я это чувствовал, но терпеливо ждал. Уже входя в залу, а из нее был виден сад, ломившийся волнами жасмина в простенки окон, я заметил множество картин. Нет! Это определение неверно. Это были не картины. Я хочу быть точным: это были портреты собак.

Портрет перестает быть картиною, когда художник и модель сливаются в чистосердечной беседе, доверяя друг другу, взаимно познавая друг друга.

Некоторые изображения собак, написанные масляными красками, были исполнены ремесленно (очевидно еще крепостными живописцами), но с той грубой откровенностью, которая принадлежит невзвешенному слову или случайному жесту.

Два огромных портрета борзых выделялись однако своей изысканной живописью. Их мастерство доказывало, что эти две вещи писал какой-то столичный и пригом иностранный художник. На тяжелых позолоченных рамах были медные дощечки с выправленными кличками собак.

Обе борзые были изображены в рост. Они были главным украшением залы. благородные, поджарые абрисы собак и их узкие головы выглядели высокомерно. На дощечках можно было прочесть:

«ВИТЯЗЬ» (1743—1750) и

«БОЯРЫНЯ» (1743—1755).

Лучших дружек в живописи я никогда не встречал.

Догадка моя, как я установил позже, была верна. Полотна представляли знаменитых борзых, подаренных вернопопданым предком Безрукого императрице Елизавете.

Портрет пары гончих, изображенных грубо, с ошибками в пропорциях, был однако веселой противоположностью выхоленным, надменным борзым. Лукавое, воровское выражение глаз этих собак отвечало и их кличкам, придуманным каким-нибудь егерем-пьяницей.

«СТЕРВА» (1785 — дата смерти была обозначена вопросительным знаком) и

«ПОДЛЕЦ» (1785—1797) не раз, конечно, отведали нагайку доезжачего, выкрадывали сало из его охотничьего мешка и, не страдая ни неврастенией, ни бессонницей, были превосходными производителями. Эта сука и кобель олицетворяли самую могучую силу вселенной — стихию пола без совести и сознания ответственности. Христианами и баричами они не были. Это были мужики и язычники.

Рыжий опромный пес, с оттенками сурика и опня в густой шерсти, породу которого я не мог определить, был изображен прямолично, сидящим на задних лапах. Неумолимо свирепая и мрачная сила в его пристальном взгляде палача приковывала зрителя. На дощечке (я стер с нее пыль) значилось: «Бисмарк» (1887—1894). А внизу: «Растерзан волками у Черной балки».

Три серые овчарки, с мохнатыми грудными клетками и розовыми языками, напомнили мне, что в степях уезда когда-то паслись бесчисленные стада овец. Названия овчарок указывали на особенности очевидно не только человеческие, но и собачьи. Неведомые философам и моралистам «Распутница» (1886—1895), «Волкита» (1886—1893) и «Недотрога», в сущности, могли бы быть уподоблены Фрине, Ловеласу и покровительнице девственниц св. Урсуле.

Серый пойнтер в черных подпалинах, удерживавший в зубах вальдшнепа, по прозвищу «Ахилл», находился в середине собачьей галереи. Я успел еще заметить черного пуделя «Фауста». Но закончить осмотра портретного собрания мне не удалось. По крайней мере в этот день.

Слабо зазвенел колокольчик. Безрукий требовал к себе слугу, чтобы объявить свое решение. Это меня взволновало. Галерея достославных псов могла почитаться чудачеством только невеждами и вергопрахами. Ее владелец, а отчасти создатель, открыл мне доголе неведомый мир. Но ключ от входа в него был в самом Безруком. Я это уже знал.

Через минуту слуга открыл настежь обе половинки двери и с забавной торжественностью произнес:

— Их Высокоблагородие просят пожаловать!

Я ожидал увидеть в кабинете Безрукого трофеи охот, ружья, рогатины, чучела, всё, что испокон веков тешит сердце охотника и дорого ему, как засушенные лепестки флёр-д'оранжа безутешной вдове. Ничего подобного здесь не было. Комната скорее напоминала кабинет ученого, исследователя.

В трех библиотечных шкафах из красного дерева с бронзовыми украшениями находилось несколько больших томов в кожаных переплетках. На столе была картотека. На стенах же висели большие таблицы, исполненные от руки, с изображениями генеалогических лестниц. Родословие славного рода Безруких могли изучать историки. Безрукого оно не занимало. Он был занят родословными собаками.

За столом, в венгерской куртке, подбитой мехом, в тубетейке на голове, сидел «предводитель собачества».

«Лето уже не греет его кровь»... — мелькнула во мне мысль. Безрукий повернул в мою сторону голову. И, неожиданно для себя, я встретил слегка раскосые глаза монгола.

У каждой расы особый взгляд, особый свет в глазах, особая игра оправленной души. Монголы, часто, видя, не видят, а не видя, видят. Взор монгола скрывает от постороннего, от чужеземца особь. Но нет более древнего и вещего зрения, чем зрение сынов вечной Азии.

Поклонившись, я остался у порога. Безрукий явно оценивал меня. И молчал.

Три измерения на мгновение растворились снова. Я и Безрукий, как мне почудилось, включились в колебание какого-то тревожного света. И самое невероятное, что вдруг осенило и переполнило мое существо, было то, что я ощутил всем своим телом и угадал сознанием, что, восходя к каким-то позабытым, неведомым мне предкам, я тоже сын Азии. Но мгновенное наваждение исчезло.

Безрукий продолжал молчать. Окинув меня еще раз взглядом с головы до ног, он взял со стола старомодный лорнет в черепаховой оправе и, глядя мне в глаза (теперь это был лишь взгляд захудалого русского барина), устало, шепелявя, сказал:

— Ты взаправду историк? Или... — Он перевел глаза на мои новые лакированные сапоги. — Или только праздный щеголь? Вот, да...

Он взял со стола письмо моего отца.

— Только из-за этого, вот... да... согласен. А, впрочем, можешь сесть...

Его речь была отрывиста, он комкал предложения. Язык его словно спотыкался. Опустив глаза, Безрукий положил лорнет на стол и скрестил перед собою пальцы, — сухие, длинные пальцы скорее скрипача, но не охотника, который всю жизнь выращивал щенков, случал разные породы собак, травил волков и бил непокорного коня нагайкою меж ушей.

Старик молчал. Мерно и плавно раскачивался изправший медью отраженного заката маятник ампирных стоячих часов. Минутная стрелка, казалось, обманывала: она бежала, а время остановилось. Безрукий как будто забыл обо мне. Шведля бесцветными губами, он отвечал своим думам:

— Историк! — Он хихикнул. — Щенок, а не историк... Похож на отца. Но мы все похожи...

Неожиданно он громко и раздраженно произнес:

— Если ты не любишь собак, проваливай восвояси! Я, знаешь, собачий предводитель...

С усмешкой он уставился глазами пустынного песочного цвета на меня. Лукавить было нечего.

— История уезда — предлог. Историю нашего края никто никогда не напишет. Ей несколько тысяч лет... Я приехал к вам из-за собак.

Безрукий повел плечом, взял серебряный колокольчик и позвонил. Не поворачиваясь к слуге, он приказал:

— Подай чаю... С сотовым медом.

Удача была несомненна: я снискал внимание старика, хотя мои щегольские сапоги едва не предали меня. Безрукий снисходительно заметил, глядя на них:

— Ты не охотник, вижу... Гусарские сапоги носишь.

Прожил я в усадьбе двое суток. Девять томов, написанные Безруким собственноручно, составленные по записям и собачьим архивам его предков, являлись произведением целой жизни. В них, кроме истории охоты в России и в Европе, были генеалогические таблицы, не считая тех, что висели на стенах, всех собак, воспитанных несколькими поколениями Безруких. Годы рождения и смерти многих из них (но не породы) были предположительны. В этом признавался сам сочинитель. Девятый том заключал в себе поименный список собак, ушедших в вечность, с отметкой участи некоторых из них. Судьбы нескольких собак были сказочны. Сука «Леда» утонула в болоте, запутавшись в водорослях и камышах, под тяжестью облепивших ее пиявок.

В 1812 году французы, в надежде найти в усадьбе сбежавшего Наполеона, съели 37 щенков и сожгли старую псарню, которую я приметил, въезжая к Безрукому. Изложение этого славного случая из истории французской армии и список имен злополучных щенков составляли отдельную главу. Безрукий называл исчезнувших в голодных утробах французов щенят «Непорочными жертвами». В том же томе киноварью с золотом были вписаны

имена гончих Безрукого-отца, стаи, состоявшей из сорока собак, голоса которых были подобраны в превосходном и редком регистре. Эта образцовая свора травила волков в первой половине прошлого века при участии эрцгерцога Австрии и епископа Будапешта, венгерца, дальнего родственника Безруких.

— Голосов собак теперь различать не умеют, — заметил старик. — Не то уже время... И никто не понимает собачьего языка. А он ведь существует!

И Безрукий изложил мне свои мысли о звуковой природе собачьей речи. Они помогли мне окончательно увериться в том, что «Предводитель собачества» давно постиг, но о чем я лишь смутно догадывался. Простая истина о языке собак была давно утрачена. По убеждению Безрукого, пунны отменно понимали собачью речь.

— И только, может быть, потому, что я их потомок, — заключил он, — я понимаю, что говорят собаки. Но, — понизил он голос, — тайная мудрость страшна! Ты видел Алтилу? — Я кивнул головой. Безрукий поправил плед на зябнувших ногах, задумался, потом стал пристально смотреть в мои глаза. Мы снова включились в невесомое дыхание Азии, вне времени, вне места. Он тихо произнес:

— Меня ждет уже смерть. Это сообщил мне Алтила. Но дело не в ней... Смерть — утешительница, сладостная дрема без през.

Мне стало жутко. Безрукий повторял слышанные уже мною мысли Алтилы.

— Хуже другое... — И он поник головой. — Пожар, огонь... Откуда он придет, я не знаю... Алтила тоже не знает. Но всё погибнет... Всё!

Старческая рука указала на фолианты, описала круг в воздухе. В комнату вкралось молчание; оно ползло, как туман. Но внезапно колдовской круг распался.

Маятник спокойно отсчитывал положенные всем нам сроки. Мирно, но неумолимо.

«Странно, что никто не боится часов...», — подумал я.

— Возьми еще меду, — настоял старик, кутаясь в венгерку на меху, хотя было лето, и в запущенном саду цвели старые липы. — Мед, особенно сотовый, очищает кровь...

И он привычно скрестил пальцы, — сухие, длинные и пожелтевшие, как пергамент. Казалось, в них уже не было крови.

Это была моя первая и последняя встреча с Безруким.

Через год зарева ночных пожаров начали освещать степи и

леса России. Мужики не хотели больше пахать землю. Они восставали. Мужики требовали, чтобы их тоже принимали в университеты... И они же дотла сожгли усадьбу Безрукого.

А слова Аггиллы оказались правдой: попомок пунинов умер за неделю до этого.

ПОД МЛЕЧНЫМ ПУТЕМ

Углекоп Вацлав Рыба, с которым я жил в конторе шахты «Тереза», всегда умствовал. Как и все чехи. Может быть поэтому народ этот обладает всем, кроме юности.

— Я, — с гордостью говорил Рыба, — чех, упрямый чех. Я люблю мою родину, но нет на свете хуже места, чем наш город. Это — бесовское логовище. Любовь к родине святая сила. Но наш город проклятое место!

Кто мог бы действительно полюбить промышленный поселок с сотнями штолен, крупными насыпями шлака и стелющимся дымом заводских труб? Спертый воздух был отравлен зловонной серой и копотью. Мутная плелена над городом зыбилась, как ползущий удав. Исчезала удушливая завеса только под плетью северного ветра.

Бурый уголь добывался здесь днем и ночью. И днем и ночью горели доменные печи. Вырывающиеся из них языки пламени раскачивались, как красные флаги, призывавшие к восстанию. Но этому зову никто не внимал.

Дети шахтеров были бледны, как стеарин. Сами же углекопы напоминали чернокожих на каторге. В их белках трепетала ненависть.

Устроители счастья рабочего люда! Попробуйте воспеть труд под землей, а над нею полумертвое солнце.

Оно светило и здесь, но его животворную силу оправляла угольная пыль. Да и земля тут едва дышала. Она задыхалась.

Когда нежданный дождь освежал воздух, Рыба брал в руки гармошку и распевал частушки. В них хныкала жалоба и горестная насмешка. Но случалось это редко. Очень редко.

В августе, когда я поселился в конторе, зачумленное солнце ярилось особенно. С каждым днем оно озлоблялось и терзало немилосердно. От мутной зари до мутной зари. Невидимые лучи непрерыванно накаляли угольный полог над городом. Казалось, что он, наконец, вспыхнет, взорвется и обрушится теплом.

Но воздух был недвижим. Земля задыхалась уже больше недели. Не было ветра. Задыхались люди и звери. Колодцы у шахт высохли. А листья на трех чахлых акациях во дворе конторы скрючились и увяли. Их нежный шепот умолк навсегда, как волшебная сказка, которую потерял утомленный мозг.

Пошатываясь от изнуряющей духоты и годов, вечером старухи брели каяться снова в давних грехах в костел. Они готовились к концу мира. Но исповедник их больше не слушал, торопясь поскорее снять стихарь. И конец мира не наступал.

Истомленную землю вновь окутала безгласная ночь. Ночь тоже чаяла избавления от бремени. Слишком непосильного. Оно медлило, не приходило, как запоздавшие роды.

«Если даже ночь мучается, не может освободить свое лоно, разрешиться счастливым ливнем, как худо должно быть в этот час Альме», — подумал я и вышел во двор.

Свет от непогашенной лампы падал под острым углом на собачью будку. И в его лучах плясали ядовитые зеленые мошки, — балерины суточной жизни.

Я поднял глаза к небу. На нем не было видно ни одной звезды. Черный плат над городом удушал всё. Если бы не мошки, можно было бы поверить кающимся старухам. Землю ждала смерть.

С трудом волоча ноги, я подошел к Альме. Тяжело дыша, распластанная грузом своего тела (она ждала щенков) и духотой, она лежала у своего жилища, кое-как сколоченного из досок, с соломой внутри. Запорошенной, как город, как лица шахтеров, как листья акаций, угольной пылью.

Убогое, но это было жилище.

Задумался ли кто-нибудь над собачьей будкой? Мы знаем дворцы, где жили короли и куртизанки, мы почитаем лачуги, в которых рождались отважные мореплаватели или гениальные поэты, но остановился ли кто-нибудь из смертных (историк или писатель) у конуры? Почувствовал ли он, что и она хранит свои тайны, горести и счастье? Ведь и ее посещают наперсницы судьбы — бессмертные Парки. И там ткут они путеводную нить будущих жизней. Ни часовые у дворцов, ни щеколда на двери хижины, ни охапка сбитой соломы в конуре не могут остановить тех, кому дано склониться к новорожденному, — принцу или слепому щенку, — и указать ему, какими путями пройдет он свою жизнь.

И будку Альмы должны были посетить веющие гости. Так как ее жилище уже осенила тайна. Безразличный взор заметил бы в конуре только грязную солому, примятую телом Альмы. Я же

давно полюбил в ней уют жилья. Что может быть тоскливее пустыни собственного дома?

Альма чуяла, что час рождения близок. Знал об этом и я, наклонившись к ней, погладив ее голову.

— Не теряй терпения, мамочка! — сказал я ей. — Сегодня ночью будет гроза. А с нею окончится и твое испытание.

Свет покорно-усталых глаз Альмы впервые приоткрыл мне красу материнства.

— Я тебе верю... — услышал я. И, убрав влажный язык, часто дыша, она положила мне морду на руку.

Налив свежей воды в миску, я придвинул ее к горячим ноздрям Альмы. Сухие ноздри у собак — признак недуга. Но я помнил, что в эту ночь земля задышалась, а с нею и Альма с перегруженным брюхом.

— Все в порядке? — спросил я ее.

Застенчиво Альма ответила: — Все в порядке... — Но добавила: — Только меня страшит эта жуткая духота. А что — и тревога мелькнула в ее зрачках, — если они задохнутся во мне? Их трое, я это чувствую... Задохнутся раньше, чем я их увижу... Во мне самой.

Есть лица, которыми любят даже ангелы, и без опроса ведут их к престолу Вечного Судии.

Есть голоса, которые обещают ласковый огонь очага, но оставляют на пороге дома щепы лжи и обмана.

Есть глаза, в которых сияют голубые туманы морей, и они уходят от нас, горестно плача, как сновидение.

Есть руки, которые бесстрастно дают нам постичь, что труду принадлежит лишь единый опудьх, именуемый смертью.

Но есть еще мудрые лапы беременной суки, сребрающие тряпье и солому для щенков, которых она наплодит. Эти лапы, лапы Альмы, я нежно погладил, как руки встревоженной женщины, готовящейся стать матерью.

— Альма, поверь мне и не бойся! Вот-вот ты станешь веселой мамочкой... Всё будет в порядке.

— Я тебе верю, — повторила она тихо. И, положив опять свою голову на мою руку, задумчиво добавила:

— Без надежды нельзя жить.

Я задумался. Без надежды нельзя жить. Без надежды гибнут не только люди, но и звери. Умолкают птицы.

Издавна говорят, что иные животные или пернатые не переносят неволю. А что такое неволя? Это — гибель надежды. Осоз-

нав, что в тюрьму надежду свободы не впустят, волк за решеткой или соловей в клетке одинаково предпочитают смерть.

И я шепнул Альме:

— Альма! Я знаю, что ты еще не была мамой... Поэтому тебе так жутко. Но уверься: тревогу твою сменил тихое счастье. Твои сосцы набухли. Они болят и ноют... Но так надо. Из них, понимаешь, они — твои дети — начнут сосать твоё молоко. Оно брызнет на их языки, оно потечет капля за каплей в их голодные горла. Ты утолишь их жажду и голод. И надежда станет радостью. Выпей воды и спокойно жди!

— Молоко брызнет! — повторила она. — Я не хочу обронить ни единой капли, ни единой... Всё молоко должно принадлежать моим детям. Всё!

— Не опасайся, Альма. Его хватит. Как хватило для тебя, когда ты появилась на свет, как хватило его для меня, для Вацлава Рыбы, для всех. Ты не знаешь, но всё, что существует и дышит, что живет и умирает, от нашего стучащего сердца до немого камня, — всё это тоже молоко.

Альма недоверчиво подняла на меня глаза:

— Я не могу этого понять. Как может быть старый Рыба и камни, которыми вымощен этот двор, молоком?

— Понять это сразу никому не дано. Надо почуять это сердцем. А это возможно, когда ты отгонишь спесивую мысль, сумеешь внять бегу и росту того, что не только в нас, но и вне нас. Существует молоко вселенной. Оно — источник зарождения каждой песчинки или жизни. Молоко мира выдумал не я. Много, много столетий назад, у далекого моря, где нет ни угольной пыли, ни шахтеров, терзающих заступами чрево земли, жили люди, и звали их греками. Они почитали разных богов. Их было много у них потому, что единая сила может дробиться, как поток, творящий струи и брызги. Ты видела не раз в небе Млечный Путь. Греки верили, что Млечный Путь возник так: когда Юнона кормила грудью Геркулеса, она уронила несколько капель молока.

— Значит существует молоко мира? Молоко вселенной?

— Человеческая мысль бессильна решить эту загадку. Мыслители, поэты, ученые бродят, как слепые, вокруг той же тайны. Меняются лишь названия. Теперь первоисточник всего, молоко мира, называют плазмой...

Альма вздохнула:

— Всё это слишком непонятно для меня. А для тебя?

— И для меня тоже. Но подумай: прошли столетия, одни народы исчезали, другие появлялись. Их кто-то создавал и питал. В

другом углу земли, там вон, на севере, где снег страшил древних, народился другой народ. У него была другая вера. Забытая Юнона стала у них Богоматерью. И эти люди до сих пор верят, что Млечный Путь — это молоко, пролитое Богородицей, когда она кормила грудью своего Младенца.

Альма притихла, долго молчала. Ее тело вздрагивало.

— Тебе больно? — спросил я.

— Да... — ответила она. — Больно... Это судороги?

И в углах ее опущенных век я увидел слезы.

— Мне страшно... — прошептала Альма. — А Богоматери тоже было страшно?

— И ей было страшно. Но не потому, что она боялась судорог. Нет... Она знала, что Ее Сына, которого она поила своим молоком, умрет, чтобы молоко его плоти не умерло.

— Старый Рыба давно называет тебя сумасшедшим. Я слышала это, когда он беседовал о тебе со штейпером. Не надо больше говорить об этом.

— Ты права, Альма. Всякая тайна — проклятие. Оно мучительно. Всякая легенда (а она не избавление ли?) творилась теми, кто восстал против испесивой мысли, став сошедшим с ума, став сумасшедшим...

В тот день в затхлой конторе я подсчитывал с утра до ночи бесконечные тонны добытого угля. Счетная машинка утомила не только мою руку, но и мозг. Я опошел от Альмы и лег на скамье в беседке возле акаций. Духота теснила закрытые веки и сознание. Внезапно мне почудилось, что листья акаций вздрогнули. Нет, они были неподвижны.

— А ядовитые зеленые мошки — тоже молоко вселенной? — прозвучал откуда-то насмешливый голос.

— Конечно, — ответила с улыбкой моя мать. Сев возле меня, она нежно склонилась и растепнула пуговицы на воротнике моей рубашки.

— Так тебе будет легче дышать, — сказала она.

— Откуда ты, мама? — удивился я. Но я не ждал ее ответа и не помнил, что ее не было со мною уже много, много лет.

— Конечно, мошки тоже молоко вселенной, — сказала мать. — В нем и мед и яд. В нем — рождение и смерть. Есть усталые руки, которые откапывают уголь, чтобы познать лишь единственный отдых, именуемый смертью. Есть глаза, в которых сияют голубые туманы морей, горестно плача, как сновидение...

Чужой насмешливый голос умолк. Слезы, полные угольной

копоты, смочили дряблые щеки усталой старухи. Да, это была моя мать. Это она положила свою сухую ладонь на мой лоб.

— Мамочка, — сказал я, — не теряй надежды. Мы еще увидимся когда-нибудь... — Но она молчала, словно для нас надежды не могло быть. И я торопился, чувствуя, что мы расстаемся навсегда.

— А тебе было страшно? В тот день, когда у тебя ныли сосцы?

— Всякая тайна страшна, — склонила она голову. — Но без надежды нельзя жить...

И, пошатываясь от слабости и годов, она побрела к костелу. Я еще видел, как она всходила на его крыльцо.

Я забылся и забыл о пустыне жизни, о городе, об Альме, о конторе, где тысячи и миллионы подсчитанных тонн угля расстроили мой ум по мнению утлекопа Рыбы. Моя дума умирала, как земля в эту ночь.

«У Альмы начались уже судороги», — мелькнула еще раз угасающая мысль. Но она оборвалась под испудом одолевшего сна.

Я очнулся от шума. Ливень промко хлестал по крыше беседки. Ликующая и гремя, гром сотрясал небосвод. Веселый ветер пригибал ветви акаций, шумел их лепетавшими, ожившими листьями.

Я вскочил на ноги. В зареве молнии мелькнула согнутая фигура Рыбы около будки Альмы, с угольным мешком на голове и плечах.

— Рыба! — крикнул я. — Человеке добрый, что ты там делаешь?

— Альма оценилась... — услышал я голос утлекопа. И в грубом возгласе его звучала непривычная радость.

Подбежав к будке, я наклонился. Ливень шумел, ликовал. Ветер помешал мне расслышать Рыбу.

— Стервецы! — повторил он, смеясь. — Стервецы уже сосут мамашу...

— Сколько их? — прокричал я в раскате грома.

— Трое! — рывкнул Рыба, сидя на корточках, не обращая внимания на потоки воды, хлеставшие его спину и плечи.

— Мамочка! Ты счастлива, всё в порядке? — тормошил я Альму за уши.

— Всё в порядке... — ответила Альма, кося глазами на щенков, облепивших ее брюхо. И мне стало понятно, что ей не нужны свидетели ее материнского блаженства.

— Ты слышишь, Рыба? — прокричал я в ухо шахтеру.

— Что? — обернул он ко мне недоумевающее лицо, по которому текла вода, смывавшая угольную пыль.

— Я забыл... Ты ведь не понимаешь собачью речь.

Углекоп сухо и насмешливо возразил:

— Нет! Разума я еще не потерял.

Через полчаса вызвездило. Мы сидели с курившим Рыбой в беседке. Акации, вдрагивая, роняли наземь редкие капли. Легко и счастливо дышалось. Было тихо. Только вблизи было слышно, как чмокали языками слепые щенята, сосавшие Альму.

В глубоком агате неба был виден Млечный Путь. Я сказал:

— Видишь, Рыба, это — Млечный Путь, источник вечного материнства... — И я не обиделся, когда углекоп, считавший меня помещанцем, откашлявшись и выбив пепел из трубки, возразил:

— Это — вещи непонятные для здорового человека. Говорят, это — звезды. Мне знать дано немного, но меня учили этому в школе. — И с чувством превосходства добавил:

— Сколько тонн угля отсылает наша контора, подсчитать можно, а сколько звезд в Млечном Пути, — никто никогда не узнает. А причем здесь вечное материнство, не понимаю...

— Ну, скажем, звездная пыль, — попробовал я договориться с Рыбой.

— Мерзкую угольную пыль нечего сравнивать со звездами небесными! — Углекоп поднялся со скамьи и направился к конторе.

Я долго сидел один. Пристально глядел на небо. Земля дышала. На колокольные костела ударило два часа ночи. Я вспомнил, что двадцать пять лет тому назад в этот час умерла моя мать. И перекрестился, взглянув снова на небо. И вдруг заметил: под Млечным Путем, под его бледной дугой, в тумане отделились три легкие тени. Это Парки, дочери Ночи, в бесшумном полете приближались к будке Альмы.

*К двадцатипятилетию
со дня смерти Евг. Замятина*



1884—1937

Е л а

(Повесть)

1

Двухнедельные тучи вдруг распороло как ножом, и из прорехи аршинами, саженьями полезло синее. К полночи солнце уже било над Оленьим островом вовсю, тяжело, медленно блестел океан, кричали чайки. Они падали в воду, взлетали, падали, их становилось всё больше, они скликали всех, отовсюду.

Цыбин услышал чаек, вышел из дому и по узкой тропинке побежал вверх, в гору. С последнего поворота, по каменной площадке над собою он увидал десятка два морских сапог с острыми носками, загнутыми назад, как форштевень у норвежской ёлы. Цыбин поднялся и свои ноги в таких же сапогах поставил рядом. Он был без шапки — прочный, смолёный, курчавый. Руки он держал так, как будто к ним, вместо кулаков, были привязаны гири.

Все стояли молча и чего-то искали глазами внизу, в воде. Сверху им, как чайкам, было видно далеко вглубь. Сквозь водяное стекло зеленели мохнатые камни и водоросли.

Клаус Остранд, норвежец, сказал:

— Теперь мы ожидаем, что уж придет. После шторма оно должно приходиться.

У Клауса был купленный еще до революции норвежский бот — лучшая из всех здешних посудин. Для Цыбина этот бот всегда был как кусок мяса для голодной собаки, и как всегда он ощерил зубы на Клауса, чтобы сказать ему что-нибудь плохого, пообидней — но не успел. Он увидал то самое, чего все искали: недалеко от берега лепкие водяные вихры прокалывали снизу водяную гладь, тотчас же опадали, рядом выскакивали новые — и еще, и еще — вся вода в этом месте как будто кипела.

У Цыбина заколотилось сердце, но он нарочно самым протстым голосом сказал:

— Играет...

Все повернулись в ту сторону и заговорили разом, путано, вперебой, как хмельные. Круглое, бритое лицо Клауса покраснело, он побежал вниз, остальные за ним.

Через минуту всё становище взворошилось, в избах хлопали двери, женщины кричали на оголтело шнырявших ребят, мужчины, дожевывая на бегу, прыгали с веслами в карбасá. Пришел, наконец, долгожданный час: в губе ипралта селедка, киты загнули ее сюда из океана, люди и чайки торопились хватать ее — она могла уйти в океан так же быстро, как пришла, она уже сейчас, на глазах у всех, уходила за Олений остров, надо было догонять ее — догонять счастье.

Цыбин сидел на камне возле своей избы и курил — как будто спокойно. Торопиться ему было нечего: у него не было ни бота, ни ёлы, он занимался к другим, кто ходил промышлять на своей посудине. Так он работал третий год, и в жестяной довоенной коробке от Высоцкого чая у него уже лежало двести рублей. Каждый рубль он с мясом отрубал от себя и от Анны. Зимой они ели одну треску, но коробки с деньгами они все-таки ни разу не открыли: как ребенок внутри женщины, в этой коробке лежала их ёла, трудно, медленно зрела, питаясь человечьим соком — и, может быть, теперь уже близок был час, когда она, наконец, родится.

— Если селедка продержится три дня, так тогда пожалуй что...

Цыбин не кончил, но Анна поняла и так.

— Хоть дожить, поглядеть, — сказала она и стиснула, повернула на пальце серебряное кольцо. Кольцо было просторно, и вся Анна похожа была на пустой наполовину сверток — из свертка что-то потеряно, упаковка ослабла, и каждую минуту всё могло рассыпаться.

Снизу к Цыбину быстро шел Клаус Остранд, шумно, по-коровьи, дыша.

— Пожалуйста, пойдешь со мной на селедку, — сказал он.

— Сколько? — спросил Цыбин.

— По пятнадцать с пуд.

— Двуривенный — меньше не пойду.

Клаус задыхал еще промче, побалровел, потоптался и молча зашагал дальше — к Туюлинской избе. Цыбин не двинулся с ме-

ста, только под скулами на лице у него проступили крупные узлы, как на туго натянутом парусе. Игра шла крупная: ставкой была цыбинская ёла. Если Сашка Туоливи проспался после вчерашнего, так ясное дело — Клаус пойдет в море с ним, а Цыбин останется на берегу, тогда — прощай ёла...

Был тот самый час, когда ночное солнце ненадолго останавливалось в небе и с открытым глазом дремало над угольно-черными скалами Оленьего острова. Все было вдесятеро слышнее, чем днем, каждое слово, каждый плеск весла, каждый удар сердца.

— А если Клаус не вернется? — сказала Анна.

Цыбин молчал. Шлюпки с черными людьми бежали к ботам и ёлам. На одной посудине, промывая цепью, уже вытягивали якорь. Клауса не было видно. Цыбин встал и вошел в избу, чтобы не видеть, как все уходит в море.

В избе он сел на лавку, поглядывая на сапоги.

— Хм... До зимы, пожалуй, дотянут... — сказал он спокойно, изо всех сил. Тут же вспомнил, что нынче утром уже говорил это Анне — и освирепел. — Ну, чего стоишь? Чего пялишься? — кричал на нее.

В дверь просунулось красное, бритое лицо Клауса.

— Согласно. Идем... шпорт! — сказал он сердито.

У Цыбина внутри стало быстро, горячо. «Ёла»... — ёкнуло сердце. Он встал.

— Ну, идем... — сделал шаг — и не вытерпел, заорал воясю, как на море во время шторма, когда надо перекричать ветер, облапил Клауса, поднял его.

— Ты что? С ума пошел? — еле продъшал Клаус.

Цыбин и правда как свихнулся. Он, не переставая, говорил, белые зубы сверкали, в шлюпке он ударил веслом так, что весло хряснуло пополам, Клаус ругался по-норвежски.

Когда причкалили к Клаусову боту, Цыбин похлопал бог рукою по обшивке:

— Эх, Клаус, посудина у тебя! — и прибавил: — Ну, ничего...

А в этом «ничего» и было всё. Наполовину игра была уже выиграна, оставалось взять еще одну карту: у моря — и тогда... Тогда — ёла, тогда — новая, великолепная жизнь!

Море было ласковое — как будто оно никогда не вставало на дыбы, не ревело бешеной, белой пастью, не глотало таких же белозубых крепких людей, как Цыбин, как Клаус, как его младший брат Олаф. Океан по-кошачьи играл с ними — вдруг спря-

тал селёдку, нигде не видно было кипеней на воде, все растерялись, захлопали паруса, остановились сердца у моторов.

Легкая ёла старика Фомича пробежала под самой кормой у Клаусова бога. Корюккий, раскорячивши корневидца-ноги, Фомич стоял на носу и кричал Клаусу:

— Черти-и! Шлёпалы-ы! Машинами своими всю селёдку распугали! Назад, назад ворочай — она назад пошла!

И все поворачивали. Против солнца паруса вырезались на голубизне черные, как уголь, взят галс — и паруса уже белые, под допouxими шляпами-зюйдвестками видны лица, ослепительно сверкает чье-то мокрое весло, вода за кормой мурлыгнет.

Но едва успели повернуть — как селёдка опять запрыгала там, откуда только сейчас все ушли. Так, щурясь, мурлыкая, море играло с раскрасневшимися, охрипшими людьми, пока не закинуло в узкую губу все опромное рыбье стадо. Тут для людей и чаек начался пир — и люди и птицы сгали как пьяные от огромных охапок серебряной, трепещущей, прыгающей пищи.

Елы и два моторных бога стали у переимы, в губу с сетями побежало два карбаса. Сети ставили ненадолго и тянули их уже грузными, бопатыми, с трудом. Бичевка до крови резала Цыбину руки, но чем больнее было рукам, тем ему было шире, радостней, хотелось петь, орать разбойно, вовсю.

Уже никто не знал — день сейчас или ночь. Солнце все время вертелось в небе, как сумасшедшая круговая овца. Все забыли о том, что нужно есть, спать — только вытирали крепкий, соленый, как морская вода, пот и прикладывались к ведерку с нагретой солнцем водой. То черные, то белые поворачивались под солнцем чайки, кричали по-ребячьи, летели за карбасами, не отставая. Грузные, медленные, похожие на возвращающихся из стада, отягощенных молоком коров, карбаса шли назад в становище — сдавать селёдку в магазин, еще живую валить ее в чаны, засыпать солью.

— Эй, Фомич, у вас сколько? — мокрый, белозубый, пьяный, счастливый кричал Цыбин с берега вниз.

— Пудиков триста е-есть!

— Не допрыгнешь! У нас с Клаусом за пятьсот перевалила-а!

Где-то вдали, — а, может, и тут же, рядом, — Цыбину как во сне мелькнула Анна, у ней на пальце было серебряное кольцо, она что-то протягивала в руке — должно быть, хлеб, Цыбин отмахивался: «Некогда, не надо...» И снова преб в карбасе, снова налибался с сетью,пил теплую воду, вытягивал тяжелый, веселый груз. С соседней шлюпки кричали: «Гляди, ребята, кит, кит!»

Над темной гладью поднялся белый водяной столб, но Цыбин даже не повернул головы — кит для него сейчас был куда меньше селедки.

Селедка продержалась в губе почти четверо суток. Потом вдруг засвежело, подула моряна, тучи пошли все ходчей, в какие-нибудь полчаса запарусили все небо, и селедка прочно села на дно. Только тут все почували, что выбились из сил, подняли якоря и по ветру побежали назад, к дому.

Лов был такой, какого не бывало давно. На бот Клауса пало больше тысячи пудов. Клаус отсчитал Цыбину двадцать червонцев. Это была ёла — это была его, Цыбина, ёла!

Цыбин шел домой. В лицо, в глаза било косым холодным дождем, но он ничего не чувал, кроме ёлы, кроме зажатых в левом кармане денег, кроме счастливого, накрывающего с головой сна.

Дома он ничего не стал есть, не раздеваясь бухнулся на кровать и заснул. Во сне он улыбался. Так во сне улыбаются дети, обнявшись с давно желанным и нынче, наконец, полученным в подарок деревянным конем.

2

Дождя на другой день уже не было, но всё еще дул полунощник — сверху от Новой Земли. Вода в губе была железного цвета, скалы черные, на скалах сидели тучи.

Цыбин проснулся далеко за полдень, сел на кровати. Он знал, что светит солнце и снаружи, и здесь — везде. Потом увидел за окном толстое ватное небо — и все равно: какое-то великолепное солнце было. Он сейчас же вспомнил какое — и засмеялся. Подошла Анна.

— Ты чего? — спросила она.

Но сказать вслух, словами, было нельзя. Цыбин посадил Анну к себе на колени, взял ее рукою за прудь. Прудь сейчас походила на мешочек с высыпавшимся наполовину зерном, а раньше была полная до верху.

— Ну, ничего, Анка, — сказал Цыбин. — Теперь у нас всё пойдет...

Он наскорях выпил чаю, съел печеных селедок и побежал к Фомичу. Говорили, что когда-то в драке Фомич одним ударом уложил человека наповал и что лучше его моря никто не знает. Лет тысячу назад такой же Фомич, может быть на этих же самых каменных берегах, был главою племени. Теперь — его вы-

бирали в восемнадцатом в Учредительное Собрание, его спрашивали — сдавать налог или нет, идти в море или не идти.

Заросший серым волосом, коротконогий, он сидел у себя в избе без штанов — парусной иглой прилаживал к ним заплату. Вошел Цыбин. Фомич зажмурил правый глаз и остро, по-ястребиному, посмотрел левым.

— Ну, что? — спросил он.

Цыбин конфузливо, не глядя — так же, как он стал бы говорить о любви, рассказал Фомичу, что вот теперь деньги есть и надо скорей заказать ёлу.

— Ёлу, говоришь? — Фомич зажег трубку, помолчал. — Так... А только посудину покупать — это, брат, всё одно как жениться. Это надо не торопясь. Это — в жизни раз. Оно, да!

Он снова стал стегать иглою. Стежки были из суровых ниток, медленные, прочные — и такие же были слова. Да. Заказать ёлу. А где заказать? На казенном заводе? Лапти им плести, а не сплести! В Архангельском — там могут. Это — оно, да. А только там, как у нас в советском кооперативе — в очередь становись. Год ждать — не меньше. Да...

За окном на скалах каменно сидели тучи, всё небо кругом было серое, состарившееся. Цыбину ясно стало: ждать... Ёла уплывала, становилась всё меньше, чуть виднелась вдали. Он вздохнул, встал. Руки у него висели так, как будто вместо кулаков были гири.

— Ну, что ж... спасибо, Фомич. Пойду...

Фомич опять одноглазо, по-ястребиному поглядел на Цыбина — и даже не так: в Цыбина, внутрь. Поглядел — и сказал:

— Погоди-ка... — Цыбин остановился. — А если тебе не на заказ, а готовую купить? Слыхал я, одна сейчас продается...

Сердце у Цыбина застучало, как пущенный в ход мотор. Он уже не слышал дальше слов, какие говорил Фомич, но и без слов — как понимают друг друга рыбы — понял всё, что надо: ёла стоит в Мурманске, не какая-нибудь, а норвежская, продает ее норвежка с Кильдина, муж у нее недавно помер. Теперь одно: скорее попасть в Мурманск, пока никто не перехватил ёлу — его, Цыбина, ёлу. А пароход на Мурманск, на Вардэ — только через неделю. Перехватят в неделю — как пить дать перехватят!

Фомич порывлся в серой, спуганной шерсти на лице — и вспомнил:

— А вот — будто Клаус собирался в Мурманск идти. Поршень у него на моторе... Новый надо.

Через минуту Цыбин был уже у Клауса. Клаус молчал, промко сопел по-коровьи. Потом сказал:

— Когда селедка, ты мне двугривенный пуд, но теперь: «Клаус, Клаус!» Но я не вспоминаю. Ты мне помогаешь прузить, и я иду после два дня, воскресенье.

Прузить? Да Цыбин сейчас хоть сто пудов поднять может! Только бы дожить — только бы скорее дожить. Как пьяный, напинаясь на людей, на вещи, Цыбин ходил эти два дня. И как пьяный кружил из стороны в сторону ветер, погода была непрочная, вот только что было ясно — и вдруг налетел осенний шквал, всё темнело. Темнел и Цыбин: а что если к воскресенью ветер разыграется как следует и Клаус побоится идти?

Но за ночь как будто всё утеплось. Когда утром в воскресенье Цыбин вышел из дому, небо было чистое, легкое, летнее. И пахло по-летнему: мхами и дымком — где-нибудь горел сухой торф. Цыбин заторопил Анну: «Скорее, скорее...» Анна вынула заветную коробочку из-под Высоцкого чаю и пошла провожать.

Уходили на боте вчетвером: Цыбин, Фомич, Клаус и его младший брат, белоголовый Олаф. Цыбин явился в новой, еще не стиральной рубашке, в черном пиджаке. Фомич поглядел на него, потом обмерил одним глазом небо сверху донизу. Внизу, далеко, лезвием ножа блестел океан. Фомич сказал Цыбину.

— Ты куда — в море идешь или нет? Поди кожан надень и буксы. Вырядился — как к невесте!

Цыбин сбегал к себе и принес желтые непромокаемые штаны и куртку. Переодеваться он не стал, не мог: он ехал всё равно что к невесте — Фомич угадал.

В Мурманск шли по ветру. В подмогу машине Клаус поднял кливер и прот, бот бежал быстро — маленькой черной мошкой. Следом за ботом — следом за Цыбиным — летело солнце. Цыбин, обняв колени, сидел на канате возле якоря-храбринна. На темном, смоленном лице его рот расцветал, зубы блестели, впереди было счастье. Он думал о корпусе, о тросах, о парусах, о конопатке, о леке, о своей ёле, — о том, о чем не спал ночью три года.

В одиннадцать часов белым, чуть желтоватым кусочком сахара открылся маяк, а к часу они уже входили в Мурманск. Небо, всё еще голубое, летнее, было тут изрезано на куски мачтами и трубами. Цыбин среди маленьких, больших, красных, черных корпусов искал ее — свою ёлу.

— Храбрин, храбрин бросай... ччёрт! — кричал ему Фомич, должно быть, давно уж.

Цыбин очнулся, обеими руками поднял якорь-храбрин и срюнил его. В лицо брызнула вода, он утерся.

Долго ждали гепеушника — получить пропуск. Показали бумажки, сошли на берег. Олаф остался на боте, из кубрика торчала его беловолосая голова. Клаус сопел и шел медленно. Фомич тоже: ноги увязали в сухом месиве из песка и пыли. Цыбин стиснул зубы, кулаки, всего себя, — чтобы не бежать.

Идти пришлось порядочно: ёла отыскалась только в Базной гавани. Там, среди бокастых двухмачтовых шкун стояли три ёлы — как тонконогие козы, затесавшиеся в стадо коров. Свою Цыбин угадал сразу же, издали. Борт у нее был выкрашен желтой, радостной краской, и такая же желтая, будто окованная золотом, сверкала верхушка мачты, а палуба была выскоблена, как в избе пол под праздник. Ёла стояла и ждала, нарядная, как невеста. Губы у Цыбина в одну секунду пересохли, он хотел что-то сказать Фомичу — и не мог.

Фомич быстро окинул ёлу одним левым глазом, потом крикнул:

— Эй, хозяйка!

Из кубрика высунула голову женщина, что-то пролопотала по-норвежски, махнула рукой и опять ушла в кубрик. Цыбин понял: ёла уже продана, опоздал! Он ухватился за мачту, — может быть, чтобы сейчас изломать ее в куски, потом кинуться на хозяйку в кубрике.

— Продана? — хрипло спросил он у Клауса.

— Она говорит, что она идет сделать порядок на кубрике. Она не продавала.

Цыбин засмеялся, изо всей мочи тряхнул мачту, мачта чуть скрипнула.

— Эх! И крепка же! — закричал он.

— Да уж что там: оно... — сказал Фомич.

Хозяйка позвала в кубрик. Она не продала ёлу, она была удивительная. У ней были желтые волосы — как обшивка у ёлы, синие глаза, под глазами темные летние тени.

На столе в кубрике стояла бутылка горькой и закуска. Хозяйка налила. Цыбин не дожидаясь схватил и залпом выпил свой стакан. Хозяйка что-то заговорила по-своему с Клаусом, взглянула на Цыбина, засмеялась. Цыбин засмеялся в ответ и на ее руку положил свою — закорюзлую, похожую на лапу какой-то большой птицы. У хозяйки рука была холодная.

— Ну, что же, спроси у ней, сколько она хочет, — сказал он Клаусу.

— Шестьсот, — ответил немного погодя Клаус.

У Цыбина было только четыреста сорок, больше не было. Но все равно он знал, что ёла будет его — должна быть, они ждали друг друга всю жизнь. «Милая ты моя синеглазая — пойми ты!» — глазами сказал он хозяйке и прочнее взял ее руку своей.

— Четыреста у меня только и есть, — вслух сказал он.

— Нэй, нэй! — хозяйка выгнула руку и опять залопотала с Клаусом. Клаус объяснил: она говорит, что ёла еще совсем молодая, хорошая, таких здесь нет.

— Ты, Клаус, скажи ей, что она сама молодая, хорошая.

Клаус перевел, хозяйка засмеялась, кивнула Цыбину, налила всем еще. Потом пошли наверх и стали все осматривать: корпус, лебедку, якоря, такелаж, подняли и спустили парус. Цыбин один полез в трюм, ощупал, обласкал каждый бимс, каждую доску, он улыбался — один, себе, руки у него тряслись. Еще какая-то тоненькая пленочка, волосочек, минута — и всё это будет его!

Он вылез на палубу. Еду теперь чуть покачивало... Фомич левым глазом глядел вдаль: там — чуть приметная полоса, будто где-то, еще очень далеко, бежал пароход, а за пароходом длинный дым. Но солнце вздрало вверх, сломя голову летело всё выше, было совсем жарко, летне. Спустились опять в кубрик.

Тут Клаус сказал Цыбину:

— Она говорит теперь пятьсот. Меньше нет.

Цыбин набрал воздуху — будто чтобы кинуться с высокого берега в воду.

— Эх... Ну, всё равно: ладно! Только пусть соотню подождет до весны.

— Она думает. Она сейчас скажет — и всё будет конец... — перевел Клаус ответ хозяйки.

Хозяйка сидела молча и водила пальцем по краю своего стакана. Цыбин слышал, как несло в нем сердце, как промко, по коровьи, дышал Клаус, потом как будто на палубе чьи-то шаги. Только он хотел подумать — чьи же это, как вдруг увидел: Клаус ковыряет стол концом ножа. Цыбин, стиснув зубы, выхватил у него нож:

— Ну, ты! Поковыряй у меня еще, попробуй!

Хозяйка взглянула, должно быть поняла всё, заулыбалась, хотела что-то сказать. Цыбин знал: она сейчас скажет — согласна. Он весь раскрылся, ухватился за нее глазами и ждал, не дыша.

Но тут наверху, в синем квадрате, где была открыта дверь из кубрика на палубу, показались высокие сапоги. В кубрик спу-

скался кругленький человечек в синей вязаной мурманке. Лицо у него было безволосое, пухлое, похожее на булку — неизвестно, мужик или баба. Он тонким голосом спросил:

— Эта самая, что ли, ёла продается?

— Ю... да... пятьсот рублей, — сказал Клаус и опасливо покосился на Цыбина. Цыбин закуривал папиросу, спичка в пальцах у него дрожала.

— Даю! — сказал человек бабьим, тонким голосом.

Цыбин скрипнул зубами, взглянул на хозяйку. Она молчала. Цыбин поднялся, кинул ножик на стол. Снова взял его и пошел к трапу. Руки у него тяжело висели. Не глядя, он столкнул с дороги человека в синей мурманке и вылез наверх.

На голубом небе, дразня, чуть покачивалась мачта с желтой, золотой верхушкой. И покачивалась вся легкая ёла — будто уже плыла, убегала куда-то от Цыбина. Он сбросил картофуз, и обеими лапами олребая лицо как медведь — сел на лебедку. К горлу подступило, ему хотелось зареветь по-медвежьки и по-медвежьки крушить всё и ломать. Из кубрика слышались голоса, там продавали его ёлу. Этого нельзя было стерпеть.

Зажав нож в кармане и глотая что-то соленое, он ринулся вниз, в кубрик. Там сразу все замолчали. Человек в синей мурманке встал из-за стола, попятился.

— Ты что? Ты не очень! — крикнул он Цыбину нарочно громко, чтобы подбодрить себя.

— Уходи... — сказал Цыбин чужим голосом и не глазами, а как-то зубами, оскаленными белыми зубами поглядел в пухлое бабье лицо.

— Сам уходи! Ёла не твоя... — человек в мурманке опять сел.

Если бы он не сказал: «Ёла не твоя» — может ничего и не было. Но тут в Цыбине, внутри, будто прорвало шлюз, всё хлынуло в голову. Он вытащил из кармана кулак с зажатым ножом, замахнулся.

Все закричали. Фомич стиснул его руку, так, что захрустело, хозяйка вырвала нож. Человек в мурманке сидел, зажмурив глаза, и растопыренными пальцами прикрывал голову.

Цыбин поднял над ним пустые, тяжелые руки, как будто подумал одну секунду, потом схватил его толстое, вязкое тело, комкая, выволок на палубу, подтащил к борту, с веселой, злой легкостью поднял и бросил на берег. Тяжело, как тесто, тело шлепнулось о камни.

Все выскочили из кубрика и стояли сзади. У хозяйки были громадные глаза. Клаус сошел.

— Ты убиваешь. Нехорошо... — сказал он.

— Что ж, и убью! — крикнул Цыбин.

Тело на берегу заворочалось, поднялось. Человек, прихрамывая, не оглядываясь, пошел.

Цыбин вынул из кармана деньги, трясушимися руками пересчитал их и сунул хозяйке, крепко упираясь в нее глазами. Она стояла, не двигаясь. Если не возьмет, значит...

— Бери! — хрипло сказал Цыбин.

Хозяйка медленно поднимала синие глаза. Глубоко посмотрела в Цыбина, может быть, — увидела всё, взяла деньги. Цыбин глядел, раскрыв рот, будто всё еще не верил. Вдруг схватил норвежку, потянул ее к себе, притиснул и стал целовать ее щеки, губы, волосы.

— Ты... ёла! Ела — моя! — кричал он. — Моя ёла! Моя!

Потом опять все пили в кубрике, и пил Цыбин. Ему казалось — он всё понимает, что говорит по-норвежски хозяйка. Клаус сказал:

— Она тебе говорит, что теперь ёла твоя, а за ёлу она возьмет тебя.

Норвежка засмеялась и тронула рукой щеку Цыбина. Рука была холодная, как у мертвой. Цыбин отодвинулся, встал. Клаус тоже поднялся.

— Пойдём, пора стащить груз с бота, — сказал он. — Потом надо скоро домой.

— Втроем — Клаус, Фомич и Цыбин — пошли к боту. Цыбин обернулся еще раз на свою ёлу и смотрел, упиваясь, жадно глотая ее глазами. На самом носу стояла хозяйка, под белой кофтой у нее торчали широко расставленные, острые пруди, она кричала что-то вслед Цыбину. За нею, сзади, было совсем ясное, легкое небо, и только внизу, на уровне ее ног, как дымок от очень далекого еще парохода — чуть приметная полоса.

— Н-да... Оно! — сказал Фомич — неизвестно о чем.

3

К шести часам уже всё было попружено, Клаусов бот подошел и стал рядом с ёлой, чтобы взять ее на буксир. Хозяйка с узелочком ушла с ёлы на берег. Цыбин — потный, счастливый, влез в кубрик бота и взял в охапку свою морскую одежду.

— Куда ты? — спросил Фомич. — Одевался бы тут скорее.

— Нет уж, я лучше... у себя на ёле... — сказал Цыбин и сам услышал, как он это сказал: «у себя».

В кубрике на ёле Цыбин быстро натянул желтые проолифленные буксы — тройные на задку и на коленях, влез в шуршащий желтый кожан. Потом вышел наверх, запер дверь, еще раз obeжал свою ёлу. Всё было готово к походу, трюм закрыт, прочно принайтовлены якоря. На корме Цыбин заметил: чуть-чуть согнуто железное погудало от руля — должно быть, ёлу однажды хватило штормом.

«Ничего! Эта — всякий шторм выдержит!» — Цыбин влюбленно поглядел на ёлу.

— Давай, давай конец! Не копайся! — кричал с бота Фомич.

Цыбин свернул конец петлею и бросил на бот. На своем веку он перебросал так тысячи концов, но как будто делал это сейчас в первый раз, руки не слушались, на него глядели с бота Фомич, белоголовый Олаф. Олаф поймал и закрепил конец. Цыбин перешел на бот и стал к рулю, сердце у мотора застучало, из трубы выстрелил дым. Хозяйка с узелком стояла на берегу. Цыбин увидел: к ней подбежала собака, понюхала платье, ткнулась носом в руку — и вдруг, поджав хвост, с лаем отбежала в сторону. «Руки холодные»... — вспомнил на секунду Цыбин и сейчас же забыл, в голове было совсем другое. Буксирный канат уже вылезал из воды, натягивался, ёла дрогнула всем телом и пошла. Это была ёго, Цыбина, ёла, и она завтра, и зимою, и всегда — будет его...

— Эй, эй! Впереди гляди! Успеешь еще налюбоваться, — крикнул Фомич.

Цыбин покраснел, встряхнулся, отогнул край зюйдвестки, чтобы не лез на глаза. Проходили мимо парохода. Это был норвежец, на нем тарахтела лебедка. Над водою был виден весь его черный борт и большой кусок подводной части, окрашенной красным: пароход сбросил на берег уже почти весь груз и высоко вылез из воды.

«Эх, на ёлу не положили грузу... — подумалось Цыбину. — Высоко она сидит. Нехорошо, если ветер».

Но он знал: ничего теперь не могло, не должно случиться, всё было счастливое, легкое, солнце летело. Ветер переменялся и, остро посвистывая в снастях, сейчас дул слева, с полуночи. Что ж, еще лучше: опять будет попутный, поставить паруса и, глядишь, к ночи — уже дома, к ночи ёла будет уже стоять на месте, упрям все соберутся на нее глядеть... Эх, хорошо жить!

Цыбину хотелось крикнуть об этом Фомичу, но Фомич, на-

двинув кустом брови, хмуро, одноглазо смотрел на север. Цыбин налегнул на погудало: уже сворачивали в океан, огибали берег из огромных круглых камней, они всё выше дыбились друг над другом, будто поднятые бурей и навеки остановившиеся волны.

Когда свернули, Цыбин увидел на севере темную стену. За какой-нибудь час она выросла, казалась теперь уже высотой с человека, и над ней, над самым краем, несло солнце. Маленькой черной мошкой под солнцем бежал бот. Холодная, зеленая шкура, по которой ползла мошка, еще лоснилась, зверь дремал.

Над крышей мотора высунулось круглое, красное лицо Клауса, он паклей обтирал пот. Фомич подошел к нему и сказал:

— А ведь догонит нас шторм. Прибавь ходу... — Потом поглядывал одним глазом на Цыбина и помогал головой: — Хм... Оно!

— Ничего-о! Ла-адно! — крикнул ему Цыбин.

Весь он напряжен, как парус под ветром, когда все снасти дрожат от радости и поют. Ела шла сзади, чуть вспенивая штвенем воду, золотая верхушка ее мачты покачивалась в небе. Всё было удивительное, голубое, прекрасное — и так останется навсегда.

Из короткой трубы над кубриком показался дымок: там Олаф кипятил чайник. Фомич нагнулся к дверцам и закричал:

— Эй, ты! Не до чаев теперь! Иди к парусам — живо!

Олаф выскочил, на бегу высморкался, обтер пальцы о свои белые волосы и потянул шкот. Деревянные кольца скользнули вверх по мачте. Паруса надулись грудями, в воде справа легла черная тень. Каменный берег теперь чуть виднелся сзади легким, осевшим в море облачком. Впереди была вода, пустыня. На севере быстро выросла, налибалась всё ближе тяжелая серая стена.

Одну секунду солнце покачалось на краю стены — и сорвалось вниз. За стеной все вспыхнуло, несколько мгновений верхушка стены была медная, потом попухла — и оттуда вдруг дохнуло холодом, тьмой, как будто раскрылась дверь в подземелье.

С Цыбина сорвало зюйдвестку, он засмеялся — хорошо! — и крикнул Олафу: «Лови!» Олаф погнался, прижал шляпу ногой к палубе, подал Цыбину. Ветер смаху ударил в паруса, бот накрепчился, покатила и прохнула в борт бочка, Олаф побежал за ней.

— Куда, куда? Брось... после! — кричал, стоя у мачты, Фомич. — Рифы бери на парусах, поворачивайся!

Складками подтянули снизу оба паруса, ветер теперь упирал в них меньше, бот выпрямился. Цыбин оглянулся на ёлу: она шла

ровно, спокойно, она так же, как Цыбин, знала, что всё будет хорошо.

Ветер сейчас ударил только один раз и где-то, сколько видно глазу, всюду мчались по черной воде белые пребешки. Торопясь, наскакивая друг на дружку, они неслись как перепутанное, почувшшее опасность, стадо. Над крышей опять высунулось круглое лицо Клауса. Он поглядел в небо, что-то по-норвежски сказал брату, Олафу. Цыбину вспомнилась хозяйка, ее холодные руки. Он подумал: «Где она теперь?»

Вдруг опять дохнул ветер, во всех снастях засвистело, сразу стало туто дышать. Цыбин раскрыл рот, соленый ветер ворвался и запел во рту, стало еще веселее, еще отчаянней.

Рядом с мачтой, расставив ноги, стоял Фомич, будто вделанный в палубу так же прочно, как мачта. Он прокричал Цыбину сквозь ветер:

— Эй, ру-уль! Право на бо-орт!

Похоже было, что старик сдрейфил и решил повернуть скорее к берегу — все равно куда, чтобы только где-нибудь переждать шторм.

— Что? Боишься? — крикнул Цыбин, держа руль по-прежнему.

— Поговори у меня! Клади руль! — яростно заорал Фомич.

Цыбин темно, где-то на самом дне в себе, понял, что Фомич знает лучше, он сейчас тот, кто может и имеет право убивать, приказывать. Цыбин послушно, из всех сил налег на погудало руля, бот повернул. Очень близко от себя он увидел Олафа, лицо у мальчика было совсем белое. Он пальцем показывал куда-то через плечо Цыбина, губы его шевелились, но слов не было. Цыбин оглянулся. Море под ними как-будто провалилось, осело, и другое море катилось на них высокой, как дом, стеной, с черной верхушки сплевывалась белая пена.

Крепко вцепившись пальцами в железо, Цыбин глядел, как водяная стена догоняла, догнала ёлу, ёла рванула буксир, зарылась в воду носом — и тотчас же взлетела вверх. Одно мгновение она стояла там наверху, Цыбин запрокинул голову, любовался на нее и шопотом кричал ей: «Так, так, милая ты моя, так!» Потом опромная, зеленая, как бутылочное стекло, вода выросла совсем перед глазами. Цыбин зажмурился. Его туго ударило в спину, окатило с головы до ног, палуба под ним пошла кверху. Где-то внизу мелькнула бледная голова Олафа, он выплевывал воду и одной рукой спребал ее с лица.

Вода кругом шуршала, как тысячи аршин шелка. Вот сейчас

был внизу, между двух водяных гор. Здесь казалось тихо, ветер свистел наверху, сплескивая белую пену. Фомич взглянул туда одним глазом, как насадка на коршуна. Было ясно, что, когда бот поднимется на волну, штормом разорвет паруса в клочья или сломают мачту.

— Рони паруса-а! — крикнул он Олафу.

Олаф держался за лебедку, отхватиться от нее и сделать по палубе хоть один шаг — для него было то же самое, что для солдата вылезти из окопа. Но он, как и Цыбин, нутром знал, что сейчас можно умереть, но нельзя не исполнить команду Фомича. На подгибающихся, ватных ногах он пошел к парусам и помог Фомичу спустить их. В ту же секунду со всех сторон облепил ветер, бот был снова на верху волны. Совсем низко, над головой, с шумом несло темное, каменное небо.

Волна была длинная, цыбинская ёла и бот шли на одном уровне. Бот шел медленно, ветер его теперь почти не задевал, но этот же ветер быстро тнал вперед порожнюю, высоко сидевшую над водой ёлу. Буксир ослабел. Будто заигрывая, ёла уже подбегала к корме бота. Сквозь пену Цыбин увидел ее веселье, желтые, будто солнцем покрашенные, бока. «Ах, ты... моя!» — сказал он, радуясь на нее. Она была уже совсем близко и, не останавливаясь, все быстрее неслась к боту, Цыбин глядел на нее.

И вдруг всю его радость как смыло волною: обмякшими ногами, животом, всем телом он внезапно почувял — сейчас случится что-то ужасное. Он не успел понять, что: всё это было в одно быстрое, падающее мгновение. А в следующее — ёла с размаху уже ударила бот в корму, дерево хряснуло, ёла отскочила.

— Фомич! Фомич! — сквозь свист ветра отчаянно крикнул Цыбин.

Фомич всё видел, он был уже здесь, около Цыбина, и тут же очутился Клаус с топором в руке. «Зачем же топор?» — издали, со стороны подумал Цыбин. Клаус вскочил на корму, замахнулся над буксирным канатом. Только тогда Цыбину стало всё ясно: Клаус хочет обрубить буксир, он хочет бросить ёлу — его, Цыбина, ёлу — в океане!

Он кинулся к Клаусу, выхватил у него топор и бешено, тихо сказал ему!

— Если ты только... Я тебя самого... осволочь!

Клаус попятился, губы у него тряслись, он налетел задом на Фомича — Фомич теперь стоял на месте Цыбина, держа брошенное им погудало руля. Клаус закричал плачущим голосом:

— Фомич, говори ему ты, он должен сейчас рубить, он нас всех пропадет!

Бот уже снова поднимался на огромную, черную волну — и снова ёла, перепрыгивая через белые пребешки, неслась к боту. Фомич стоял, крепко вросши в палубу, губы у него были плотно стиснуты, но сейчас они откроются и скажут. Темно, на дне, Цыбин знал: Фомич — это судья, и то, что он скажет — закон. Похолодевшими пальцами вцепившись в топор, Цыбин ждал.

Сквозь косые, серые веревки дождя ёла виднелась уже совсем близко. С трудом, чуть слышно, Фомич сказал, не глядя на Цыбина:

— Руби...

У Цыбина перехватило горло, чтобы не видеть — он зажмурился, поднял топор. И закрытыми глазами тотчас же увидел: серебряное кольцо на руке у Анны, белые водяные вихры от играющей в море селетки, бабье лицо человека в мурманке, хозяйку с желтыми волосами, и ёлу, какой она стояла там, в гавани, радостную, нарядную, как невеста.

Цыбин громко всхлипнул, бросил топор, и ничего не видя, хватаясь за что попало, пошел — всё равно куда. Там, где позади него остались все — ударили топором еще раз, еще раз. Елы больше не было, больше не было ничего.

Цыбин сидел на полу, на палубе, возле лебедки. Через ноги перекачивалась вода, и он видел за бортом круглую, черную воду — так, не понимая, видело бы ее зеркало, если его поставить тут, возле лебедки. Потом, как будто сквозь двойную зимнюю раму, Цыбин слышал: кто-то говорит с ним. Это был Олаф. По лицу его катились крупные слезы, он говорил Цыбину: «Ты не плачь, пожалуйста, не плачь». «Я — ничего...» — сказал, а может быть, только хотел сказать Цыбин.

Олаф встал и, стоя над Цыбиным, взгляделся в серый, хлещущий воздух. Он толкнул в плечо Цыбина, глаза у него блестили.

— Гляди, гляди! — крикнул он Цыбину.

Цыбин поднял голову и увидел свою ёлу. Теперь, без буксира, еще легче разрезая воду, она неслась сюда, к Цыбину, она не хотела бросить его, она сейчас будет совсем близко. У Цыбина сразу налились теплым, стали живыми ноги, руки, глаза, он вскопчил... Ёла тут, она — тут, ему нужно что-то сделать — и опять всё будет хорошо.

— Эй, эй! Куда? — услышал Цыбин и потом еще что-то по-норвежски — это, должно быть, звала хозяйка ёлы. Потом сей-

час же понял: это — Клаус, он на корме возле Фомича. И успел увидеть еще: Фомич, глядя одним глазом на ёлу, круто поворачивает бот, чтобы ёлу пронесло мимо, — чтобы она не задела.

Всё это мгновенно падало одно за другим. Нос ёлы мелькнул за кормой, она обогнала, ее ударило ветром, на одну секунду она ласково, тесно прижалась к боту. И этой секунды Цыбину было довольно, чтобы прыгнуть туда, к себе, на свою ёлу. Ей как будто только это и было нужно: она сейчас же отошла от бота, и Цыбин уже не слышал, как вслед ему кричали Фомич, Клаус и Олаф.

Сквозь косо хлещущий сумрак они еще два раза увидели ёлу. Второй раз она была отделена от них и от всего мира глубокой водяной ямой — Цыбина они уже больше не могли разглядеть.

1928

Примечание редакции: эта повесть была опубликована в России, в 4-ом томе собрания сочинений Евг. Замятина (Изд-во «Федерация», Москва, 1929 года). Печатается в «Гранях» вторично в связи с 25-летием со дня смерти писателя.

Евгений Замятин

1

С Евгением Замятиным, самым большим моим другом, я впервые встретился в Петербурге, в 1917 году.

Значение Замятина в формировании молодой русской литературы первых лет советского периода — огромно. Им был организован в Петрограде, в «Доме Искусств», класс художественной прозы. В этой литературной студии, под влиянием Замятина, объединилась и сформировалась писательская группа «Серапионовых братьев»: Лев Лунц, Михаил Слонимский, Николай Никитин, Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, а также — косвенно — Борис Пильняк, Константин Федин и Исаак Бабель. Евгений Замятин был неутомим и превратил «Дом Искусств» в своего рода литературную академию. Количество лекций, прочитанных Замятиным в своем классе, лекций, сопровождавшихся чтением произведений «Серапионовых братьев» и взаимным обсуждением литературных проблем, и, разумеется, — прежде всего, — проблем литературной формы, — было неисчислимо. К сожалению, текст замятинских «Лекций по технике художественной прозы», который уцелел, несмотря на истекшие годы, за некоторым исключением, не был до сих пор ни где опубликован¹⁾. Я приведу здесь несколько заглавий из этого цикла: «Современная русская литература», «Психология творчества», «Сюжет и фабула», «О языке», «Инструментовка», «О ритме в прозе», «О стиле», «Расстановка слов», «Островитяне» (пример), «Чехов», «Футуризм»...

Эти лекции представляют собой несомненный интерес. Они не страдают педантизмом.

¹⁾ Лекции «Современная русская литература» и «Психология творчества» были опубликованы в «Г р а н я х» № 32, 1956 г. — Р е д.

«Я с самого начала отрекаюсь от вывешенного заглавия моего курса. Научить писать рассказы или повести — *нельзя*. Чем же мы будем тогда заниматься? — спросите вы. — Не лучше ли разойтись по домам? Я отвечаю: нет. Нам все-таки есть чем заниматься...

...Есть *большое искусство и малое искусство*, есть художественное творчество и художественное ремесло... *Малое искусство*, художественное ремесло — непременно *входит*, в качестве составной части, в большое. *Бетховен*, чтобы написать *Лунную Сонату*, должен был узнать сперва законы мелодий, гармоний, контрапункций, т. е. изучить музыкальную технику композиций, относящуюся к области художественного ремесла. И *Байрон*, чтобы написать *Чайльд-Гарольда*, должен был изучить технику стихосложения. Точно так же и тому, кто хочет посвятить себя творческой деятельности в области художественной прозы — нужно сперва изучить *технику художественной прозы*», — писал Замятин.

«*Мелодия* — в музыкальной фразе осуществляется 1) ритмическим ее построением; 2) построением гармонических элементов в определенной тональности и 3) последовательностью в изменении силы звука, — продолжал Замятин.

Мы займемся, прежде всего, — вопросом о построении целых фраз в определенной тональности, тем, что в художественном слове принято называть *инструментовкой*...

Инструментовка целых фраз на определенные звуки или сочетания звуков — преследует уже не столько цели гармонические, сколько цели изобразительные.

Всякий звук человеческого голоса, всякая буква — сама по себе вызывает в человеке известные представления, создает звукообразы. Я далек от того, чтобы приписывать каждому звуку строго определенное смысловое или цветовое значение. Но — *Р* — ясно говорит мне о чем-то громком, ярком, красном, горячем, быстром²⁾. *Л* — о чем-то бледном, голубом, холодном, плавном, лепком. Звук *Н* — о чем-то нежном, о снеге, небе, ночи... Звуки *Д* и *Т* — о чем-то душном, тяжком, о тумане, о тьме, о затхлом. Звук *М* — о милом, мягком, о матери, о море. С *А* — связывается широта, даль, океан, марево, размах. С *О* — высокое, глубокое, море, лоно. С *И* — близкое, низкое, стискивающие и т. д.».

Но углубляться в разбор неоспоримой роли Замятина в раз-

²⁾ Я вполне согласен с Замятиным. Буква *Р* и мне «говорит» всегда о чем-то ревущем, рычащем, ругательном, распретанном, рвущем.

вилити современной русской прозы я предоставляю историкам литературы и литературным критикам.

Для меня же Замятин, это, прежде всего, — замятинская улыбка, постоянная, нестираемая. Он улыбался даже в самые тяжелые моменты своей жизни. Приветливость его была неизменной. Счастливым месяц летнего отдыха я провел с ним в 1921 году, в глухой деревушке, на берегу Шексны. Заброшенная изба, сданная нам местным советом. С утра и до полудня мы лежали на теплом песчаном берегу красавицы-реки. После завтрака — длинные прогулки среди диких подсолнухов, лесной земляники, тонконогих опёнок и, — потом — снова песчаный берег Шексны, родины самой вкусной стерляди. Волжская стерлядь — второго сорта.

Потом — вечер. Светлый, как полдень. Затем — ночь. Белые ночи. Спать было некогда. Мы пробуждались, должно быть, сотни верст, не встретив ни одного волка, ни медведя, ни лисиц. Только — редкие, пушистые зайцы и лесная земляника, брусника, черника, которые мы клали в рот горстями. Иногда над Шексной пролетали горластые дикие утки... Впрочем, мы много работали, сидя в кустах или лежа в траве: Замятин — со школьными тетрадями, я — с рисовальным альбомом. Замятин «подчищал», как он говорил, свой роман «Мы» и готовил переводы то ли — Уэллса, то ли — Тэккеря. Я зарисовывал пейзажи, крестьян, птиц, коров.

Часам к шести вечера Людмила Николаевна, жена Замятина, ждала нас к обеду, чрезвычайно скромному, хотя появлялась в меню иногда и выуженная нами исподтишка стерлядка. Позже, ближе к белой ночи — липовый чай с сахарином.

Как-то вечером, в избе, Замятин прочел мне одну из первых страниц романа «Мы»:

«Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли номера, — сотни, тысячи номеров... с золотыми бляхами на груди — государственный номер каждого и каждой... Слева от меня 0-90, ...справа — два каких-то незнакомых номера...»

Мне не понравилось слово «номер», казавшееся, на мой взгляд, несколько вульгарным: так проносились это слово в России какими-нибудь мелкими канцелярскими провинциальными чинушами и звучало не по-русски.

— Почему — номер, а не номер?

— Так, ведь, это — не русское слово, — ответил Замятин, — искажать не обязательно. По-латински — numerus; по-итальянски — numero; по-французски — numéro; по-аглицки — number; по-немецки — Nummer... Где же тут — русское? Где же тут «О»? Да-

вай-ка раскроем русский словарь, у меня здесь — русско-англицкий.

Переводя Тэккерея (или Уэллса), Замятин всегда имел под руками русско-английский словарь.

— Ну, вот, посмотрим, где здесь *русские* корни, — сказал Замятин и начал читать, слово за словом, с буквы «А»: — абакжур, аббат, аберрация, абзац, абонемент, аборт, абракадабра, абрикос, абсолютизм, абсурд, авангард, аванпост, авансцена, авантюра, авария, август, августейший... Стой! Я наткнулся: *авось!*.. Дальше: аврора, автобиография, автограф, автократия, автомат, автомобиль, автопортрет, автор, авторитет, агитатор, агент, агония, адепт, адвокат, адрес, академия, акварель, аккомпанемент, акробат, аксиома, акт, актер, актриса... Стоп! наткнулся на *акулу!*.. Дальше: аккуратность, акустика, акушерка, акцент, акция, алгебра, алгебра, алкобаль, аллегория, аллея,.. Стоп: *алмаз*... Дальше: алфавит, алхимия... Стоп: *алчность* и *алый*... Дальше: альбом, альманах, алюминий, амазонка, амальгама, амбар, амбиция, амвон, аминь, аммиак, амнистия, ампутация, амулет, амфитеатр, анализ, аналогия, ананас, анархия, анафема, антажировать, ангел, анекдот, анис, Анна, аномалия, антагонизм, антиквариат, антипатия, антипод, антихрист, античный, Антон, антракт, антрацит, антропология, анчоус, апатия, апельсин, апокалипсис, апокриф, аполюгия, апоплексия, апостол, апостроф, аппарат, аппеляция, аппетит, апплодисмент, апрель, аптека, арап, арбуз, аргумент, аренда, ареопаг, арест, аристократия, арифметика, ария, арка, арлекин, армия, аромат, арриергард, арсенал, артель, артерия, артиллерия, артист, арфа, архангел, архив, архипелаг, архитектура, архиепископ, аскет, ассигнация, ассистент, астрономия, асфальт, атака, атеизм, атлас, атлет, атмосфера, атом... Наконец-то: *ау!*.. Затем: аудитория, аудиенция, аукцион, афиша, ах, аэролит... В общем — ахинея! Ба-ста! — закричал Замятин, захлопнув словарь, — видел миридал? Даже арбуз, чёрт возьми, не русский! Правда, французский «anbouze» больше похож на землянику, но ведь слово-то уже существует, перепутали только назначение. Даже наша ежедневная «абракадабра», как и наша «галлимастья», на букву «Г», — и те не наши. Да что там! Даже Антон (Чехов)! Даже Аркашка (Счастливец), даже Акакий (Акакиевич), даже Алексей (Толстой), даже Александр (Пушкин), и так — начиная с Адама! Даже Анна (Каренина) не наша! И, значит, как все производные — даже наша здешняя доярка Аннушка, Анютка — не наша! Даже Анненский (Инокентий)! Даже — Анненков Юрий! Ты приходишь, вероятно, ни дать — ни взять — от Анны, королевы Фран-

ции тысячи пятидесятих годов. Впрочем, эта французская Анна была тоже Аннушкой, дочерью нашего Ярослава Мудрого, сына Владимира — Красное-Солнышко... Господи, какая каша! *Salade gusse*, который в России называется *Salade Olivier*. Но всё же от буквы «А» нам, русским, остаются лишь «авось», «ау!», «алтын», «акула» (Боже упаси!), «алмаз», который нам не по карману, и, кажется, «ад». Впрочем, в нашем аде я тоже не уверен: он тоже иностранец, рожденный марксизмом.

— Согласен, — сказал я, — но по поводу «нумера» остаюсь при своем мнении. Иначе как же поступить с поговоркой: «Как в номер, так и помер»?

— Очень просто, — ответил Замятин: — «Как в номер, так и умер». Только и всего.

Он отодвинул словарь, и мы принялись за липовый чай с сахаринном.

2

Месяц в деревне. И даже — не в самой деревне, а где-то с краюшку от нее, в одинокой избушке, на берегу Шексны. От шексинского солнца мы все стали коричневыми. Счастливым месяцем, полный пеня, чирикания птиц, лесных ароматов. Но месяц быстро прошел, и мы должны были оставить Шекону и вернуться в Питер. Замятин занимал квартиру на Моховой улице, в доме, принадлежавшем издательству «Всемирная литература» (книжки которого выходили с издательской маркой моей работы). Замятин состоял там членом Редакционного Совета, вместе с М. Горьким, с А. Н. Тихоновым, А. Л. Вольнским и К. И. Чуковским. Но в том же году, вместе с А. А. Блоком, А. Л. Вольнским, М. Горьким, В. И. Немировичем-Данченко, А. Н. Тихоновым и К. И. Чуковским Замятин был также избран членом Литературного Отдела «Дома Искусств» и, вместе с М. Добужинским, Н. Радловым, К. Чуковским и В. Щербатовым — в Редакционную Коллегию журнала «Дом Искусств». Кроме того, вместе с А. Блоком, А. Вольнским, Н. М. Волковызским, А. В. Ганзеном, М. Горьким, П. К. Губером, Л. Я. Шилшовым, В. Б. Шкловским и К. Чуковским — Замятин был тогда членом Правления Союза Писателей. Годом раньше, Домом Литераторов был объявлен конкурс для начинающих писателей-беллетристов. Состав жюри: В. А. Азов, А. В. Амфитеатров, А. Вольнский, В. Я. Ирецкий, А. М. Редько, Б. М. Эйхенбаум и, конечно, Замятин... Иначе говоря, Замятин находился в самом центре литературной жизни России тех лет.

В 1921 году, вместе с А. Тихоновым, А. Вольнским и К. Чуковским, Замятин вошел в *первый* Редакционный Совет, основанной тогда Всероссийским Союзом Писателей «Литературной газеты». В № 1 «Литературной газеты» вошли следующие материалы: «Неизданная страница Пушкина» (отрывок из статьи Пушкина о романтизме, с комментариями К. Козьмина), «Памяти предка» (статья об истории Дельвиговской «Литературной газеты»); «Без божества, без вдохновенья» (статья А. Блока об «акмеизме»); несколько писем В. Г. Короленко (друг моего отца), посвященных последнему периоду первой революции; «Кисяз» (статья К. Чуковского о последних неологизмах русского языка); «Съезд Советов» Б. Пильняка (отрывок из романа), поэзия В. Зоргенфрея и Ир. Одоевцевой; информация о деятельности Союза Писателей, о литературной жизни Москвы и Петрограда; рецензии; литературная хроника, русская и иностранная, а также — статья Замятина «Пора».

Этот номер «Литературной газеты» был уже набран и сверстан; конечно, была и бумага. Но по «не зависящим от редакции обстоятельствам», как принято поговорить в подобных случаях, номер выйти из печати не смог. Этот эпизод остался для нас весьма поучительным и показательным. «Не зависящими от редакции обстоятельствами» явилось постановление ЦК партии, нашедшего содержание первого номера и личный состав редакции «Литературной газеты» не отвечающими требованиям политического момента. Дальнейшая судьба «Литературной газеты» стала для нас ясной. Но об этом — речь впереди.

3

Искуснейше написанное Замятиным «Сказание об Иноке Еразме» можно было бы принять за произведение протопопа Аввакума. Язык Замятина — всегда замятинский, но, в то же время, всегда разный. В этом — особенность и богатство Замятина как писателя. Для него язык есть форма выражения, и эта форма определяет и уточняет содержание. Если Замятин пишет о мужиках, о деревне, он пишет мужицким языком. Если Замятин пишет о мелких городских буржуах, он пишет языком канцелярского писаря или бакалейщика. Если он пишет об иностранцах («Островитяне», «Ловец человеков»), он пользуется свойствами и даже недостатками *переводного стиля*, его фонетики, его конструкции — в качестве руководящей *мелодии* повествования. Если

Замятин пишет о полете на Луну, он пишет языком ученого астронома, инженера, или — языком математических формул. Но во всех случаях язык Замятина, порывающий с русской литературной традицией, остается очень образным и, вместе с тем, сдержанным, проверенным в каждом выражении.

Язык осовещенной деревни мы слышали, например, в рассказе «Слово предоставляется товарищу Чурьпину», написанном в 1926 году и опубликованном впервые в альманахе «Круг», в Москве, в 1927 году. Замятин в этом рассказе отсутствует: рассказ написан прямой речью мужика Чурьпина и обнаруживает чрезвычайно тонкий слух Замятина к языку своего избранника — оратора. Чурьпин рассказывает, как солдат Егор, герой Первой мировой войны, награжденный Георгиевским крестом, вернувшись домой, сообщил у себя в избе своим соседям:

«Но мы, говорит, в скорости прикончим весь этот обман народного зрения под видом войны. Поэтому, говорит, нам вполне известно, что теперь надо всеми министрами стоит при царе свой мужик под именем Григорий Ефимыч, и он им всем кузькину мать покажет».

«Тут, — продолжает Чурьпин, — как это услышали наши, — ну, прямо в чувство пришли и кричат с удовольствием, что теперь уж, конечно, и войне и господам — крышка и полный итог, и мы все на Григория Ефимыча очень возлагаем, как он есть при власти наш мужик... У меня от этого известия прямо пульс начался...»

И так далее.

Не думаю, чтобы Распутин был достоин рассказа Замятина, но сам по себе, особенно — филологически, рассказ великолепен.

Теперь — другое:

«Темно. Дверь в соседнюю комнату прикрыта неплотно. Сквозь дверную щель — по потолку полоса света: ходят с лампой, что-то случилось. Всё быстрее, и темные стены — всё дальше, в бесконечность, и эта комната — Лондон, и тысячи дверей, мечутся лампы, мечутся полосы по потолку...

Лондон пыл — всё равно куда. Легкие колонны друидских храмов — вчера еще заводские трубы. Воздушно-чугунные дуги виадуков: мосты с неведомого острова на неведомый остров. Вынутые шеи допотопно-огромных черных лебедей — кранов: сейчас нырнут за добычей на дно. Выпугнутые, всплеснулись к солнцу звонкие золотые буквы: «Роллс-Ройс, авто» — и потухли...

Что-то случилось. Черное небо над Лондоном — треснуло на кусочки: белые треугольники, квадраты, линии — безмолвный, геометрический бред прожекторов... И вот выметенный мгновен-

ной чумой — опустельный, геометрический город: безмолвные купола, пирамиды, окружности, дуги, башни, зубцы».

Это — из «Ловца человеков». Ничего похожего на Чурьтина. Своего рода — словесный кубизм.

Теперь — из романа «Мы»:

«Вот что: представьте себе квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете — квадрату меньше всего пришлось бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны. Вот и я в этом квадратном положении... Для меня это — равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона».

Здесь уже — супрематизм Малевича, знаменитый его черный квадрат на белом фоне, прогремевший на весь мир.

И еще — начало из статьи «О синтетизме», посвященной моему художественному творчеству (1922):

«+, —, — —

вот три школы в искусстве — и нет никаких других. Утверждение, отрицание, и синтез — отрицание отрицания. Силлотизм замкнут, круг завершен. Над ним возникает новый — и всё тот же — круг. И так из кругов — подпиралка небо спираль искусства.

Спираль; винтовая лестница в Вавилонской башне; путь аэро, кругами поднимающегося ввысь, — вот путь искусства. Уравнение движения искусства — уравнение спирали. И в каждом из кругов этой спирали, в лице, в жестах, в полусе каждой школы — одна из этих печатей:

+, —, — —

...Я хочу найти координаты сегодняшнего круга этой спирали, мне нужна математическая точка на круте, чтобы, опираясь на нее, исследовать уравнение...»

Вот — язык инженера, строителя, математика.

Наиболее любопытным являлось то, что эту форму своего языка Замятин обернул именно против математичности, против организованности, против «железной логики» точных наук. Будучи инженером-кораблестроителем, то есть человеком, привыкшим к общению с миром непогрешимых, заранее предначертанных схем, он не страдал, однако, «детской болезнью» обожествления схематики, и поэтому Замятину становилось всё труднее жить в условиях советского режима, построенного на «плановости» и рационализации.

По существу, вина Замятина по отношению к советскому ре-

жиму заключалась только в том, что он не был в казенный барабан, не «равнялся», очертя голову, но продолжал самостоятельно мыслить и не считал нужным это скрывать. Замятин утверждал, что человеческую жизнь, жизнь человечества нельзя искусственно перестраивать по программам и чертежам, как трансатлантический пароход, потому что в человеке, кроме его *материальных, физических* свойств и потребностей, имеется еще *иррациональное начало*, не поддающееся ни точной дозировке, ни точному учету, вследствие чего, рано или поздно, схемы и чертежи окажутся взорванными, что история человечества доказывала множество раз.

Я, не имевший, в противоположность Замятину, никаких отношений к точным наукам, возражал ему:

— Наука и техника, познающие, раскрывающие и организующие жизнь, ведут к её симплификации. Наука и техника — это форсированный марш полков. Беспорядочное, хаотическое, анархическое, неряшливое, распад и развал — раздражают человека. Уклонение от норм он называет «безумием». Дисциплинированный, логический ум он называет «прекрасным» умом.

— Ты не прав в основном, — отвечал Замятин, — будет время, — оно придет непременно, — когда человечество достигнет известного предела в развитии техники, время, когда человечество освободится от труда, ибо за человека станет работать побежденная природа, переконструированная в машины, в дрессированную энергию. Все преграды будут устранены, на земле и в пространстве, всё невозможное станет возможным. Тогда человечество освободится от своего векового проклятия — труда, необходимого для борьбы с природой, и вернется к вольному труду, к труду-наслаждению. Искусство только еще рождается, несмотря на существование Фидия и Праксителя, Леонардо да Винчи и Микеланджело, на Шекспира и на Достоевского, на Гёте и на Пушкина. Искусство нашей эры — лишь предтеча, лишь слабое предисловие к искусству. Настоящее искусство придет в эру великого отдыха, когда природа будет окончательно побеждена человеком.

— Нет, — запротестовал я, — этого не произойдет, потому что нет предела познавательным стремлениям человека. Прогресс не знает предела. Невозможно удовлетворить потребности человека, ибо его потребности рождаются вслед за изобретениями. Моим первым восторгом в раннем детстве были мои первые штанишки с карманами. Я отнюдь не испытывал лишения при отсутствии карманов: в том возрасте они мне были не нужны. Но когда кар-

маны оказались прищитыми, я целыми днями наполнял их щепками, пустыми коробками и шпильками няни Натальи: у меня *появилась потребность* в карманах. Пока мы путешествовали в дормёзах, никто из нас не стремился примчаться в один день из Лондона в Париж. Мы спокойно теряли на это полторы недели. Теперь мы испытаем катастрофу, если, позавтракав в Лондоне, не успеем прилететь на заседание в Париж к пяти часам полудни. Когда лабораторная склянка родит живого человека, для нас станет прямой необходимостью заказывать по телефону ребенка такого-то характера, такого-то пола и цвета, к такому-то дню и часу. И вот, когда природа, нас окружающая, превратится, наконец, в формулу, в клавиатуру, — человек займется перемещением собственного мозжечка, комбинированием мозговых извилин, изобретением мыслительных рубильников и выключателей характера и склонностей. Но остановиться он не сможет. Станция — за гранью жизни. Пока не будет изобретено бессмертие.

Замятин смеялся. Я — тоже смеясь — добавил, что наслаждаться прекрасным мы можем и теперь. Всякий раз, например, входя в целесообразно оборудованное помещение (операционный зал больницы, обсерваторию, уборную), я испытываю чувство зрительного удовлетворения, ощущаю прекрасное при виде ослепительно белых, строго гигиенических стен, безукоризненно-логических, безапелляционных форм приборов и всевозможных деталей. Картина, поистине, глубоко уничижительная для каждого, кто не научился видеть красоту. Для того, чтобы вызвать ощущение прекрасного, вовсе не обязательно писать пейзажики или блудливых маркизочек, как это делают Левитаны или Сомовы.

Снова раздался взрыв смеха.

— Я люблю быть точным, — произнес Замятин, — сказанные слова часто забываются. Стенографистки у нас, к сожалению, нет. Поэтому я отвечу тебе письменно.

И, действительно, на другой день я получил от Замятина письмо, которое явилось кратчайшим шуточным конспектом романа «Мы»:

«Дорогой мой Юрий Анненков! — писал Замятин. — Я сдаю: ты прав. Техника — всемогуща, всеведуща, всеблаженна. Будет время, когда во всем — только *организованность и целесообразность*, когда человек и природа — обратятся в *формулу, в клавиатуру*.

И вот — я вижу это блаженное время. Всё *симплифицировано*. В архитектуре допущена только одна форма — куб. Цветы?

Они нецелесообразны, это — красота бесполезная: их нет. Деревьев тоже. Музыка — это, конечно, только звучащие Пифаго-ровы штаны. Из произведений древней эпохи в хрестоматию во-шло только:

Расписание железных дорог.

Люди смазаны машинным маслом, начищены и точны, как шестиполесный герой *Расписания*. *Уклонение от норм называют безумием*. А потому уклоняющихся от норм шекспиров, достоев-ских и скрябиных — завязывают в сумасшедшие рубахи и сажа-ют в пробковые изоляторы. Детей изготавливают на фабриках — сотнями, в оригинальных упаковках, как патентованные средст-ва; раньше, говорят, это делали каким-то кустарным способом. Еще тысячелетие — и от соответствующих органов останутся только розовенькие прыщички (вроде того, как сейчас у мужчин на груди справа и слева). Впрочем, пока кое-какие, воробьиные, еще уцелели, но любовь заменена полезным, в назначенный час, отправлением сексуальных надобностей; как и отправлением про-чих естественных надобностей, оно происходит в роскошнейших, благоуханнейших уборных — нечто вроде доисторических рим-ских терм...

И вот, в этот рай — попал ты, милейший Юрий Анненков. Не этот, выдумавший с тоски индустриализацию искусства, а настоя-щий, озорной, лентяй, беспутник, аккуратный только в одном: в опаздывании, не дурак (выпить и в пику мне присоседиться к Мэри³).

Дорогой мой друг! В этой целесообразной, организованной и точнейшей вселенной тебя укачало бы в полчаса...

В человеке есть два драгоценных начала: мозг и секс. От пер-вого — вся наука, от второго — все искусство. И отрезать от себя все искусство или воткнуть его в мозг — это значит отрезать... ну да, и остаться с одним только прыщичком.

Человек с прыщичком может говорить о *маркизочках*, *зани-мающихся блудом*. Блуд, сиречь, нарушение расписаний, уста-новленных законным браком, есть, конечно, институт антирели-гиозный и неорганизованный. А, по-моему, маркизочка, если она занимается своим делом от души и красива — чудесная женщи-на. И человек, который хорошо изображает любовь и учит любви тех, кто это плохо знает — полезный человек.

³ Красавица-петербуржанка тех лет, за которой мы оба тогда одно-временно ухаживали (или, как говорил Замятин, — «приударяли»).

Твоя формула искусства — «науки, познающей и организующей жизнь» — это формула искусства для скопцов, для замаринованных в уксусе, вроде моего достопочтенного викария Дьюли в «Островитянах», у которого вся жизнь — по расписанию, и любовь тоже (по субботам), и уже, конечно (да здравствует человек будущего — м-р Дьюли!), никакой игры, никакой прихоти, бесполезного каприза, случайности — всё организовано и целесообразно...

Милый мой Анненков, ты заразился машинобожием. Религия материалистическая, находящаяся под высочайшим покровительством — так же убога, как и всякая другая. И как всякая другая — это только стенка, которую человек строит из трусовли, чтобы отгородиться ею от бесконечности. По эту сторону стенки — всё так *симплифицировано*, монистично, уютно, а по ту — взглянуть не хватит духу.

Какой-то мудрый астрономический профессор (фамилию забыл) вычислил недавно, что вселенная-то, оказывается, вовсе не бесконечна, форма ее сферическая и радиус ее — столько-то десятков тысяч астрономических, световых лет. А что, если спросить его: ну, а дальше-то, за пределами вашей сферической и конечной вселенной, — что там? А дальше, Анненков, дальше, за твоим бесконечным техническим прогрессом? Ну, восхитительная твоя уборная; ну, еще более восхитительная, с музыкой (Пифагоровы штаны); ну, наконец, единая, интернациональная, восхитительная, восхитительнейшая, благоуханнейшая уборная, — а дальше?

А дальше — все из восхитительнейших уборных побегут под неорганизованные и нецелесообразные кусты. И, уверен, раньше других — ты. Потому что твои картины и рисунки — спорят с тобой гораздо лучше меня. И сколько бы ты ни поворил машинопоклонных слов — ты, к счастью, не перестанешь тоже писать «Желтые трауры»⁴⁾ и прочие, к счастью — нецелесообразные картины.

Твой Евг. Замятин»⁵⁾.

И еще через день, встретив меня, Замятин сказал улыбаясь: — В дополнение к письму, вспомним фразу из «Балтазара»

⁴⁾ Название одной из моих картин (масло, 1914 г.).

⁵⁾ Это письмо Замятина было впервые опубликовано в «Социалистическом вестнике» (Нью-Йорк, июнь 1954). В год его написания (1921) Замятин пытался напечатать его в Петроградской еженедельной газете «Жизнь искусства», но редакция этого органа категорически воспротивилась.

Анаголя Франса: «La science est infaillible; mais les savants se trompent toujours», — «наука непогрешима; но ученые постоянно ошибаются».

4

Статья Замятина «О синтетизме», первые строки которой были здесь мной приведены, появилась в книге «Юрий Анненков. Портреты. Текст Евгения Замятина, Михаила Кузмина, Михаила Бабенчикова» (изд. «Петрополис», Петербург 1922). Через 8 лет, в 1930 году, в сборнике «Как мы пишем» (изд-во Писателей, Ленинград), Замятин, в статье «Закулисы», поместил оттуда следующую выдержку:

«...Ни одной второстепенной детали, ни одной лишней черты (только — суть, экстракт, синтез, открывающийся глазу в сотую долю секунды, когда собраны в фокус, спрессованы, заострены все чувства... Сегодняшний читатель и зритель сумеет договорить картину, дорисовать слова — и им самим договоренное будет врезано в него неизмеримо прочнее, вырастет в него органически. Так синтетизм открывает путь к совместному творчеству художника — и читателя или зрителя».

К этой выдержке Замятин прибавил:

«Это я писал несколько лет назад о художнике Юрии Анненкове, о его рисунках. Это я писал не об Анненкове, а о нас, о себе, о том, каким по-моему должен быть словесный рисунок».

Замятин был прав. Не знаю почему, но, несмотря на наши противоречия, я всегда чувствовал как художник родство с творчеством Замятина, и это чувство сохранилось во мне до сих пор.

5

В 1922 году Замятин, за свое открытое свободомыслие, был арестован, заключен в тюрьму и приговорен без суда к изгнанию из Советского Союза вместе с группой приговоренных к тому же литераторов. Там же, в тюрьме, ему была выдана следующая бумага:

«Р.С.Ф.С.Р.
Н.К.В.Д.
Гос. Политическое
Управление
7 сентября 1922 г.
№ 21923

Дело № 21001
Удостоверение
Г.П.У. за № 21923
1922

Москва, Большая Лубянка, 2.
Телеф. Г.П.У. Коммутатор.

Сдается на погранпункте
единовременно с предъявлением
загранич. паспорта.

Выдана виза № 5076
11 октября 1922 г.

I секретарь (подпись неразборчива)

Дано сие гр. Р.С.Ф.С.Р.

Замятину

Евгению Ивановичу, р. в 1884 г.

в том, что к его выезду за границу в Германию, по (день поездки): *высыл.*
бессрочно, со стороны Гос. Пол. Упр. препятствий не встречается.

Настоящее удостоверение выдается на основании постановления СОВ-
НАРКОМА от 10 мая 1922 г.

Нач. Особого Отдела ГПУ — Ягода».

Да, да. Не больше и не меньше: Ягода!

Для Замятина, впрочем, такая «правительственная» реакция
не была ни новостью, ни неожиданностью. Передо мной — доку-
мент, датированный 11 мартом 1914 года:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СПБ. Комитета по Делах Печати

о наложении ареста на повесть «На куличках»

(журнал «Заветы» № 3, 1914 г.)

Повесть разделяется на 24 главы и посвящена автором описанию внут-
реннего быта небольшого военного отряда на Дальнем Востоке. Жизнь эта
изображена в самом оптимистическом виде. Замятин не жалеет трубок кра-
сок, чтобы дать читателю глубоко-оскорбительное представление о русских
офицерах. С этой целью Замятин подбивает в своей повести целый ряд
мелких фактов, не останавливаясь перед весьма непристойными картина-
ми. Из приподимых выдержек следует, что Зам. дает в своей повести наме-

ренно измышленные характеристики офицерского состава русской армии. По его описанию русские офицеры только ругают и избивают солдат, сами развращаются и пьянствуют, в Собрании запевают драку в присутствии приглашенных для чествования иностранных офицеров. Капитан бросает в лицо генералу, начальнику отдельной части, обвинение в краже казенных денег и дает ему пощечину. А генерал письменно предлагает жене этого офицера расплатиться за поступок мужа своим телом, так что, по словам Зам., все поведение русских офицеров является сплошным позором и отличает в них людей грубых, опупевших, лишенных человеческого облика и утрапивших сознание собственного достоинства, что несомненно, представляется крайне оскорбительным для воинской чести. Вместе с тем, Замятин, имея в виду еще более унижить выведенных в повести офицеров, рисует самые интимные и для публично разглашения непристойные споры супружеской жизни и приводит порнографические выражения, чем оскорбляет чувство благопристойности.

По определению СПб. Окружного Суда от 22-го апреля 1914 года постановлено, в виду того, что рассказ «На куличках» представляется явно противным нравственности — наложенный СПб. Комитетом по делам печати на № 3 журнала «Заветы» за март 1914 г. — арест оставить в силе впредь до изъятия в указанном номере журнала «Заветы» (№ 3) всего рассказа ЕВГ. ЗАМЯТИНА «На куличках».

Второй документ:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1914 г., апреля 22 дня

По Указу Его Императорского Величества С.-Петербургский Окружной Суд в III отделении, в следующем составе:

Г. Председатель: В. Е. Рейнбог.

Гг. члены суда: В. А. Корнеев, Н. Н. Багговут.

При исполняющим обяз. секретаря: Б. Н. Лихачевском.

При прокуроре: Ф. Ф. фон Нандельштедте.

Слушал: предложенную Прокуратурой Суда переписку с отношением Главного Управления по делам печати от 11-го и 21-го марта с. л. вместе с копиями журнала заседания С.-Петербургского Комитета по делам печати от 11-го марта 1914 г. о наложении ареста на № 3 журнала «Заветы» за март 1914 г. и прошение поверенного ответственного редактора названного журнала Николая Максимовича Кузьмина, присяжного поверенного М. М. Исаява, заключающее в себе ходатайство о снятии ареста с № 3 журнала «Заветы», хотя бы под условием изъятия инкриминируемых мест рассказа Евг. Замятина «На куличках».

Рассмотрев означенную переписку и найдя, что в рассказе «На куличках» заключаются признаки 1001 ст. улож. наказ. и не признавая вместе с тем возможным выделить из этого рассказа отдельные тексты, являющиеся совершенно неблагопристойными в виду многочисленности таковых, а равно потому, что весь рассказ по содержанию и изложению своему представляется явно противным нравственности, — Окружной Суд, согласно заключению Прокурора Суда и руководствуясь 1213 — 10, 14 ст. уст. уголов. суд., постановил: наложенный С.-Петербургским Комитетом по делам печати на 3-ий номер журнала «Заветы» за март 1914 г. арест оставить в силе, впредь до изъятия из указанного номера журнала «Заветы» всего рассказа Евг. Замятина «На куличках». Подлинное за надлежащими подписями.

С подлинным верно

и. о. Секретаря (подпись неразборчива).

В те, теперь уже далекие, годы Замятин был революционером и не скрывал этого. Совершенно естественно, что в 1914 году повесть «На куличках» не могла отвечать вкусам правительства дореволюционной России. Лет через пятнадцать, вспоминая об этом случае, Замятин писал, не без иронии:

«С этой повестью («На куличках») вышла странная вещь. После ее напечатания раза два-три мне случалось встречать бывших дальневосточных офицеров, которые уверяли меня, что знают живых людей, изображенных в повести, и что настоящие их фамилии — такие-то и такие-то, и что действие происходит там-то и там-то. А, между тем, дальше Урала никогда я не ездил, все эти «живые люди» (кроме 1/10 Азанчеева) жили только в моей фантазии, и из всей повести только одна глава о «клубе ланцетупов» построена на слышанном мною от кого-то рассказе. «А в каком полку вы служили?» — Я: «Ни в каком. Вообще — не служил». — «Ладно! Втирайте очки!»

Потом пришла коммунистическая революция, превратившаяся вскоре (с неожиданной быстротой!) в режим новой бюрократии и порабощения, которые не успели убить в Замятине революционера: Замятин им остался. Роман «Мы», как я говорил, был написан уже в 1920 году. Совершенно естественно, что он не мог отвечать вкусам послереволюционной бюрократии и был запрещен к печатанию в Советском Союзе. Но достаточно привести несколько выдержек из статей Замятина, *проскользнувших* в советской прессе, чтобы ощутить героическую устойчивость замятинских убеждений и понять причины последовавших кар.

«Мир жив только еретиками. Наш символ веры — ересь...

Вчера был царь и были рабы; сегодня — нет царя, но остались рабы... Война империалистическая и война гражданская — обратили человека в материал для войны, в номер, в цифру... Умирает человек. Гордый homo egestus становится на четвереньки, обрастает клыками и шерстью, в человеке — побеждает зверь. Возвращается дикое средневековье, стремительно падает ценность человеческой жизни... Нельзя больше молчать». («Завтра», 1919 г.).

«Постановления, резолюции, параграфы, деревья, — а за деревьями нет леса. Что может увлечь в политпрамоте? — ничего...

С моей (еретической) точки зрения несдающийся упрямый враг гораздо больше достоин уважения, чем внезапный коммунист... Служба господствующему классу, построенная на том, что эта служба выгодна — революционера отнюдь не должна приводить в телячий восторг; от такой *службы*, естественно, переходящей в *прислуживание* — революционера должно тошнить... Собачки, которые *служат* в расчете на кусочек жареного или из боязни хлыста — революции не нужны; не нужны и дрессировщики таких собачек...» («Цель», 1920 г.).

«Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить. В наши дни — в театральном отделе с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев во *Всемирной Литературе*, несомненно, переводил бы Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; Чехов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить, — жить так, как пять лет назад жил студент на сорок рублей — Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре *Ревизора*, Тургеневу каждые два месяца по трое *Отцов и детей*, Чехову — в месяц по сотне рассказов...

Но даже и не в этом главное: голодать русские писатели привыкли. Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики...

Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невиновность которого надо оберегать... Я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое». («Я боюсь», 1921 г.).

И многое другое...

6

Постановлением о высылке за границу Замятин был чрезвычайно обрадован: наконец-то — свободная жизнь! Но друзья Замятина, не зная его мнения, стали усердно хлопотать за него пе-

ред властями, и, в конце концов, добились: приговор был отменен. Замятина выпустили из тюрьмы, и в тот же день, к своему глубокому огорчению, он узнал, со слов Бориса Пильняка, что высылка за границу не состоится.

Вскоре после выхода из тюрьмы, Замятин, вместе со мной, присутствовал на Николаевской набережной, в Петрограде, на проводах высылаемых из Советского Союза нескольких литераторов, среди которых были Осоргин, Бердяев, Карсавин, Волковызский и некоторые другие, имена которых я теперь забыл. Провожавших было человек десять, не больше: многие, вероятно, опасались открыто прощаться с высылаемыми «врагами» советского режима. На пароход нас не допустили. Мы стояли на набережной. Когда пароход отчаливал, уезжающие уже невидимо сидели в каютах. Проститься не удалось.

Сразу же после этого Замятин подал прошение о его высылке за границу, но получил категорический отказ.

7

Я покинул Советский Союз осенью 1924 года. Замятин героически остался там. Правда, литературный успех Замятина всё возрастал, и не только — в книгах, но и в театре. Его пьеса «Блоха» прошла в те годы во втором Московском Художественном Театре (МХАТ 2-ой) и в Петроградском Большом Драматическом Театре — свыше трех тысяч раз.

Основой пьесы являлся рассказ Лескова «Левша». 2-ой Московский Художественный Театр обратился к Алексею Толстому с просьбой инсценировать этот рассказ, но Толстой отказался, заявив, что это невозможно. Театр обратился тогда к Замятину, и он, сознавая всю трудность этой работы, принял, тем не менее, предложение.

Успех «Блохи» был огромен и в Москве и в Петрограде. Одним из главных качеств пьесы, как и всегда у Замятина, была языковая фонетика. Замятин сам говорил, что «надо было дать драматизированный сказ». Но — «не сказ половинный, как у Ремизова, где авторские ремарки только слегка окрашены языком сказа, а полный, как у Лескова, когда всё ведется от лица *воображаемого* автора одним языком. В «Блохе» драматизируется тип *полного* сказа. Пьеса разыгрывается, как разыгрывали бы ее ка-

кие-нибудь воображаемые тульские актеры народного театра. В ней оправданы все словесные и синтаксические сдвиги в языке».

От Лескова, конечно, осталось немного. Вырос Замятин. Он опустил целый ряд глав Лесковского рассказа: 1-ую, 2-ую, 3-ю, 6-ую, 7-ую и 8-ую. Одновременно с этим Замятин ввел ряд новых персонажей, вдохновленный итальянской народной комедией, театром Гольдони, Гоцци и такими героями комедии dell'arte, как Пульчинелла, Труфальдино, Бригелла, Панталонэ, Гаргалья, служащими усилению сценической динамики...

После постановки «Блохи» в Петроградском Большом Театре, литературный сатирический клуб, именовавший себя «Физио-Геоцентрической Ассоциацией», или сокращенно «Фигой», устроил вечер, вернее, — ночь, посвященную замятинскому спектаклю, в присутствии автора и актеров. Вот несколько выдержек из шутливых песенок, исполнявшихся этой ночью:

БАЛЛАДА О БЛОХЕ

Слова Людмилы Давидович.

Музыка Мусоргского

1

Жил-был Лесков когда-то.

При нем Блоха жила!

Блоха... Блоха...

И славу небогатую

Она ему дала!

Блоха! Ха-ха-ха!

Полвека миновало,

В могилу лег Лесков!

И вот Блоха попала

К Замятину под кров!

И эта вот Блоха-то

Пошла мгновенно в ход —

Открылись двери МХАТ'а,

К ней повалил народ!

К Блохе!

Ха-ха! Хе-хе!

Она для всех приманка

И лакомый кусок!

И вот, к брешам Фонтанки

Её приводит рок!

Блошинная премьера

Приносит ей успех,

В столицах СССР'а

Звонит блошинный смех!

Вид у Блохи задорен,

И красочен напев!

Его ей дал Шапорин,

А фюн — Кустодиев!

Блоха дает всем мигом

И славу и почет.

А что ж Лескову? — Фига

Ему привет свой шлет.

2

БЛОШИНАЯ ФИГОФОНИЯ

для хора и оркестра.

Музыка Шапорина.

Слова Флига.

Блохмейстер — автор.

Allegro Samjatino

Слава За
Слава За
Мятину
Блоходателю
И Блохатрю.

Andante parasito

Приходил,
Приносил
Чёрную:
Не нужна мне,
Публике дарю!

Scherzo blochissimo

Бло, Бло, Бло,
Бло, Бло, Бло,
Блошенька

Во Болдрамте
Весело поёт!

Finale figatoso

Фига фи
Фига фи
Фиженька
Блохомятину
Блоходателю

Слава Бол,
Слава Болдрамту,
Слава Театру,
Съевишему Блоху.

Слава За,
Слава Замятину,
Блоходателю
И Блохатрю!

3

Как, скажите, всем нам быть?
Сливкин*) всем на горе
Порешил кино открыть
В Исаакиевском соборе.

Не люблю я есть телятин,
Как держать, не знаю, нож.

Про Блоху писал Замятин,
Я ж попробую про вошь.

Я девчёнка не плоха,
И я верю в Бога,
У Замятина — Блоха,
У меня их много.

4

Товарищи и братья,
Не могу молчать я.
По-моему «Блоха»
В высшей степени плоха,
А драматург Замятин,
Извиняюсь, развратен.
Возьмемся за пьесу сначала:
Публика ее осмеяла.
Смеялись над нею дружно —

Каких еще фактов нужно?
Экскузовичу было неловко —
Осмеивают постановку,
Он и ёжился,
И тревожился,
И щурился,
И хмурился.
Всем видом, так сказать,
возражал, —
И тоже не выдержал, заржал.
Даже ответственное лицо
Заржало перед концом.

*) Сливкин был тогда директором «Совкино».

Это ли вам не доказательства,
 Дорогие ваши сиятельства?
 А за сим я спрошу ядовито,
 Где у автора знание быта?
 Где пражданская война —
 Может, она автору не нужна?
 Где у вас, ваше превосходительство,
 Новое бодрое строительство?
 А ежели это — сказка,
 Где сюжетная увязка?
 А ежели это — сказ,
 Где бытовой увяз?
 Да, я докажу моментально,
 Что это — не орнаментально,
 Что нету совсем острашения,
 Что это — недоразумение.
 Теперь вам ясно стало,
 Почему хохотала зала?
 А сейчас, извините за выражения,
 Возьмем Замятина Евгения.
 Сидит он рядом с дамой,
 И, притом, с интересной самой,
 А зачем — совершенно ясно,
 И я повторю бесстрастно:
 Евгений Иванович Замятин
 В глубинах души развратен.
 Взгляните на этот пробор,
 На этот ехидный взор,
 Взгляните на светлые брюки
 И прочие разные штуки;

Заключительный куплет:

Рецензия-экспромт

Не стоит трапить много речи,
 Блоху — покрыть теперь нечем!

Взгляните на вкрадчивые манеры —
 Ох, уж эти мне морские инженеры!
 В прошлом строил ледокол,
 Теперь он строит куры, —
 До чего его довел
 Тяжелый путь литературы!
 Насчет «кур» я заимствовал у
 Прутковца.
 Виноват, так что ж тут такого!
 Кто у Прутковца,
 А кто — у Лескова.

Признаюсь в заключение:
 Понравилось мне представление.
 А вот — почему,
 Никак не пойму.
 Прямо обидно
 И перед коллегами стыдно.
 Никаких серьезных задач —
 Насекомое прыгает вокаль,
 Туда и обратно, —
 А смотреть приятно.
 Кажись, хороша и пьеса и
 постановка,
 А сознаться в этом как-то неловко.
 И поэтому закончу я так:
 Вы, Замятин, идейный враг.
 И я требую мрачно и прозно —
 Исправьтесь, пока не поздно!

Фигурная ночь закончилась, со слов свидетелей, в нескончаемом хохоте. И даже был исполнен «Интернационал», под хохот, еще усилившийся.

8

Девятого декабря 1926 года, в Москве, в Государственном театре имени Вс. Мейерхольда, состоялась премьера незабываемой Мейерхольдовской постановки «Ревизора» Гоголя, спектакль, который я увидел только в Париже, в театре Бати, в 1930 году. Гениальный режиссер переключил «классическую» пьесу, ввел в нее новые элементы, а также — отрывки из гоголевских черновиков, изъятых Гоголем из окончательной редакции пьесы. Постановка

Мейерхольда вызвала в советской прессе жестокую критику, обвинявшую Мейерхольда в реакционности и в «заторможении правильного освоения классического наследия».

Двадцать четвертого января 1927 года та же «фиговая ассоциация» устроила вечер чествования Мейерхольда, где ему было прочитано «Приветствие от Месткома Покойных Писателей», из которого я даю здесь небольшую выдержку, и авторами которой были Евг. Замятин и Мих. Зощенко:

«Потрясенные вторичной кончиной нашего дорогого покойного Н. В. Гоголя, МЫ, великие писатели земли русской, во избежание повторения прискорбных инцидентов, предлагаем дорогому Всеволоду Эмильевичу, в порядке живой очереди, приступить к разрушению легенды о нижеследующих классических наших произведениях, устаревшие заглавия которых нами переделаны соответственно текущему моменту:

1. Д. Фонвизин: «Дефективный переросток» (бывш. «Недоросль»).
2. А. С. Пушкин: «Режим экономии» (бывш. «Скупой рыцарь»).
3. Его же: «Гришка, лидер самозванного блока» (бывш. «Борис Годунов»).
4. М. Ю. Лермонтов: «Мелкобуржуазная вечеринка» (бывш. «Маскарад»).
5. Л. Н. Толстой: «Электризация деревни» (бывш. «Власть тьмы»).
6. Его же: «Тэ-же» или «Же-тэ» (бывш. «Живой труп»).
7. И. С. Тургенев: «Четыре суббота в деревне» (бывш. «Месяц в деревне»).
8. А. П. Чехов: «Елки-палки» (бывш. «Вишневый сад»).
9. А. С. Грибоедов: «Рычи, Грибоедов»*) (бывш. «Горе от ума»).
10. Товарищ Островский настаивает на сохранении прежних своих названий: «На всякого мудреца довольно простоты», «Таланты и поклонники», «Свои люди — сочтемся», «Не в свои сани не садись»...

*) Намек на пьесу Сергея Третьякова «Рычи, Китай», поставленную Мейерхольдом в своем театре, в Москве. Через несколько лет Третьяков был расстрелян Сталиным.

9

Но Замятин жил в Советском Союзе, а условия жизни там осложнялись с каждым днем. Роман Замятина «Мы» в 1924 году вышел на английском языке в Нью-Йорке («WE», изд. E. P. Dutton and Company). Но в том же 1924 году опубликование романа «Мы» на русском языке было запрещено в Советском Союзе советской властью. В 1927 году роман «Мы» вышел также на чешском языке в Праге («МУ», изд. Lidova Knihovna Aventina). Этот факт, как и американский выпуск, прошли в Советском Союзе без последствий. Но когда (тоже в 1927 году) некоторые отрывки романа «Мы» появились на русском языке в пражском эмигрантском журнале «Воля России», отношение к Замятину сразу изменилось. Чтобы быть более ясным и точным, я приведу исчерпывающее письмо Евг. Замятина, напечатанное в «Литературной газете» 7 октября 1929 года:

«Когда я вернулся в Москву после летнего путешествия — всё дело о моей книге «Мы» было уже окончено. Уже было установлено, что появление отрывков из «Мы» в пражской «Воле России» было моим самовольным поступком, и в связи с этим «поступком» все необходимые резолюции были приняты.

Но факты упрямы. Они более неопровержимы, чем резолюции. Каждый из них может быть подтвержден документом или свидетелем, и я хочу, чтобы это стало известным моим читателям.

1. Роман «Мы» был написан в 1920 году. В 1921 году — рукопись была послана (самым простым способом, в заказном пакете, через петроградский почтамт) в Берлин издательству Гржебина. Это издательство имело в то время отделение в Берлине, Москве и Петрограде, и я был связан с ним контрактами.

2. В конце 1923 года издательством была сделана копия с этой рукописи для перевода на английский язык (этот перевод появился в печати до 1925 года), а затем — на чешский. Об этих переводах я несколько раз давал сообщения в русскую прессу... В советских газетах были напечатаны заметки об этом. Я ни разу не слышал ни одного протеста против появления этих переводов.

3. В 1924 году мне стало известно, что по цензурным условиям роман «Мы» не может быть напечатанным в Советской России. Ввиду этого я отклонил все предложения опубликовать «Мы» на русском языке за границей. Такие предложения я получил от Гржебина и позже — от издательства «Петрополис».

4. Весной 1927 года отрывки из романа «Мы» появились в пражском журнале «Воля России». И. Г. Эренбург счел товари-

щеским долгом известить меня об этом в письме из Парижа. Так я узнал впервые о моем «поступке».

5. Летом, 1927 года, Эренбург послал — по моей просьбе — издателям «Воли России» письмо, требующее от моего имени остановить печатанье отрывков из «Мы»... «Воля России» отказалась выполнить мои требования.

6. От Эренбурга я узнал еще об одном факте: отрывки, напечатанные в «Воле России», были снабжены предисловием, указывающим читателям, что роман печатается в переводе с чешского на русский... Очевидно, по самой скромной логике, что подобная операция над художественным произведением не могла быть сделана с ведома и согласия автора.

Это и есть сущность моего «поступка». Есть ли тут подобие тому, что было напечатано относительно этого в газетах (напр., в «Ленинградской правде», где прямо говорится: «Евгений Замятин дал «Воле России» опубликовать свой роман «Мы»)?

Литературная кампания против меня была поднята статьей Волина в № 19 «Литературной газеты». Волин забыл сказать в своей статье, что он вспомнил о моем романе с опозданием на два с половиной года (эти отрывки, как я говорил, были напечатаны весной 1927 г.).

И, наконец, Волин забыл сказать об издательском предисловии в «Воле России», из которого ясно, что отрывки из романа были напечатаны без моего ведома и согласия.

Это есть «поступок» Волина. Были ли эти умолчания сознательными или случайными — я не знаю, но их последствием было совершенно неправильное изложение фактов.

Дело было рассмотрено в исполнительном бюро союза Советских Писателей и резолюция исполнительного бюро была опубликована в № 21 «Литературной газеты». Во 2-м пункте её исполнительное бюро «решительно осуждает поступок вышеназванных писателей» — Пильняка и Замятина. В 4-м пункте этой резолюции исполнительное бюро «предлагает ленинградскому отделению союза немедленно расследовать обстоятельства появления за границей романа «Мы». Таким образом, мы имеем сначала осуждение, а затем назначение следствия. Я думаю, что ни один суд на свете не слышал о таком образе действия. Это «поступок» Союза Писателей*).

*) В 1929 году Евгений Замятин не предвидел еще, что «такой образ действия» — осуждение до начала следствия — станет вскоре «бытовым явлением» в Советском Союзе.

Затем, вопрос о напечатании моего романа в «Воле России» обсуждался на общем собрании московского отделения Всероссийского Союза Писателей, а позже — на общем собрании ленинградского отделения.

Московское собрание, не ожидая моих объяснений и даже не выразив желаний услышать их — приняло резолюцию, осуждающую мой «по поступок». Члены московского отделения также нашли своевременным выразить свой протест против содержания романа, написанного за девять лет до того и большинству членов известного. В наше время — девять лет равны девяти векам. Я не считаю нужным здесь выступать в защиту романа, написанного девять лет назад. Я думаю, однако, что если бы члены московского отделения Союза Писателей протестовали против романа «Мы» шесть лет тому назад, когда роман читался на одном из литературных вечеров Союза, — это было бы более своевременным.

Общее собрание ленинградского отделения Союза было созвано 22-го сентября. О его резолюции я знаю только из газетных сообщений. Из этих сообщений видно, что в Ленинграде мои объяснения были прочитаны и что здесь мнения присутствующих по этому вопросу разделились. Часть писателей, после моего объяснения, считала инцидент целиком исчерпанным. Но большинство нашло более *осторожным осудить* мой «по поступок». Таким был «по поступок» Всероссийского Союза Писателей, и из этого поступка я вывожу заключение:

Принадлежать к литературной организации, которая хотя бы косвенно принимает участие в преследовании своего сочлена — невозможно для меня, и настоящим я заявляю о своем выходе из Всероссийского Союза Писателей.

Евгений Замятин

Москва, 24-го сентября 1929 г.».

Комментарии излишни.

В 1929 году такое письмо еще могло быть напечатано в советской прессе. Но, «в общем и целом», как принято говорить в Советском Союзе, «дело» Замятина и — как мы видим — «дело» Пильняка были уже почтеннейшим прототипом истории Пастернака, прогремевшей на весь мир в 1958 году только потому, что в эту «историю» включилась международно известная Нобелевская премия.

10

Положение Замятина в Советском Союзе становилось всё тягостнее, всё трагичнее. Печатање его произведений было прекращено. Пьеса «Блоха» была снята с репертуара. Новая пьеса Замятина, над которой он работал около трех лет, «Аттилла», была запрещена к постановке. РАПП, то есть — Российская Ассоциация Пролетарских Писателей, потребовала и, конечно, добилась исключения Замятина из состава правления Союза Писателей. «Литературная газета», в свою очередь, написала, что книгоиздательства следует сохранять, «но не для Замятинных», и т. д. Замятину пришлось заняться исключительно переводами. Судьба Бориса Пастернака, судьба Анны Ахматовой. Переводы Замятина с английского языка были, кстати сказать, исключительно высокого качества. Но Замятин, в конце концов, не вытерпел и написал, в июне 1931 г., личное письмо Иосифу Сталину с просьбой выдать разрешение на выезд за границу. В этом письме, обращаясь к Сталину, он говорил:

«Приговоренный к высшей мере наказания — автор настоящего письма — обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою... Для меня, как писателя, именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году всё усиливающейся травли... Основной причиной моей просьбы о разрешении мне выехать вместе с женой за границу — является безвыходное положение мое, как писателя, здесь, смертный приговор, вынесенный мне, как писателю, здесь». Полностью это письмо опубликовано в замятинском сборнике «Лица» (изд. Чехова, Нью-Йорк, 1955).

Поддержанное Максимом Горьким разрешение на выезд было Замятиным, наконец, получено, и, в ноябре 1931 года, он с женой приехал в Берлин. Пробыв там неделю, Замятины перебрались в Прагу. Затем — снова Берлин, после чего, в феврале 1932 года, они оказались во Франции. Людмила Николаевна задержалась на юге, а Замятин вскоре прибыл в Париж. В Париже он некоторое время прожил в моей второй квартирке на улице Дюрантон, и наши встречи стали не менее частыми, чем в Советском Союзе.

11

Замятин — всё тот же. Та же нестираемая саркастическая улыбка, тот же прирожденный оптимизм, пронизанный иронией. Роман «Мы» вышел, к тому времени, и на французском языке («Nous autres», изд. Галлимар, Париж, 1929), но был встречен довольно холодно и понят исключительно как политический памфлет, пасквиль на режим, тогда еще не волновавший читателей свободных стран. В широкие читательские массы замятинский роман поэтому тогда еще не проник. Замятин, тем не менее, работал, как всегда, не покладая рук. Не увидевшую сцены пьесу «Аптила» он переделывал в роман «Бич Божий», изданный в Париже на русском языке «Домом книги», уже после смерти Замятина. Замятин писал также во французских журналах статьи, посвященные трудностям русской литературы в Советском Союзе. Он уделял также время переводам своих произведений на французский язык, из которых многие появились во французской прессе. Писал и о театре.хлопотал о постановке «Блохи» и даже написал два замечательных кинематографических сценария: «На дне», по пьесе М. Горького, и «Анну Каренину», по роману Льва Толстого...

Для меня оптимизм (несмотря на разочарование Замятина в коммунистической революции) был одной из наиболее характерных черт писателя, уводившей его иногда от реального понимания происходивших событий. В 1936 году, через несколько дней после смерти Максима Горького, французские литераторы устроили в Париже вечер его памяти, под председательством Анатолья де-Монзи, возглавлявшего тогда Комитет Опубликования Французской Энциклопедии. Из русских выступали двое: Замятин и я (оба, конечно, на французском языке)*).

Говоря о частых встречах Горького со Сталиным, Замятин, между прочим, произнес:

«Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что исправление многих перегибов в политике советского правительства и *постепенное смягчение режима диктатуры* — было результатом этих дружеских бесед. Эта роль Горького будет оценена только когда-нибудь впоследствии**). (Курсив мой. — Ю. А.).

Возможно, что получение разрешения на выезд за границу показало Замятину одним из признаков «смягчения режима»,

*) Речь Замятина была в том же году отпечатана в «Revue de France»; моя — в журнале «Ельгоре».

**) Цитирую из русского текста, вошедшего в книгу «Лица», уже упомянутую мною выше.

несмотря на то, что именно 1936 год уже ознаменовался кровавыми сталинскими «процессами», «чистками» и массовым истреблением населения, достигшими своей кульминации в 1937 году.

12

Любовь к творчеству Горького и личная дружба с ним побудили Замятина перенести на французский экран какое-либо произведение Горького. После долгих колебаний Замятин остановил свой выбор на пьесе «На дне». Задача была нелегкая, так как атмосфера русского «дна» была чужда широкому французскому кинематографическому зрителю. Замятин решил ее «офранцузить», пересадить на французскую почву. Но самая мысль сблизиться с кинематографической продукцией была, в известной степени, навеяна Замятину также и практическими соображениями. Уже в первые месяцы своего пребывания в Париже Замятин понял, что жизнь за границей для русского писателя, оторванного от своей страны, чрезвычайно трудна. Кинематограф оказался ему наиболее доступным способом зарабатывать на жизнь.

Прожив несколько недель в моей квартирке, Замятин уехал на юг, на Ривьеру. Вскоре я получил от него письмо от 30-го сентября 1932 года:

«Villa Simple Abri

rue des Oliviers, Cros-de-Cagnes.

Дорогой Юрий,

Спасибо за письмо. Но насчет летних наших проектировавшихся встреч — это ты валишь с большой головы на здоровую: когда мы проживали в Париже, ты ведь еще и сам не знал, куда тебя нелегкая понесет — шла речь о St-Tropez, помнишь? И мы решили, что ты о своем летнем местопребывании дашь мне знать по адресу Григорьева*).

Ну, ладно, это дело прошлое. А настоящее — неважное. То есть, так оно бы и ничего: были замечательные прозы, сегодня — опять лето, жарко, в море — синь, в кармане — какие-то франчишки. Но я опозорился: здесь, на Ривьере, умудрился схватить какой-то паршивый припп. В Петербурге вот уже лет пятнадцать

*) Художник Борис Григорьев.

не знал, что это такое, а тут — пожалуйста! Чёрт знает что! Купанье — пропало, приходится сидеть в комнатах. Злосось.

Сколько времени пробуду здесь, на юге, — пока еще не знаю: это зависит от работы. До сих пор еще не найден режиссер для фильма, а потому неизвестно, кто будет делать desoupage: то ли режиссер, то ли я, то ли оба вместе.

Буду рад, если напишешь, как дела у тебя? Удалось ли, наконец, сдать квартирку на rue Durantin?

Встретился здесь, в студии, со стариком Федором Ивановичем — Дон-Кихотом. Встречался не один раз с Катей Карнаковой, б. актрисой МХАТ'а и бывшей женой Дикого — знавал такую? Хорошая девушка. Она живет в Cap-Ferrat. И там же жила другая хорошая Катя: Красина*).

Хорошего много, да ведь я-то что-то не хорош.

Жму руку.

Твой Евг. З.»

Речь, произнесенная Замятиным на вечере, посвященном памяти Горького, заканчивалась следующими словами:

«За месяц-полтора до его смерти одна кинематографическая фирма в Париже решила сделать по моему сценарию фильм из известной пьесы Горького «На дне». Горький был извещен об этом, от него был получен ответ, что он удовлетворен моим участием в работе, что он хотел бы ознакомиться с адаптацией пьесы, что он ждет манускрипт. Манускрипт для отсылки был уже приготовлен, но отправить его не пришлось: адресат выбыл — с земли».

Режиссер был в конце концов «найден»: Жан Ренуар, один из самых крупных французских кинематографических постановщиков, сын знаменитого художника-импрессиониста Огюста Ренуара, с большой убедительностью перенесший замятинский сценарий на экран, при участии талантливейшего Луи Жуве и (на мой взгляд — бездарного, но ставшего, благодаря своей трубой вульгарности, «любимцем публики») Жана Габэна. Текст Горького был

*) Ф. И. Шаляпин в роли Дон-Кихота (фильм Ж. В. Пабста). Екатерина Карнакова, позировавшая мне однажды в одной рубашке и коротеньких кружевных панталончиках. Ее ноги были необычайной стройности. А. Н. Тихонов сказал как-то: «Самый красивый полос — у Шаляпина, самые красивые ноги — у Карнаковой».

Екатерина Красина, дочь Л. Б. Красина, первого советского полпреда во Франции.

переработан Замятиным с тонким умением и тактом, и фильм имел опромный успех. Правда, не кинематографическая, а более рафинированная французская театральная публика была уже давно знакома с пьесой Горького, представленной впервые в Париже, в постановке Люнье-По, 12 октября 1905 года, с участием Элеоноры Дузе в роли Василисы Карповны, и — позднее — 22 марта 1922 года, в постановке Георгия Питоева, с участием Людмилы Питоевой в роли Насти, и Мишеля Симона в роли Бубнова.

13

Еще несколько писем:

«Villa **Simple Abri**, rue des
Oliviers, Cros-de-Cagnes (A. M.)

14. X. 1932

Дорогой Юрий Палыч,

Через неделю с небольшим кончается срок моей квартиры здесь и я, должно быть, двинусь в Париж с Людм. Ник. Число беспризорных на улицах Парижа может увеличиться на две единицы. А посему: если твоя гарсоньерка на rue Duranton еще не сдана, не сдашь ли ты ее мне — скажем, хоть на месяц — пока что, с тем, что я найду себе другое помещение, если появятся претенденты на эту квартирку более солидные. Не охота сейчас же с вокзала начинать квартирную беготню...

Здесь после погопов и холодов — опять лето. Не откладывай с ответом.

Целую тебя — твой Е. З.»

К сожалению, это письмо пришло ко мне, когда меня не было в Париже. Вернувшись недели через полторы, я нашел у меня уже два замятинских письма. Во втором, написанном в той же видле «Simple Abri» и датированном 24. X. 1932 года, говорилось:

«Дорогой Юрий,

Жив ли ты и невредим ли? Может быть, как в старину, опять твой пуп начал уходить внутрь? Иначе, если бы пуп был на месте, думаю — ты ответил бы мне на мое письмо и открытку. Во всяком случае, по получении этого послания бери перо и пиши мне ответ немедленно.

Вероятно, 1-го ноября я буду в Париже с Людм. Ник. и мне нужно где-нибудь устроиться хоть на три-четыре дня, пока я найду себе какие-нибудь appartements meublés. Уж очень не улыбает-

ся мне прямо с вокзала — бежать разыскивать какое-то жильё, и трудно сделать это наспех, в один день. Если твоя комната на rue Durantou стоит пустая до сих пор — может быть, можно было бы хотя бы на краткий срок приклонить там голову?

Будь другом — ответь немедленно.

Жму руку

Твой Евг. Замят.»

В то время, однако, я уже отказался от моей квартирки на улице Durantou, и Замятиным пришлось искать в Париже другое убежище, чтобы «приклонить там голову».

Через несколько месяцев, французский театральный предприниматель и актер Поль Эттли решил осуществить постановку пьесы «Блоха», в переводе Сидерского, переведшего уже, в 1923 году, поэму А. Блока «Двенадцать». Замятин обратился ко мне с просьбой сделать внешнее оформление спектакля (декорации и костюмы). Я с удовольствием принял это предложение. Но в те же месяцы я готовил декорации (14 картин!) и огромное количество костюмов для пьесы французского драматурга Шарля Мерэ «Passage des Princes», героями которой были Жак Оффенбах, певица Гортензия Шнейдер и, вообще, вся пышность так называемой «belle époque» Франции шестидесятых и семидесятых годов прошлого века. Премьера этого спектакля должна была состояться (и состоялась) в самых первых числах декабря, в театре Madeleine, и я был перегружен работой.

Репетиции «Блохи» начались во второй половине октября. Постановщиками были Поль Эттли и балетмейстер Мирон Библин, который должен был поставить танцы. 7 ноября Замятин прислал мне следующее письмо:

«6. XI. 1933

10 час. веч.

Дорогой Юрий,

был у тебя в пятницу 3-го, оставил для тебя письмо у Дези*). Получил ли ты это письмо? Я писал, что жду тебя в воскресенье и не дождался. Самое позднее 3-го или 4-го ты должен был, по твоим словам, всё сдать в Madeleine — и затем заняться «Блохой». То, что ты не даешь о себе знать, я понимаю только так, что ты хочешь обрадовать меня и показать сразу эскизы декораций? Нет, дорогой, ты лучше не откладывай и покажись сначала сам, хоть на четверть часа, чтобы мне быть спокойным и знать, когда мож-

*) Моя соседка, жена известного английского живописца Антони Гросса.

но будет показать твои эскизы в театре. Потому что там на меня наседадут с французом, а ни в каких французских декорациях «Блохи» я никак не вижу. Не режь меня без ножа, не будь душегубом!

Завтра я дома утром до 2 и вечером с 9.

Твой Евг. З.»

В 9 часов вечера состоялось наше свидание, и я показал Замятину некоторые мои предварительные наброски. Но на другой же день я должен был неожиданно подписать один фильмный контракт на четыре месяца и немедленно выехать из Парижа. По случайному совпадению, административные трудности вынудили Поля Эттли тоже перенести постановку «Блохи» в Брюссель, где первое представление состоялось в декабре 1933 года. Декорации были исполнены Маньеном де-Рейзз, костюмы — Ландольфом. Музыка была написана Сержем Векслером. Их творчество мне, к сожалению, не знакомо.

14

Летом 1935 года я покинул мою мастерскую на улице Буало и переехал в буржуазно удобную квартиру на бульваре Мюра. Несколько позже, Замятины, в свою очередь, переселились на летние месяцы в парижское предместье Бельвю к их приятелю, доктору Рубакину, основавшему там, в своем имении, «образцовую школу», что-то вроде гимназии. Последнее, сохранившееся у меня письмо Замятина написано им оттуда:

«69, Route des Gardes,

Bellevue

Дорогой Юрий,

Понедельник

12. VIII. 35

У тебя в новой квартире — спору нет: хорошо. Но у нас в парке Бельвю — ей-Богу лучше. Мы думали, что ты сам догадешься и приедешь с твоей нормандской красоткой Тинной в субботу или воскресенье подольчефарниенствовать, а ты и глаз не кажешь. Приезжай скорей — пока я не засел за какую-нибудь новую работу: пока — кончив дела с Оцепом — бездельничаю и сижу безвыездно здесь. Приезжай в любой день, кроме среды (в этот день я буду под Версалем). Да вспомни и про старика Осоргина.

Привет Тине,

Твой Евг. Замятин».

Тина (Валентина Ивановна) была тогда моей женой, с которой я позже разошелся. В тридцатых годах она, действительно, была «красоткой», но — не нормандской, а чистокровно московской.

Федор Оцеп (русский) был очень известным кинематографическим постановщиком, жившим во Франции до войны 1939 года. Им были сделаны фильмы «Парижский мираж», «Пиковая дама», «Княжна Тараканова» и др. В «Пиковой даме» (фильм, в котором участвовали такие актеры, как Маргерит Морэно — в роли графини, Мадлен Озерэй — в роли Лизы и Пьер Бланшар — в роли Германа) мне пришлось заменить Мстислава Добужинского в качестве автора костюмов, так как Добужинский должен был срочно выехать в Вену. Мною были также созданы костюмы для фильма «Княжна Тараканова», крутившегося в Италии (Рим, Ватикан, Венеция), где моей ассистенткой была дочь Ф. И. Шаляпина — прелестная Марина, «мисс Россия» 1937 года.

У Федора Оцепа, в Париже, Замятин и я проводили иногда вечера, засиживаясь до поздней ночи. По просьбе Оцепа, Замятин написал сценарий «Анна Каренина». К сожалению, этот фильм остался неосуществленным.

15

В том же году приезжал в Париж Борис Пастернак, и втроем мы катались по городу в моей машине. Я спросил однажды, куда Пастернак хотел бы еще съездить? Он ответил:

— В предместье St-Denis, к пробицам королей.

— Весьма своевременно, — сказал Замятин.

И мы поехали в St-Denis...

Тридцатые годы были временем очень частых наездов русских писателей в Париж: Замятин, приехавший с разрешения Сталина и потому не считавший себя эмигрантом; Пастернак, Федин, Пильняк, Бабель, Эренбург, Безыменский, Слонимский, Марриетта Шагинян, Никулин, Алексей Толстой, Киришон, Всеволод Иванов... Приезжая в Париж, они постоянно и весьма дружески встречались с писателями-эмигрантами, несмотря на политические разногласия. Случались, конечно, и небольшие недоразумения. Так, я помню, в моей квартире Федин упрекнул меня в том, что я не предупредил его о приходе Осоргина, встреча с которым

казалась ему неуместной. Но это был редчайший случай, и в тот же вечер они мирно беседовали друг с другом, сидя рядом на диване.

16

Теперь — некоторые выписки из моего дневника того времени:

«17 августа 1935 г.

Ездил с Замятиным в Бельвю к доктору Рубакину, в его «образцовую школу». Метро переполнено толпой, не перестающей меня поражать своей попливостью, семейственностью и упорством, с которым люди решаются потратить около двух часов на скучнейшее путешествие под землей, чтобы провести два часа на травке, закиданной клочками просаленной бумаги, окурками и яичной скорлупой.

В саду образцовой школы (сад огромный, великолепный, холмистый) велась за чаем беседа о новых методах образования и воспитания детей. Рубакины — завидные энтузиасты своего дела, но, к сожалению, пользование их школой доступно лишь очень состоятельным людям: плата за правоучение — от 500 франков в месяц с ребенка. Как всегда — всё хорошее стоит дорого.

Дочь Рубакина, кустодиевская барышня, не знает ни слова по-русски. Рубакин показывал свою книгу, написанную по-французски: «Человеческое неравенство перед болезнью и смертью» — труд из области социальной гигиены, основанный на данных международной статистики. Содержание исчерпывается заглавием.

К вечеру читали в парке последние номера советского журнала «Творчество», только что пришедшие из Москвы. Безграмотность советских художников и художественных критиков непонятным образом возрастает с каждым годом. Довольно крепко упомянув «мамашу», Замятин прибавил:

— Возврат от трактора к сохе, от аэроплана — к телеге».

«22 мая 1936 г.

Весь день просидел безвыходно дома. Живопись.

Вечером пришли Оленька Глебова-Судейкина и Замятин. Оленька рассказывала о новых своих заботах: у нее расплоди-

лись канарейки. Итого — 54 птицы без клеток, в одной комнате для прислуги. Потому что Оленька живет в комнате для прислуги.

Замятин:

— Не хватает филина и спрауса. Необходимо исхлопотать!»

«6 октября 1936 г.

Чудный осенний вечер. Осенние скрипки. Но денег у меня по-прежнему нет ни копейки. Телефон не работает уже свыше трех месяцев. Утром купил на два франка и пять сантимов хлеба, сахара и яиц. Жизнь дешева и прекрасна: грошевая опера, «Opéra de quat'sous». Тиннок бодрится».

«7 октября 1936 г.

Утром был разбужен... телефонным звонком: со станции сообщили, что моя линия восстановлена. Происшествие непонятное, так как денег я не вносил. Остаются два предположения: либо свет не без добрых людей, либо в жизни бывают чудеса. Хорошо бы верить и в то и в другое. Около полудня — еще звонок. Голос Замятина:

— Уже восстановили?

— Восстановили.

— Ну, так пойдем, на радостях, пожрать креветок и мулей.

— Пойдем.

. И мы встретились в маленьком ресторанчике на бульваре Эксельманс, где изумительно вкусно готовились всяческие ракушки».

17

В начале 1937 года здоровье Замятина сильно пошатнулось. В последний раз я был у него за несколько дней до его смерти. Замятин принял меня, лежа на диване, и, конечно, с улыбкой на усталом лице.

Замятин скончался 10 марта 1937 года. В день похорон я поднялся на этаж замятинской квартиры в доме № 14, на улице Раффэ, но войти в квартиру у меня не хватило мужества. Я остался на площадке лестницы перед открытой дверью. Через несколько

минут из квартиры вышел заплаканный Мстислав Добужинский и прислонился к стене рядом со мной. Он сказал мне, что лицо Замятина сохраняло улыбку. Еще минут через пять на лестницу вынесли гроб. Лестница в доме была крутая, вьющаяся и слишком узкая, так что гроб пришлось спускать по ней в вертикальном положении. Присутствовало много провожающих, но мне было так тяжело, что я не запомнил ни лиц, ни имен.

Погребение состоялось на кладбище в Тие (предместье Парижа).

18

«Советская Энциклопедия» (1935) — о Замятине:

«Замятин (1884) печатается с 1908 г. В дореволюционных произведениях («Уездное», 1911; «На куличках», 1914) З. выступал изображителем тупости, ограниченности и жестокости захолустного мещанства и провинциального офицерства. В своем революционном творчестве З. продолжает давать ту же консервативную провинциальную обывательщину, которая, по его мнению, осталась характерной и для Сов. России. Буржуазный писатель, З. в своих произведениях (особенно в «Пещере» и «Нечестивых рассказах») рисует картину, совершенно искажающую советскую действительность. В опубликованном за границей романе «Мы», З. злобно клеветает на советскую страну».

Точка. В последующих изданиях «Советской Энциклопедии» имя Замятина не упоминается.

19

Прошли страшные годы сталинских убийств, прошла непростительная преступность спровоцированной Сталиным Второй мировой войны, и только в 1952 году роман «Мы» вышел полностью на русском языке, но, конечно, — не в Советском Союзе, а в Соединенных Штатах Америки, в нью-йоркском издательстве имени Чехова, и, в том же издательстве — в 1955 году, — появилась книга статей Замятина «Лица». В 1958 году «Мы» появились на немецком языке («Wir», изд. Kiepenheuer u. Witsch, Кёльн-Берлин). Вслед за тем, в 1959 году, этот роман вышел по-итальянски («Noi», изд. Minerva Italica, Бергамо-Милан), по-фински («Me», изд. K. J. Gummerus Osakeyhtiö Jyväskylä), по-шведски («Vi», изд. Albert

Bonniers Förlag, Стокгольм), по-норвежски («Vi», изд. Tiden Norsk Forlag, Осло), по-датски («Vi», изд. С. А. Rotsels Forlag), и — во второй раз — по-английски («We», изд. E. P. Dutton and Company, Нью-Йорк). Кроме того, «Мы» были напечатаны в «Антологии Русской Литературы» советского периода (изд. Random House, Нью-Йорк, 1960 г.).

В арестантском вагоне

1

На двор Таганской уголовной тюрьмы въехал тюремный автомобиль. Трое находящихся в нем узников увидели через дверную решётку, как подвели к машине человек двадцать пять, не обременённых ручным багажом. Из центра этой группы раздался вдруг задорный блатной и вёдливым, бесшабашный голосок запевалы:

Приехал чёрный ворон —
Тюремное такси.
Садитесь педерасты,
Бандиты и воры.
Ай, ай, накачивай, да наворачивай,
Вещички фраеров быстрее заначивай.
Чух, чох наяривай, не растабарывай,
Лягавых осужённых подряд запарывай.

— Кончай базар! — скомандовал начальник конвоя. — За бузу оставлю в кандее. Приелась камерная пайка? На фраерах попастишь охота? Так чтоб порядок был: стой и не дыши! Установочные данные отвечай залпом!

— Товарищ старшина, — заискивающе ослабилсЯ высокий поджарый рябоватый парень, одетый в застиранные и залатанные лагерные одёжки, — подсади к фраерам. Весь бутор — вам, жратва — нам. Порядок обычный, законный.

— Какой я тебе товарищ! — огрызнулся старшина. — Медведь в тайге тебе товарищ. Кончай гармидр!

— Закругляй холодную войну, старшина, — раздался задиристый альт недавнего запевалы. — Мы запрызли старосту, не

боялись аресту — загрызём и старшину, соблюдая тишину. Правильно Черепеня ботаёт — сади к фраерам, иначе не поедём.

— Я-те загрызу, сявка! — вскипел старшина. — По Лубянке скучаешь? Враз загремишь с твоим Черепеней! А ну, разберись по два! Московский конвой шутить не любит: шаг влево или вправо, вперед или назад — стреляю без предупреждения! Руки назад! Трофимов! Два шага вперед!

Вышел пожилой кряжистый темнолицый человек, с глазами, спрятанными под выпуклыми надбровными дугами.

— Сидор Поликарпыч, 1914 года, 59-3, 25 лет, начало срока 14 апреля 1952 г.

— Залазь в машину, бандит!

— Гарькавый!

— Семен Фомич, — выскочил тщедушный паренёк с испитым, преждевременно состарившимся бледно-синим лицом и голоском, в котором сразу узнался недавний запеваля, — 1934 года, указ 4.6.47, 20 лет, начало срока 11 июня 1952 года.

— Смотри у меня, шармач! — пригрозил старшина, — такому рифмачу в горло сальную свечу, чтоб голова не качалась.

— Есть... под мышкой шерсть! — козырнул Гарькавый и полез в чёрное нутро машины.

Через миг раздался оттуда его негодующий бабий фальцет:

— Опять чекистская вонь! Мутит! Обблююсь! Всё нутро выворачивает! У...у! Фараоны!

— Зато не убежишь, ловчило, — отозвался солдат, стоящий у машины. — Так тебя пропитает вонь насквозь, что пёс и через неделю в любой толпе разыщет.

— Федоров!

Никто не отозвался.

— Федоров, выходи! — угрожающе повторил старшина.

— Чего ждёшь, темнила! — вмешался один из надзирателей, обращаясь к кому-то из заключенных.

— Товарищ старшина, — это — вон тот, рыжий, с веснушками-коноплишками, курносый, вон глаз жёлтый косит. У него голая баба на груди тагуирована с загнутыми салазками; да и весь он в три цвета расписан. Его в детском доме записали Хрущёвым и он только на эту фамилию отзывается. Тут ему другую дали — так кобенится. Говорит: «Нам в детдоме целой группе фамилии дали в честь вождей». Все эти атлётёты сейчас по тюрмам и лагерям.

— И все по настоящей фамилии хлябают, — прервал надзирателя Федоров-Хрущёв, — никто не осучился. Есть тигры с фа-

миллиардами: Сталин, Калинин, Ворошилов, Каганович, Будённый...

— Прекрати, Федоров! — взревел старшина. — Пятьдесят восьмую — хочешь?! Враз вляпаем! Бегом в машину!

— Зови по родной фамилии! — закричал Хрущёв, и многоэтажная вязкая терпкая ругань потоком хлынула из разинутого перекошенного рта. — Зови как хрещён, а то — убей — не пойду, пузо вспорю, жилы перережу, глаза захимичу, руку отрублю! Сосатели! Кровоопийцы! Людоеды!

Всё тело его дрожало, подёргивалось, ошалелые, чуть раскопые кошачьи глаза вылезли из красных орбит. Надрывный истощенный крик вызвал цепную реакцию общей истерики.

— Палундра! Хипиш! Фараоны! Плантаторы! Расстрельщики! — кричали воры.

— Пытатели! Кромсалы! Паразиты! — выкрикивал из машины рыдающим бабыим пронзительным голосом Гарькавый. — Веди назад! Не поедем! Всю кровь выпили! Сиротами оставили!

— Братцы! — кричал, задрвав голову вверх по направлению к окнам тюрьмы, рябой лядащий Черепеня. — Братцы! Воров тиранят! «Золотого» перекрестили! Ломай стёкла, братцы! Хипишь на всю Таганку!

Где-то вверху зазвенели стёкла, через мгновение ещё и ещё, и вся серая махина тюремного корпуса заполнилась низким звериным воем, звоном, грохотом, стуком.

Старшина поднял обе руки:

— Тихо! Хрущёв, тихо! Нет времени с вами валандаться. Хрущёв — заходи!

Воры успокоились. Один за другим, не сообщая больше своих установочных данных, взбирались они на машину и исчезали в её черном зловонном чреве.

2

— «Запридух!» Икрыстые караси на горизонте, — крикнул Гарькавый.

— Есть, «Щипач!» Так держать, — лихо отозвался Черепеня и стал проталкиваться в переднюю часть кузова.

— «Саморуб», моя покупка, — кинул он по дороге Трофимову. — Я — зайгранный.

Трофимов молча, с достоинством, кивнул.

— Ты, — ткнул Черепеня человека лег тридцати, в очках, — кем будешь?

— То есть, как это кем? — ответил тот высокомерно.

Черепеня повысил голос:

— Установочные данные, паскуда. Профессия? Лягавый?! Признавайся сразу! Легче будет.

— Я — учитель. Зовут Фрол Нилыч Бегун.

— Так. Раздевайся!

— Как это — «раздевайся»?

— А, мусор, трёкать? Вилять? Фингить? Раздевайся! Пасть порву, прызло покалечу. Законному вору перечить?! Да я тебя, мусор! Да ты у меня, падла!..

Он сбил с Бегуна очки и приставил вплотную к глазам трехсантиметровые ржавые когти, а второй рукой сорвал с него меховую шапку-ушанку.

В это время рядом стоявший пожилой, невысокого роста, худощавый и стройный человек, схватил руку «Запридуха» и спокойно произнёс:

— Брось, земляк! Отдадим всё; и руки опусти, когти-то у тебя, как у голливудских кинозвёзд, только маникюр ржавый.

— Давно бы так, — злобно выдохнул Черепеня. — Мне ваша сучья кровь приелась. Разве положено мне, законному вору, ходить в казённом?!

Политзаключенные стали раздеваться.

Черепеня разъяснял:

— Всё равно вольные тряпки вам ни к чему. Как только приедете — чекисты всё сдрочат. Оденут в робу второго срока. Пришьёте номера на лоб, колени, спину и повязку на рукав. Так что жалеть вам нечего — один хрен — каюк.

— Оставьте хоть кальсоны, — попросил молчавший до сих пор юноша.

— Не унижайтесь, Юрий Маркович! — буркнул Бегун. — Бог не захочет — свинья не съест. У Журина — заграничное бельё, и то не просит.

— Учителю Бегуну — за сопротивление власти и настырность — снять всё, — чеканил Черепеня, — остальным — бельё разрешаю.

— Нет уж, тогда берите всё у всех, — промолвил Журин.

— Горд, сперва! А я сказал: оставь — так оставишь. Меня люди, воры, слушаются, а не то, что вы — кляксы, крысы канцелярские, придурки. После пахана-«Саморуба» — я — старшой. Ясно?

— Портфельником на воле хлябал? — ткнул он ногой Журина.

— Инженер я, а юноша был студентом.

— На чём засыпались?

— На чём? — усмехнулся Журин.

Он стоял голый, нежный, белый, всем телом чувствуя жжение по-волчьим мерцающих взглядов и эманацию ненависти, атавистической кровожадности, истекающую из суровых, непрощающих слабость глаз.

— Работал со мной человек, — продолжал Журин. — Учил я его, помогал, специалистом сделал, а он решил так:

Донесу я в думе царской,
Что конюший государской:
Басурманин, ворожей,
Чернокнижник и злодей;
Что он с бесом хлеб-соль водит,
В церковь Божию не ходит,
Католицкий держит крест
И постами мясо ест.

— Э.., да он — говорок, — повеселел Хрущёв, — небось, романы ботать мастак — лысый? Мы уважаем грамотных, лобастых. Бывает, подами живём на одной доске с академиком, писателями, учёными, а то с министрами, дипломатами, разведчиками, шпикомогами разными. Часто заслушиваем доклады, беседы, романы, бывальщину. Так что, пахан, получай сменку, одевай ее, постыльную, и не тужи. Не ссучишься — так не пропадёшь с нами. Ясно?

— Мы ж с чистым сердцем и благородными намерениями, — вмешался Черепеня. — Никого не пришили, всё тихо, благородно. Для нас тоже прежде всего — человек; на нём кормимся.

— И еще намотай, — продолжал Хрущёв. — За жалобу мусорам — начальству — смерть. Таков закон. Провинившийся язык — отрубает с головой. Так у чекистов, так и у нас. Ясно? То-то.

Вонь, духота, жара непрерывно усиливались. Тошнило. Липкий холодный пот покрывал тела. Оработанные газы попадали внутрь машины. Ко всему еще и трясло.

— Кирюха! — стонал Гарькавый. — Стучи шоферюге, не выдержи. Все кишки в глотке.

Переодетые в лагерные одёжки политзаключенные осматривали друг друга, как бы знакомясь вновь.

— До чего же обезличивают, расчеловечивают эти тряпки, — произнес Бегун. — Сейчас нужно быть хорошим физиономистом, чтоб разглядеть в нас обычных людей. Внимательный, острый,

стальной прищур, да лоб крутой, с залысинами, выдает в вас интеллигента, Сергей Михайлович. А Юрия Марковича отличает нежный целомудренный овал, добрые грустные карие миндалины говорящих глаз, чистый белый лоб и нервно вздрагивающие чуткие тонкие розовые ноздри.

— В таком пекле — такая велеречивая проза, — усмехнулся Журин. — Обратили ли вы внимание на «чистое сердце и благородные намерения» «Запридуха»? Начитанный деятель: прямо по передовице чешет.

— Обычные лица, — продолжал Журин задумчиво. — Это — не наследственно дефективные, уголовные типы. Это — дети народа. Это — сам народ, оподлевшие поколения народа. Дети воровской империи.

— Не так уж озверел народ, — возразил Пивоваров. — Эти ребята — не народ. У них ни жалости...

— А вы нас, чиновники, мусора, жалели, когда наших отцов раскулачивали? — перебил Пивоварова человек лет тридцати, с большим зубастым ртом и белым звездообразным шрамом на левой скуле.

— Крой, Кирюха, открой дыхание придулкам, — подбодрил говорившего Гарькавый.

— Жалели вы, — продолжал Кирюха, — когда в телячьих вагонах утоняли нас, малых и старых, на север?! Жалели вы Мустафу, — он ткнул узловатым неразгибающимся когтистым пальцем в прудь рядом стоящего парня с орлиным носом и черными маслинами глаз, — вы жалели Мустафу, когда всю его национальность ни за что, ни про что в пустыню вывезли? Батьку и всех братьев распределяли, как и тысячи таких же других. Пахан — «Саморуб», Хрущев — «Золотой», Гарькавый — «Щипач», «Запридух» — Черепеня, я, Кирюха Малинин, — мы кто? Дети безвинно замученных. Все мы — сироты. Есть и пострадавшие от немцев. Я — с Оби утёк. «Золотого» мамка сумела из эшелона дальней родне сдать. Сама на лесоповале загнулась. Клык чудом от собственной матери спасся в 1933 году. В голод рехнулась, съесть хотела.

— Мою мать на моих глазах убили, — мрачно и злобно произнёс Трофимов.

Все смолкли. С интересом смотрели на Трофимова. Очевидно, для всех было новостью это сообщение их сдержанного замкнутого немногословного главара.

— Везли по раскулачке, в телячьем. Трясло. От тряски как-то раскрылась одна из дверей вагона. Были мы «олени». О побе-

ге — не помышляли. На одной станции я в окошко увидел: кипятилок — напротив нашего вагона. Сдуру ляпнул: — «Мам, ужасно как кипятку хочца». Мать моя — хватъ ведро и, как была, так и спрыгнула. Ловкая была, сильная. Не дошла... В грудь попал, падлюка, сосок аж разрубил. Кровь так и хлобыстала. С тех пор кровь матери во сне и наяву стучит под моим горлом. До того был я неугомонный хохолун. С той поры будто подменили. После матери ни к кому душа не лежала. Вот откуда первая моя накотка-клятва: «Не забуду мать родную».

— Сидор Поликарпыч, — перебил Трофимова Гарькавый. — Я семи лет от роду родителей лишился. Отец — на фронте погиб, а мать — с голоду зачахла. Помню, последний кусок, каждую кропочку и жмых отдавала мне, а сама ослабла, застыла, в горячке померла.

— Моего отца в тридцать седьмом, в ежовщину гады забрали, — не разжимая зубов сказал Черепеня. — Мать с трудом уборщицей в школе устроилась. Работала полторы смены и получала на руки 220 рублей. Я и воровать-то пошёл, мать жалтеючи. Все мы такие. Муку приняли незаслуженную. Всех нас искарёжила, исполосовала подлая жизнь. Да что там трёкать: сытый голодного не разумеет. У вас, небось, у каждого руки в крови, поэтому — при телесах, холёные, гладкие, белые, научно губами шлёпаете, диссертации пишете: какую там вошь пьмать сподручнее — сытую, чи голодную. На нашей крови и поте, на замученных наших матерях отождрались, дипломов хваттали, очки надели, вумные пузыри пуцаете.

Он скрипнул зубами и, расталкивая товарищей, направился к дверцам машины. Припав к решётчатому окошку, он обратился к старшине:

— Так договорились, начальник, замолвишь словечко старшому вагона, чтоб нас по пяти в клетки «стольщина» рассадил?

Старшина молчал. Поигрывал желваками челюстей. Потом неожиданно шепнул:

— А где барашка в бумажке?

— Зараз, мигом, — засуетился Черепеня.

— Втихаря! Потаюхой! Хитромудрые промеж нас, — предупредил старшина.

— Клык, давай зажигалку! — скомандовал Черепеня. — Я даю две пачки сигарет. «Щипач», давай носовые платки, они нам ни к чему.

— Хватит идолу, — рокотнул Трофимов. — И так — богатство.

В это время машина стала разворачиваться, и люди увидели через окошко дверей два арестантских вагона — «стольпины» — на пустынном тупике.

К автомобилю подошел старший сержант.

— Давай скорее, старшина, вот-вот маневровый паровоз подкатит.

Стали выгружаться. Многих, и первого Гарькавого, едва глотнули свежего воздуха, стало выворачивать. Не избежит этого и Юра Пивоваров.

3

Арестантские вагоны прицепили к поезду.

Журин лежал на верхней полке и смотрел на вокзальный перрон через маленькое, размером чуть не в ладонь, зарешеченное окошко под потолком.

По перрону бегали, кричали, суетились в панике и страхе женщины в колхозных кацавейках, напругенные мешками с городским хлебом, а также мужчины с самодельными фанерными чемоданами и «сидорами» из простых мешков. Кто-то надрывно кричал. Мальчик тоненьким голоском заморыша звал и звал исчезнувшую мать, а старушка, протягивая к кому-то высохшие руки, вопила:

— Украли! Господи! Украли, идолы! Всё — начисто! Пымай, яви милость! Господи!

После ухода пригородного поезда утихла паника. Мимо Журина замелькали шляпы и воротники из серого каракуля, офицерские потоны и шубки барынь; проплывали в окошечке раскормленные зобастые дамы и их тощие, как клистир, заезженные мужья. Шёл служилый приказной люд гигантской бюрократической машины.

Люди проходили сосредоточенные или рассеянно поглядывавшие по сторонам, но никто не останавливал взора на арестантских вагонах. Видно было, что это примелькалось, никого не удивляет и не интересует.

«Эгоисты, — думал Журин, глядя на холеные, надменные, надушенные морды. — Им-то наплевать на нашу смертную беду. Чем нам хуже, тем им лучше. Сок наших жизней взбадривает и их. Близкие, и те, небось, погорюют и забудут. «С глаз долой, сердцу легче». Может быть, даже со временем будут радоваться, что посадили. Жилплощадь освободится, вещички останутся, да и, кроме этого, в чём-нибудь желанном близкий человек всегда

мешает. Например, бабёнке легче хороводить, подол трепать, когда мужик за проволокой...»

Наконец поехали.

Больше часа мелькали за окном высокие платформы пригородных станций, пёстрые начальничьи дачи, притихшие городки. Потом под лохматым небом раскинулась русская бескрайняя ширь.

«Русь прибитая, заморенная, подтянутая, — думал Журин, взглядываясь в серенькие, дряхлые, осиротевшие деревушки, покосившиеся древние, одинокие избышки без сараев и изгородей, в вышки проносающихся мимо лагпунктов. — Русь, высохшая от ненависти и бдительности, тонкая и прозрачная от бескормизы, занузданная спрахом лагерная и колхозная Русь».

Товарищей его по пересылке и чёрному ворону сунули в другие клетки. Кругом были чужие испытые сумрачные лица, лихорадочно горящие или полухшие ввалившиеся глаза.

Впрочем, были в клетке-купе и знакомые: Черепеня, Гарькавый, Хрущёв и еще двое из их компании.

«До чего ожесточились, — думал Журин. — С каждым годом становятся всё более потерянными, обезумевшими, бесчеловечными».

Вспомнил разговор об этом на пересылке с Домбровским, старым польским социалистом. Домбровский сидел за революционную деятельность еще до революции. Был на царской каторге. Сравнивая дореволюционный уголовный мир с нынешним, Домбровский, успевший по дороге из Варшавы в Москву познакомиться с советскими блатными, говорил:

«— По сравнению с дореволюционными уголовниками — нынешние блатные даже не бешеные псы, скорее — бешеные тигры, точнее: нечто невиданное и неслыханное, о чем ни в сказке рассказать, ни пером описать не можно».

Журин лежал под потолком, в дымном чаду, задушной жаре, в застарелой мертвецкой вони. Вспоминая Лубянку, закуренных садистов, полупомешанных пришпоренных маньяков в мундирах, он чувствовал, как клокочет отравленная кровь, взвинчивая нервы, пробуждая в душе атавистические инстинкты, злобные вождения, неуёмную ненависть ко всему осточертевшему, беспощадному, терзавшему вспоротое нутро души и тела. Мучила жажда.

Он понимал теперь, из какой бездны боли подымается звериный рык блатных. Он думал, что эти люди — еще святые, когда

не бросаются на каждого встречного с разинутой кляккастой пастью и скрюченными когтистыми лапами.

«У них хорошая наследственность, — думал Журин. — Здоровые нервы и добродушие молодой крестьянской нации, впитавшей фитонциды просторов и христианское милосердие».

В проходе зажглись электрические лампочки. Черепеня начал очередную акцию ограбления политических.

Воров в купе было пять, остальных — восемнадцать, но это численное превосходство не давало ограбляемым никаких преимуществ. Были они разрознены. Каждый думал о себе, не доверял другим, каждый был индивидуумом.

Воры составляли согласованно действующий, подчинённый строжайшей дисциплине, команде главаря коллектив, готовый в любой момент убить и умереть. Ворам принадлежала агрессивная инициатива. Боялись их все: атомизированные интеллигенты и матерые чекисты. С силой нельзя не считаться. Такая сплочённая пятерка легко справлялась с ограблением и подчинением себе ста обычных атомизированных людей, поэтому акция в купе была для них увлекательным пустячком.

Четверо обыскивали и конфисковывали. Черепеня зорко наблюдал за ходом операции и развлекал аудиторию.

— Едете не к теще в гости, — нагло, свысока бросал Черепеня. — В ежовые рукавицы попадёте. Вещи у вас отнимут. Оденут в лохмотья с номерами.

— Не клеветайте! — вскипел в углу пожилой тучный человек, с узловатыми большими руками. — Это у немцев — в лагерях уничтожения, а мы — пусть и провинившиеся, но — дети своей родины; пусть блудные, но — сыны нашего отца народов.

— Труха! Прахесор, губошлёп лобастый, — уничтожающе-презрительно процедил сквозь зубы Черепеня. — Кроешь эрудицией вопросов рой, а ты сними очки-велосипед, оглянись, всмотришься, внюхайся, кабинетчик, клякса, паразит, циркуляр, темнила. Об отце и родине надо было раньше талдычить, сейчас поздно. Москва ни словам, ни слезам не верит. «Щипач», обшмойной малокровного прахесора с пристрастием.

— Я не профессор, — запротестовал «малокровный». — Я — инструментальщик, кладовщик. Вся наша семья — Шестаковы — на заводе Ильича. В «Правде» пропечатано.

— Партийный?

Шестаков замялся.

— Теперь — нет.

— Теперь — нет, — передразнил Черепеня. — Промыли моз-

ти! По пяткам били? Иль по почкам? Без разбору как партийного? Молчишь?! Вот так-то лучше. Сопи в платочек и думай, много думай. Времени у тебя мало: деревянный бушлат уже сбивают. В твоём возрасте, да с твоим брюхом, человек в лагере — не жилец. Скоро сыпраешь в ящик.

— А ты, пахан, тоже с красной книжицей? — обратился Черепеня к высокому, очень огодцавшему, заросшему сединой старику.

— Нет, я — реэмигрант.

— Ясно. На родные берёзки аппетит промеж ног поднялся. «Рассея, дожди косые» и щи пустые, мне не забыть вас никогда. Знаем. Видали. За что боролись, на то и напоролись. Покажут тебе, старик, где березки-подружки и вертлявые кукушки. Двадцать кубов «подружек» на рыло надо свалить, обрубить, разрезать, снести в штабель, сжечь сучья, чтоб пайку и глоточек тресочки отхватить.

«Тресочки-то не поешь — не пороботаешь». «Чайку-то не попьешь — откуда сила-то?» «Хлебушко оржоной с примешанной осотой и лебедой — оченко пользителен», — говаривал кореш мой. Вологодский.

— Ты! Слышь, елдаш, сухарями не шебурши, — обратился Черепеня к таджику, копавшемуся в своём мешке. — Сиди, не вертухайсь, сидор уже не твой — общественный, колхозный — наш. Сам знаешь: ваше — наше, и наше — наше. Частная собственность — это воровство. Ты лучше с мыслями соберись. Работать будешь километрами, а получать — граммами, кувалду дадут большую — на одного, а котелок — маленький — на двоих, и никому не будет дела, что курсак твой — пустой, что «сем раз ты большой», что язык костяной, что зовут «Ибрагим — работать не могим».

— Слушай, фраера, — повысил вдруг голос Черепеня, — жди терпеливо. До всех дойдет очередь. С душой работаем. Не всё изымаем.

— Что это у вас, землячки, мясца не припасено? — дружелюбно допытывался Черепеня, упиваясь, своим великодушием. — Всё сало и сухари, сухари и селедка.

— Детский вопрос, товаришок, — оговзвался кто-то со второго этажа. — Откуда быть мясу, когда бараны пишут диссертации, свиньи разъезжают на «победах», а коровы вышли замуж за офицеров.

— Э..! Да ты, батя, говорок?

— Говорок — не говорок, а на чужой проток не накинешь платок.

— Как жизнь?

— Жизнь как в сказке: налево пойдешь — пуля в затылок, направо — в пытках помрешь, прямо — в шахте доконают.

— За что сидишь?

— Ноги разные: одна — левая, другая — правая, значит — виноват.

— Ясно. Мантулил? Троцкий? Бухаринец? Право-левацкий? Хоть с чёртом, но против бати? Кто ж ты? Какой масти? Из бывших? Бытовик? Не похоже. Чую нутром, что политик ты чистой воды. Дыхало у тебя этакое парящее, а у меня нюх намётан. Может, религиозный? Опять нет.

— Русский социал-демократ я. Меншевик.

— А...а. Давно таскают?

— С перерывами — третий раз. В 1918 амнистировали. В 1936 через ОСО провернули. Теперь, после нападения на Корею, схватили и больше года под следствием мурыжили. Дали — как обычно: 58-10, 11 — 25 лет за то, что тридцать пять лет тому назад на Путиловском за меньшевиков голосовал.

— Злопамятны. Боятся. Да кого только они не боятся?

— «Щипач»! — обратился Черепеня к Гарькавому. — Верни всё бате.

— У него недозволенных включений не обнаружено, — отрапортовал Гарькавый. — Камсу всем оставляем. Хлеб — верну. Пальтишко на рыбьем меху — старенькое — оставил.

— Что ж ты, старик, отощал, без загашника?

— Как не отощать? Родные в Копейске. Меня на Лубянке держали и, конечно, никаких передач. Уверен, что родные не знают, где я, жив ли.

— Ну так с нами сейчас пойдешь. Мы в другое купе пересядем. Сыт будешь.

— Не пой-ду, — решительно отрезал меньшевик.

— Брезгуешь? Почтище тебя с нами бывали, — обиделся Черепеня. — Я в лагере три года на одной доске жил с московскими профессорами: Брагиным, Гольдштейном, Гоникманом. Многому научился. Два года с певцом Вадимом Козиным душа в душу жил. Людмилу Русланову сопровождал по лапункту, чтоб не изнасиловали. С теперешним поэтом-прихвостнем — Ярославом Смеляковым полтора года до войны на Ухте вкалывал. Дружками были. Профессора Ульяновского близко знаю — Ростислава Алек-

сандровича. С Коссиором вместе на Воркуте сидел. Сестре Бухарина покровительствовал.

— Верю, — буркнул меньшевик.

— Может, боишься, изнасилуют? Не дрефь! Свободы мне не видать, рот мне разорвать, фраером буду... По-ростовски нарастев побожусь!

— Не взъщи, останусь тут.

— Воля твоя, батя. Обижаешь. Я страсть как охоч до бывалых, учёных. Мне лагерь интереснее воли потому, что здесь на каждом шагу ярчайшие люди, а на воле — кастрированные, запуганные кролики, оболваненные эгоисты, придурики, серяки с отбитыми памерками. И над ними мастодонты, мокрушники, сосатели. Как зовут тебя, батя? Будем знакомы. Я — Олег Иванович Черепеня, по кличке — «Запридух».

— Я — Николай Денисович Кругляков.

Черепеня соскочил вниз:

— Кончили шмон, хлопцы?

— Ждём команды «Саморуба».

Через минуту, с середины вагона, послышались крики:

— Начальничек! Сажай в отдельное купе!

— Нас тут контрики развращают!

— Не хотим сидеть с фашистами! — орал «Клык».

— Пейте мою кровь, сосите с меня соки! — визжал Гарькавый.

— Начальник, нас тут политической невинности лишают! — с напускной серьёзностью выкрикивал Черепеня.

В проходе показался ефрейтор.

— Что за крик?! Вы меня не знаете, так вы меня узнаете! — пегушился он.

— Зови, ладла, старшого! — кричали хором воры.

— Акулы Уолл-Стрита нас вербуют!

— Барахла надавали, лишь бы мы в банду Рокфеллера попались!

— Проводите промеж меня воспитательную работу, а то я за себя не ручаюсь! — блажил хохочущий Хрущев.

Гвалт поднялся яростный. Воры стучали в решетки, стены, пол. Все двадцать пять глоток выли, свистели, улюлюкали в разных клетках. От шквала дохабнейшей ругани, казалось, померкли лампочки.

— Отдельное пролетарское купе! — кричал Черепеня. — Для верных сынов народа! Для блока коммунистов и беспартийных! Для авангарда прогрессивного человечества!

— Нас враги народа удушат, — вторил Хрущев, — заразят нигилизмом, в идеалисты постригут!

Старший сержант, притворно негодуя и матерясь, открыл два купе в конце вагона и перевел туда воров.

Малинин, выходя из центральной клетки, потащил с собой Пивоварова, одетого в лагерные тряпки.

— Что упираешься, сука! — кричал Малинин на Пивоварова. — С тех пор как выскочил из воров, откуда вышел весь народ, воруешь, а сидеть с фраерами хочешь?! Кровь их пить!

— Чего кобенишься, — поддержал Малинина старший сержант, отмахиваясь от лепета Пивоварова. — Топай!

Пренебрежительно он толкнул Пивоварова, и вору, улюлюкая, потащили его с собой.

4

Плотно поужинав, старшие вору забрались на среднюю полку, уселись по-турецки кружком и принялись за карты. Их обнажённые по пояс тела пестрели порнографической татуировкой и рубцами.

А внизу Сеня Гарькавый, без времени состарившийся мальчик, напевал дребезжащим альтом:

Пилим, рубим и складаем,
Всех лягавых проклинаем.
Эх, зачем нас мама родила!

Лукаво подмигивая выцветшим глазом Пивоварову, он продолжал:

На пеньки нас становили,
Раздевали и лупили.
Эх, зачем нас мама родила!

Всё промче звенела лихая песня, всё азартнее разгорался отчаянный блатной мотивчик и более осмысленными, выразительными становились грустные глаза певца.

Чтобы хоть немного отдохнуть,
Мне придётся лапу рубануть,
Коль не сдюжу — да подожду,
Не заную и не крэхну.
Жизнь наша не стоит ни шиша!

— Сеня, голубка, пропой про Воркуту, — прохрипел явно растроганный Трофимов.

— Верно, про полярный круг, про кралю, — поддержали другие, — крой, Сеня, Бога нет!

Чуть слышно, заунывно, из мглы безнадежной тоски, выплыла песня:

За полярным кругом, в стороне глухой,
 Чёрные, как уголь, ночи над землёй.
 Волчий вой метели не даёт уснуть,
 Хоть бы луч просвета в эту тьму и жуть!

Часто вспоминаю ветхое крыльцо,
 Длинные ресницы, смуглое лицо.
 Знаю, одиноко ночи ты не спишь,
 Обо мне далёком думаешь, грустишь.

За полярным кругом жизни долгой нет.
 Лютой, зимней вьюгой заметёт мой след.
 Не ищи, не мучай, не терзай себя,
 Если будет случай, вспомни про меня.

Затих вагон. Бросили карты и пригорюнились воры, а слабый, порхающий и дрожащий, как огонёк свечи, голосок метался, жаловался, тосковал:

Лишь звезда мерцает на краю ночи,
 Месяц забывает в эту глушь зайти,
 Оступевший, сломанный в пустоту бреду,
 Милая, к тебе я больше не приду.

И вдруг, сорвавшись с места, не только жестикულიруя руками, но и двигая каждым мускулом тела, Гарькавый стал иступленно навзрыд выкрикивать:

Бей! Режь! Рви! Жги!
 Дрыном гада оглуши!
 Палачу, сексоту, сосу
 Сквозь печёнку нож проткни!

Эх, пить будем
 И гулять будем!

Когда смерть придет,
Помирать будем!

Гарькавый отплясывал под рёв, пение, хлопки окружающих. Он хлопал руками по полу и по подошвам ботинок, нещадно молотил свои худенькие поджарые бока, умудрялся даже засовывать прызлые пальцы в рот для свиста. Всё его тело извивалось и тряслось. Любая цыганка позавидовала бы выразительности и неистовости его танца.

Воевали не пропали
И теперь не пропадём.
Мы фашистам в горб наклали
И чекистам накладём.

Мы на нары тра-та-та,
И под нары тра-та-та,
Но работать на сосателей
Не будем никогда.

Бей! Режь! Рви! Жги!
За мамашу отомсти!
За сестрёнок не прости!
Бей! Режь! Рви! Жги!

Наверняка ещё долго бы метались песни, агонизировали отчаянные рыдающие голоса, и к небу рвался рев страстной, долго сдерживаемой яростной мести, если бы из соседнего купе не постучали и не выкрикнули несколько раз:

— Воры, план есть! Воры! Жучки план продают.

Первым встрепенулся Черепеня:

— Где план?!

— Что за план? — спросил Трофимова Пивоваров.

— Так по-блатному гашиш зовётся.

Черепеня мигом выяснил, что в женском купе, расположенном в другом конце вагона продают гашиш. Об этом оттуда и передали по цепочке.

— Начальничек, на оправку! — закричали воры.

— Даёшь уборную!

— Всё разнесём!

— Весь вагон обгадим!

Их выпустили. Они столпились возле клетки с женщинами. Черепеня мигом получил за кирзовые сапоги кулёк гашиша.

Забрались в уборную. Пивоварову бросились в глаза скабрёзные надписи и рисунки на стенах.

— Какая гадость! — вырвалось у него.

— Это ж обычно, — пробасил Трофимов. — Всюду так: в центральном парке и в кино, в уличной забегаловке и в столичной школе. Пацаны забавляются. Помню, когда мы были огольцами, так самое страшное, что могло появиться на заборе или в уборной, это — детский загиб в пару этажей, а для теперешних детей — это будни. Теперь такое рисуют и пишут, что даже у меня искры из глаз сыпятся.

Вернувшись в купе, воры занялись курением гашиша. Трофимов подсел к Пивоварову. Покуривая говорил:

— Зелёный ты, сынок, — пропадёшь. Калякаешь, что жестокие мы. А знаешь ли, что у нас в прошлом? Лишнее ботать — не поймёшь. Никто не поймёт, кто не пережил эти бесчеловечные годы.

Трофимов затянулся подряд несколько раз. Дышал он тяжело, будто клокочущая лава сотрясала его богатырскую прудь.

— Сто подохло, а сто первый чудом выжил, но всё у него внутри, как в Хиросиме — всё выжжено. Выжил зверь с душой яростной и беспощадной, ему — убить и умереть. А ты толкуешь: жалей людей.

Лицо его побагровело и вздулось, глаза зажглись заревом злобы. Черные жилы набухли, напряглись. Он уже не говорил, а хрипло остервенело лаял.

— Что есть подлее, беспощаднее человека! Что?! — выкрикивал он. — Мы тоже — кондра, да не склизкая, боязливая, трухлявая, забитая — как вы. Мы рвём куски у фараонов, не жалея ни себя, ни их.

Слова вылетали из его черной глотки накалённые, шершавые, как бы одолевая по пути сжигающую Трофимова внутреннюю клеточную боль.

— Чекисты боятся нас и подлизываются. Считались мы социально-близкими, но, хрен им в глотку, чтоб талия не качалась. Чем крепче их бьёшь, тем больше они подлизываются. Такова порода — хорьковая, зверячья: только палку на хребте, только нож в глотке понимают...

Трофимов слабел. Заметно набухали его красные веки и под глазами лиловели мешки.

— Сердце мое уконтрапушили, гады, — пойду поваляюсь.

Трофимов полез на верхнюю полку, а к Пивоварову подсел «Клык».

Потный, воспалённый, с единственным блекло-голубым глазом, прильнул он к Пивоварову, погладил его подбородок сальной закопченной рукой и, пытаясь сюсюкать, забормотал:

— Налитой, не тронутый, не целованный касатик, свежатинка. Отощал, миллок, на казённых харчах. Так мы уважим, подкормим, чтоб задок булочкой, розовенький. Разоденем, человеком станешь. Ведь только мы, воры, — честные, благородные, настоящие люди. Прочие — скот, а скот положено резать и жрать. Вся нечисть отходит сама от нас — ссучивается, идут служить чекистам — становятся суками. Так согласен, миллок?

Ты — по-хорошему, и мы к тебе всей душой. Иль мы звери какие? Я и кореш мой, Кирюха, нас тоже матери носили. Мы б, может, тоже девок любили, а получилось — видишь как: всю жизнь в клетке. Замордовали. Затипанили.

— Эй, будка, — крикнул он, задрав голову, Мустафе, — ползи с нар. Заведение открываем.

— Ты не стесняйся, миллок, — уговаривал он ошарашенного, не верящего своим ушам Пивоварова. — Лезь наверх. Лезь, лезь, не кобенься!

«Клык» и Кирюха Малянин ухватили Пивоварова за бедра и стали запикивать его на нары.

«Клык» навалился на него всем телом, сжал горло. Железная когтистая лапа его выжимала из Пивоварова последние проблески сознания. Пивоваров извивался, колотил ногами и кричал, выл, хрипел, бился.

Крики Пивоварова услышал Журин. Стуком в решетку он вызвал конвоира и потребовал вывести Пивоварова из клетки воров. К голосу Журина присоединились Бегун, Крутляков и другие. Поднялся шум. Истерически визжала какая-то сочувствующая женщина.

Вбежавшие в вагон старший сержант и ефрейтор вырвали Пивоварова из лап насильников. Бледного, трясущегося вывели его из воровской клетки. Слёзы, крупные и горячие, как в детстве, непроизвольно текли и текли. Перед глазами плыли и растворялись оранжевые круги. Тошнило. Хотелось пить.

А воры не собирались утихомириваться. Закуренным, ошалевшим им все было нишчём.

- Начальничек! Неси водки! — орал «Клык».
- Водки! — подхватили остальные. — Талци, начальник!
- Сидишь в навозе — так не чирикай!
- Не принесёшь — разнесем всё вдребезги!
- Ты у нас на крючке — как заграничный!
- Барахло отхватил, сытая вошь, так гони водку!

Красные шальные лица пытались протиснуться через решетку. Руки, когтистые, алчные — руки убийц — тянулись к старшему сержанту. Десятки черных острых шевелящихся когтей пытались вонзиться в жертву, в мясо, в кровь, крик, хрип.

— Вод-ку! Га-ды! — скандировали вору. — Забрали бутор — гони водку! Загрызём! Продадим! Вызовем золотопогонщиков! Водку! Гадючая кровь! Потрошители! Пираты! Водку!

Конвоиры выбежали из вагона.

Вору бесновались ещё минут пятнадцать: разбили маленькие окошки под потолком, разбили лампочки. Большие окна напротив купе оставили. Побоялись студёного ноябрьского сквозняка. Потом затихли.

- Может отгремели громы? Соснём, — вздохнул Журин.
- Не верю, — отозвался Кругляков. — Что-либо затевают.

Поезд стоял на маленьком тёмном полустанке. Глухая сырая ночь проглотила мир. Даже сквозь стекло окошка чувствовал Журин холодный пронизывающий ветер, насыщенный едва уловимыми запахами лесной прели.

«Жизнь проходит мимо, — думал Журин. — Занузданные судьбой, мытаримся и мятемся, горим и исчезаем жертвоприношением безумию».

Откуда-то, из слякотных просторов вюли, послышались жалобные призывные бабьи крики:

— Тялуш! Тялуш! Где ты — сухота, погибель, задрок! Тялуш! Тялуш! Тялуш!

Под вагоном заговорили. Вероятно кто-то из железнодорожников и женщина. Оба окали по-владимирски.

— В колхозе-то хорошо: один работает — отдыхает сто, — говорила женщина.

— Поэтому-то негу хлебушка, — отозвался мужчина. — Да и откуда быть хлебу-то, или, скажем, мясу, коли скрозь в дерев-

нях не работают. Земля пустует, зоростает кустом. Что посеют, и то под снегом похерят. Силком-то мил не будешь. Ну а ты — жона секреторьята, хлебушко оржоной припасла?

— Ещё чего! — воскликнула женщина. — Курица в пнезде — яйцо в животе, а ты ужко цыплят считаешь. Боюсь, пужаюсь, вот робёнок умрёт. До врачёв далеко, а коновал-ветеринар-то надысь бает, что не его-то рукмесло...

Раздался паровозный свисток. Лязгнули буфера. Поезд тронулся. Минут через двадцать остановились у ярко освещенного вокзала станции Владимир.

Воры встрепенулись. Опять начали кричать, требовать водки, стучать в стены и решетку.

— На перроне возле поезда — вокзальные эмбешники, — доложил Журин. — Пёстрые, важные, красноголовые, как петухи.

— Дай, гляну, — засуетился Шестаков, — офицер есть?

— Есть.

— Товарищи! — заорал вдруг Шестаков. — Не слышат! Что тут делать?!

Он выхватил из кармана зубную щётку и стал тыкать ею в стекло. Оно разбилось. Шестаков приложил лицо к окошку и стал кричать:

— Товарищ майор, спасите! Режут воры! Ограбили! Спасите, товарищ майор, грабят, убивают! Спасите! Спасите! Спасите!

В вагон вошел майор из железнодорожного МГБ.

— Шта такое?!

Шестаков кинулся к решетке.

— Ограбили, гражданин начальник! Все дочиста воры забрали! Конвой их в конец вагона перевел, а вещи наши у воров солдаты взяли и жратву им принесли. Теперь воры водку требуют. Часть вещей еще цела. Отнимите, гражданин начальник!

— Так чего кричал, что убивают! — вздыбился майор. — Чего панику на станции разводять! Люди ходют — думают всамделе с вас котлеты робят.

— Начальник, ваты! — завизжали вдруг в женском купе. — Ваты! Начальник! Текётъ!

К решетке прижалась скуластая мордастая курносая бабёнка, с копной рыжих растрепанных волос и бесстыдной наглцей в глазах.

— Начальник, зайди на минутку! Зуб горит! Мочи нет! — кричала она простужённым или прокуренным мужским голо-

сом. — Начальник, конвой только малолеток мацает, а мне такой седой кряжистый бобёр, как ты, нужён!

— Начальник! Вагы! — блажили три малолетки-детдомовки, этаплируемые в колонию.

— Девчата чёрт знает чем тут занимаются, — раздался с верхней полки чей-то высокий звучный негодующий голос.

— Молчи, шалашовка! — завизжала пухленькая рыженькая девочка, с маленьким порочным и хищным личиком. — Молчи, тварь, погань, падаль, мусор! Зубом, как штыком, проткну.

— Она, гадючья кость, дитёв изводила, докторша, кивирялка. Начальник, давай воды! Селезёнка присохла! Воды! Воды! — захлебывалась криком чернявая смазливая малолетка.

— Начальник, давай снасть! Давай мужиков! — кричали другие.

— Жрать! Пить! Мужиков! — вторила скуластая блондинка. Визг, истерический, кликушеский рёв заглушили выкрики мужчин.

«Клык», Малинин, Хрущев, Мустафа, обкутившиеся гашишом, обезумевшие горланили:

— Начальник, водки! Давай, мусор, водки! Гони, падла, выпивон! Давай гашиша! Опiums! Наркоза понюхать! Баб давай, давай баб!

Руки, скрюченные и когтистые, тянулись к майору, как незадолго перед тем тянулись к старшему сержанту.

Майор заметался. Оглуший, растерянный, напутанный — пробкой выскочил он в тамбур.

— С кем связались! — набросился он на старшего сержанта. — Арестую! Стною! Мало вам казённых харчей и довольствия?!

— Товарищ майор! — взмолился старший сержант. — Матери наши в колхозе, голые, босые. Хлеба и в этом году не получили. Весной с голоду помрут. Каждую весну на тошноликах держатся из картошки, что под снегом перезимовала. Травой, корой питаются. Сестренка в эту весну померла от травы. Братишке не в чем в школу ходить. Для них взяли. Мы дружно, все солдаты. Разделили. Это ж у врагов народа, у контриков изъяли, законно.

— Подлецы! Хабарники! — кричал майор. — У врагов взятки брать! Не умеете концы прятать, так не беритесь!

Вагон стал медленно двигаться. Старший сержант выпихнул из тамбура двух своих товарищей, захлопнул дверь и выхватил из напрудного кармана пачку денег.

— Товарищ майор, здесь шестьсот двадцать. Это всё, что получили. Возьмите! Пожалейте! Не губите! Товарищ майор!

Майор обмяк. Раздувшиеся жирные щеки опали. Он взял деньги, сунул в карман и прыгнул с подножки.

— Смотри, чтоб в последний раз! — погрозил он пальцем.

Поезд всё глубже зарывался в скифскую чужд. Хмурые вековые ели бежали с обеих сторон вагона. Постепенно затихали возбужденные голоса. Люди разулись. Портяночная одурь рефлексивно вызвала ко сну. То тут, то там слышались уже хрип и храп, бормотание и тревожные выкрики сонных. Ночь косила утомлённых, перегоревших людей, ночь, насыщенная тревогой и кошмарами предчувствий.

В проходе, возле женской клетки, появился солдат.

— Солдастик, касатик! — зашептала одна из малолеток. — Подойди, голубок...

Солдат не подходил к решетке. Он облокотился на наружную стенку вагона и неуклюже отбрюхивался:

— Знаем вашу сестру. Небось навару полпуда и вшей чувал. На лекарства разоришься.

— Что ты, касатик. С кем дело имаешь! Что я — воровайка, лахудра какая? Я, как есть, с депдома, крестьянская дочь. Родителей моих куда-то заслали. И вон у той, чернявенькой, что рот разинула, сопит, похоже родители в Туркестане. Гречанка она. Увёз её оттуда из спецпосёлка офицер — потаехой — соблазнил четырнадцатилетнюю. Побаловался и бросил. Её сейчас же за побег со спецпосёлка запечатали. Свеженькая, как ягода. Мы — девчата чистые, только вот беспокойная я, успокой ты меня. Выпусти на оправку.

— Давай я гречанку выведу, — предложил солдат.

— Шалишь, первая я.

Солдат вышел из вагона. Минут через пять он вернулся в сопровождении старшего сержанта. Осторожно, на носках, прошли они вдоль клеток, убедились, что все спят, и потом только отперли женскую клетку.

Сначала сходил рыженькая вострушка. Через полчаса она разбудила чернёнькую, а сама свалилась на её место в изнеможении. Когда вернулась третья, она залезла наверх, растормошила высокую стройную брюнетку лет двадцати пяти, ту, что кричала майору о малолетках, и сказала:

— Слышишь ты, докторша, конвой сказал, чтоб ты вышла

зараз до них. Вон дверь солдат держит открытой. Не пойдешь, пустят тебя под воров. Ясно?

— Уйди, гадость, — отрезала женщина. — Не доросли твои мышьиные жеребчики до меня. Брысь!

— Ну и сохни, стерва. Мужики, ведь. Они сейчас на вес золота. Нету мужиков. Хотя за телеграфный столб замуж выходи.

Она соскочила вниз и заверещала вполголоса:

Мы глотали всё на свете,
Кроме шила и гвоздя,
Шило дома позабыли,
А гвоздь глотать нельзя.

В порыве экзальтации, выставив руки, она затряслась по-цыгански, выставила в сторону солдата толстый задок, будто выговаривающий что-то бесконечно бесстыдное и похотливое.

Пили, жрали не пропали,
Жрём и пьём — не пропадём.
Лягашей к чертям послали
И начальников пошлём.

Эх! Эх! Эх! Эх!
Отпусти мне грех.
Не отпустишь, барбос,
Откушу тебе нос.
Эх! Эх! Эх! Эх!

— Заткнись, мурло, — окрысилась скуластая блондинка. — На блевоту гянет.

— Есть заткнись! — залилась серебристым смехом девчонка, торжествуя, ликуя, что удалось под носом этой матёрой похотливой фурии незаметно отведать запретного.

— Будет он долго носить след моих зубов, — шептала она засыпая. — Острые, жадные, злые у меня зубы. Так бы и перекусила хрящик...

СВЕТ В НОЧИ

(Опыт медленного чтения)

В тот же вечер Разумихин успел вниманием и заботами окончательно обрести доверие и Дуни и Пульхерии Александровны. Встревоженные рассказами Настасьи и обмороком Раскольникова, они рады были найти опору в расторопном и простодушном молодом человеке. А Лужин, сославшись на неотложные дела, не явился даже к приходу поезда на вокзал, чтобы встретить свою невесту с ее матерью. Он только заблаговременно приискал для них, по его словам, «две весьма и весьма чистенькие комнатки» в нумерах. Однако Разумихин отозвался об этих нумерах несколько в ином духе: «Скверность ужаснейшая: грязь, вонь, да и подозрительное место; штуки случались; да и чёрт знает, кто не живет!.. Я и сам-то заходил по скандальному случаю. Дешево, впрочем».

Делец и скряга Лужин, как видно, с дамами не стеснялся. Он письменно известил Пульхерию Александровну, что придет повидать ее и Дуню на следующий день по их приезде, в восемь часов вечера, причем настоятельно требовал, чтобы «при общем свидании нашем Родион Романович уже не присутствовал». К этому он бесцеремонно добавлял своим канцелярским слогом: «Имею честь при сем заранее предупредить, что если, вопреки просьбе, встречу Родиона Романовича, то принужден буду немедленно удалиться, и тогда пеняйте уже на себя». Лужин не сознавал, что сам же разрушает свои расчеты и намерения. Дуня, с ее красотой, была нужна ему для представительства в делах. Но как истинный парвеню он не понимал, что рубит дерево не по себе, и потому за изысканными выражениями не гонялся. Не понял он этого и после разрыва с Дуней, приписывая такую неудачу своей неуместно проявленной скупости. «И с чего, чёрт возьми, я так ожидал?» — сетовал он про себя. — «Тут даже и расчета никакого не было!

Я думал их в черном теле попридержать и довести их, чтоб они на меня как на Провидение смотрели, а они вон!.. Тьфу!..»

Жениховские мечтания Лужина не сбылись, рушились все его комбинации, и он ушел, как выразился про него однажды Разумихин, «хвост поджав». Это беглое замечание о поджатом хвосте, сделанное будто невзначай, обнаруживает в Лужине, казалось бы столь плотно осевшим на земле, причастность к злой мистике. В лице этого мещанина, скопившего деньжата, отступает от Дуни некое подобие хвостатого исчадия, порожденное ее непомерной гордыней. Можно было бы, конечно, принять Лужина, со всеми его потрохами, лишь за преуспевшего дельца-самодура, почуявшего свою подлую буржуазную силу. Но Достоевский недаром противопоставляет его социалистически настроенному Лебезятникову. От такого противопоставления душевно-телесная фигура Лужина дорастает до злодуховности, превращается в символ преховной идеи капитализма, неминуемо выдвигающей из себя свое противоположение — не менее преховную идею социализма в облике бледного мечтателя Лебезятникова, глуповатого и подслеповатого, как и полагается русскому социалисту, не догадавшемуся стать большевиком.

Пребывая во взаимном отрицании, противоположности соприкасаются друг с другом. Именно поэтому Лебезятников оказывается в прошлом воспитанником Лужина, а жизненные обстоятельства слагаются так, что представитель капиталистической идеи временно поселяется у представителя идеи социалистической. Оба они питомцы невежественных и весьма напористых русских шестидесятых годов прошлого века. С тревогой следил Достоевский за неуклонным ростом мещанства, тогда еще только пересаженного в Россию с Запада, с помощью наших разночинцев. В это непрясленное, смутное время наносные идеи и идейки всяческого рода так и киштели наподобие червей в заплюснувшейся ране. А по столичным чердакам и подпольям назревали в головах уединившихся особей злостные теории и кровавые замыслы. Зоркие глаза Достоевского различали еле обозначившиеся зачатки того, что на суконном жаргоне наших дней именуется фашизмом и большевизмом. Русское нищезанство до Ницше заранее обрекалось на полнейшее оплошление. Статейка Раскольникова, разрешающая проливать кровь по совести, становилась, вопреки намерениям ее автора, оправданием лужиных. Раскольникову, хоть и поздно, но дано было понять, куда ведет и к чему в итоге причалит его несчастная теория. Оттого и говорит он Лужину прямо в лицо, что стбит только довести до конца лужинские приобретательские рас-

суждения, как и выйдет, что людей можно резать. Идея и кровавая практика Раскольникова целиком вырастают из его времени, когда только что вылупившиеся из змеиного яичка передовые нигилисты еще начерно разыгрывали репетицию лихого праздничка, которым полвека спустя с таким самоупоением потешили себя русские люди. Ныне легко установить прямую зависимость того, что творится в России, от писаний и деяний чернышевских и добролюбовых, от тогдашних зашифрованных и явных богохульств и кощунств, варварских гонений на искусство и «идейных» покушений на чужое достояние. Преступные презы существ, ушедших в подполье и уединившихся на чердаках, проникали сквозь стены на улицу, причудливо и нелепо сочетались там с повседневными обывательскими вожделениями и плодили в печати лакейские диссертации. Не царская цензура, бессмысленная и беспомощная, распорядилась «в сие комическое время», но свирепствовала властная цензура — интеллигентская и нигилистическая. И если прав поэт, утверждая, что «страшна условий жизни сила, стеной обычай стоят», то стократ ужаснее подтачивающая эти условия и обычаи безбожная и беспощадная крамола. Достоевский искал и для себя и для других спасение в искусстве и религии, освящающих и смягчающих давление на человеческую личность патриархальной государственной власти. А истинную роль государства лучше всех определил Владимир Соловьев, сказав, что оно существует вовсе не для того, чтобы приводить людей в рай, но лишь для того, чтобы *насильственно* удержать их от преждевременного ада. Глубочайшую правду этих слов мы, русские, познали на себе после того, как уничтожили наше государство и попали при жизни в ад на земле.

С конца пятидесятых годов прошлого века подпольные герои перешли в наступление, и царское правительство сразу же показало свою неспособность вступить с ними в разумную борьбу. Достоевский, сам в свое время пройдя через подполье, знал его законы и видел бессилие слепой государственной власти, «машущей дубинкой в темноте и бьющей по своим».

Спешу заметить, что я высказываю здесь не мои соображения, в данном случае никому не интересные, но говорю крайне сжато как бы от лица самого Достоевского. Он вернулся из ссылки в 1859 году и тотчас постиг изнутри всё происходившее тогда в недрах российской столицы. Давно задуманная им книга о человеке, свершающим, ради собственной теории, кровавое преступление, могла теперь осуществиться, опираясь на действитель-

ность и беспредельно ее углубляя. Тогда же назревали в творческой душе Достоевского основы романа «Бесы».

Теории и практике Раскольникова было на что опереться. Его преступление определяет собою сущность так называемого «освободительного движения», приведшего русский народ к невиданному и неслыханному рабству. Под «освободительным движением» я разумею, конечно, не благотворные реформы, проводимые сверху правительством императора Александра II, но настроения и деяния общественные, их подспудную суть, о которой говорит в «Преступлении и наказании»следователь Порфирий Петрович, обращаясь к Раскольникову и характеризуя его преступление: «Нет, батюшка, Родин Романович, тут не Миколка! Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое; когда цитируется фраза, что кровь «освежает»; когда вся жизнь проповедывается в комфорте. Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце».

Тут, прибавлю от себя, весь Раскольников, весь Лужин, весь недалекий сонный Зосимов, в добротном костюме, с готовыми, чужими мнениями в голове и порошками в кармане, исцеляющими от всех духовных бед; тут подпольная злоба чернышевских и, еще Белинским благоговейно упоминавшаяся, — «мать пресвятая пильотина». Тут русский большевизм и мещанское измельчание Европы. Чего стоит упоминание о книжных мечтах и теоретически раздраженных сердцах! Разве в этом не вся история русских образованных людей из разночинцев, «русских мальчиков», по определению Достоевского, непременно прогрессивно настроенных? Идеиное преступление Раскольникова Достоевский называет фантастическим, мрачным, в пророческом предвидении идей и деяний нынешних кремлевских властителей.

Писания французских энциклопедистов, в преломлении русского «освободительного движения», порождают теорию и практику Раскольникова — малое зерно, из которого вырос черный российский Анчар. О мистическом зле, помрачившем умы и сердца, говорится в «Преступлении и наказании». Мистика зла управляет помыслами Раскольникова, и злой дух невидимо стоит за плечами идеиною убийцы. Сам Раскольников постоянно чувствует близкое присутствие кого-то потустороннего и, ища уединения, всегда ощущает, что он не один.

«Если б возможно было уйти куда-нибудь, — говорит Достоевский, — и остаться совсем одному, хотя бы на всю жизнь, то он почел бы себя счастливым. Но дело в том, что он в последнее вре-

мя хоть и всегда был один, никак не мог почувствовать, что он один. Случалось ему уходить за город, выходить на большую дорогу, даже раз он вышел в какую-то рощу; но чем уединеннее было место, тем сильнее он сознавал как будто что-то близкое и тревожное присутствие, не то что бы страшное, а как-то уж очень досаждающее, так что поскорее возвращался в город, смешивался с толпою, входил в трактиры, в распивочные, шел на Толкучий, на Сенную. Здесь было как будто бы легче и уединеннее».

Итак, чем дальше от людей, тем ближе к темной силе. Лишь пребывание среди людей пробуждает в преступнике какую-то надежду, хотя бы на отдаленную возможность избавиться от одержимости, снова найти свое утраченное «Я». Злой дух не является в «Преступлении и наказании» в каком-либо определенном облике, как являлся он Ставрогину и Ивану Карамазову, но его как-то уж очень досаждающее присутствие чувствует Раскольников во всем. Тень «Люциферова крыла» ложится не только на Раскольникова, но и на всю его эпоху, подготовившую то, что теперь предстало перед нами воочию.

О чем мечтали современники Раскольникова и чего они требовали? Об этом говорит Достоевский устами Разумихина: «Ну, верите ли: полной безличности требуют, и в этом самый смак находят! Как бы только самим собой не быть, как бы всего менее на себя походить! Это-то у них самым высочайшим прогрессом и считается... И хоть бы вралли-то они по-своему, а то... Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцелую. Соврать по-своему ведь это почти лучше, чем правда по-одному по-чужому; в первом случае ты человек, а во втором ты только что птица! Правда не уходит, а жизнь-то заколотить можно; примеры были... Понравилось чужим умом пробавляться, — ввелись!»

Мы теперь знаем, как можно заколотить жизнь и обезличить миллионы человеческих существ не только кровавым насилием, но и под прикрытием формальных «свобод», проповедуя равенство и братство в царстве всеобщего мещанства. Закон равенства есть закон смерти, физической и духовной. Так думал не один Достоевский, но и Константин Леонтьев — величайший провидец и мыслитель. «Преступление и наказание» создавалось в те тревожные годы, когда все сходило с основ и двигалось в неведомое. Истинно великое произведение искусства всегда отражает мегафизику своего времени, и за пролитие крови по совести, разрешенное себе Раскольниковым, отвечают все его современники.



Пульхерия Александровна и Дуня, на следующий день по прибытии в Петербург, с утра, в сопровождении Разумихина, снова отправились к Раскольникову. У него уже сидел Зосимов. «Комната разом наполнилась, но Настасья все-таки успела пройти вслед за посетителями». Эта любопытная деревенская баба, невинная в своей первобытности, была необходимой частицей первичных проявлений бытия, погрязшего Раскольниковым, но от него не отступившего.

Раскольников, по сравнению со вчерашним, был почти здоров, только очень бледен, рассеян и угрюм. «Впрочем, и это бледное и угрюмое лицо озарилось на мгновение как бы светом, когда вошли мать и сестра, но это прибавило только к выражению его, вместо прежней госкливой рассеянности, как бы более сосредоточенной муки. Свет померк скоро, но мука осталась...»

Мгновенный свет и неизбывная мука как раз и отличают Раскольникова от Петра Верховенского, погруженного безвозвратно в крошечный мрак. Мне думается, что в своей книге о Достоевском Мочульский чрезмерно поторопился приговорить Раскольникова к гибели. Ведь автор «Преступления и наказания» опирался на нечто весьма существенное, когда заповорил в эпилоге романа о возможном преобращении своего героя. Пройдя через все соблазны духовного бунта, каторгой искупил Достоевский свое смертное прегрешение. Грех Достоевского есть грех Раскольникова. Свет и мука — залог спасения падших. Но разве могла бы просветлеть, хотя бы на мгновение, физиономия Петра Верховенского, надругавшегося над собственным отцом и предавшего свое отечество? Этот идейный убийца, творящий зло ради зла, не ведает горькой муки. Он, ничуть не задумываясь, убивает беззащитного Шатова и толкает на самоубийство несчастного Кириллова, в припадке предсмертного безумия укусившего его за палец. С зловещей повязкой на пальце Верховенский преспокойно разгуливает, смеется, играет в карты. А вот Раскольников, когда пришли к нему мать и сестра, хоть и выглядел немного лучше вчерашнего, но терзался по-прежнему, и ему, — замечает Достоевский, — «не доставало какой-нибудь повязки на руке или чехла из тафты на пальце для полного сходства с человеком, у которого, например, очень больно нарываяет палец, или ушиблена рука, или что-нибудь в этом роде».

Раскольников испытывает боль от упрязней совести, боль, пусть до срока бесплодную, все же духовную. Никакими веществ-

венными знаками погибели он непосредственно не отмечен. В творчестве Достоевского материальные приметы всегда соответствуют в человеке чему-то внутреннему, имматериальному. Так черная повязка Петра Верховенского бесповоротно шельмует этого кровавого революционного изверга, эту солому, предуготовленную к сожжению в вечности.

Отторгнутый от людей Раскольников пребывает как бы вне жизни, в страшной нерешенности. Теперь он сам одинолично должен решить усилием внутренней воли, к чему склониться и к кому пойти — к Богу или дьяволу. Однако ясно: истыть в ужасающей пустоте непереносимо, немыслимо. Близкие стали далекими, и нет с ними общего языка. Слова органичны, в разговоре мы направляем эти живые организмы к собеседнику, и от него возвращаются к нам ответные волны слов — живых существ, объединяющих нас друг с другом. Но если нет общего языка, то и слова мертвы. Идеальный убийца без немоты уже нем духовно. Внешне общаясь с другими, когда-то близкими, родными, ему остается только признать свое заклятое одиночество, отторженность от всего живущего. Раскольников сам заговорил с сестрою и матерью о своей прежней влюбленности в хозяйскую дочку, девочку больную, «совсем хворую»; но тут же назвав собственное чувство бредом, добавил: «— Вот и вас... точно я из-за тысячи верст на вас смотрю... Да и чёрт знает, зачем мы об этом говорим!» Злой полет, совершенный при содействии духа глухого и немого, даром не прошел! Странно и знаменательно отвечает на это заявление Раскольникова его мать: «— Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно проб, — сказала вдруг Пульхерия Александровна, прерывая тягостное молчание; — я уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик.

— Квартира? — отвечал он рассеянно. — Да, квартира много способствовала... я об этом тоже думал. А если б вы знали, однако, какую вы странную мысль сейчас сказали, маменька, — прибавил он вдруг, странно усмехнувшись». (Подчеркнуто мною. — Г. М.)

Иные из персонажей Достоевского если и не постигают вполне, то все же чувствуют роковую мистику вещей, зданий, комнат. Конечно, не квартира, похожая на проб, привела Раскольникова к преступным замыслам, но давняя гордыня, предуготовившая эти замыслы, вселила будущего убийцу в комнату, отражающую собою его злодурное состояние и сущность его злодеяния. До конца ли понимал Раскольников то, что хотел высказать, или нет, но его странная усмешка полностью соответствовала странной мысли

Пульхерии Александровны. От таких усмешек и мыслей у чрезмерно впечатлительного человека волосы на голове зашевелились могут.

Раскольникову казалось, что он совсем проваливается в собственную опустошенность. «Еще немного, — говорит Достоевский, — и это общество, эти родные, после трехлетней разлуки, этот родственный тон разговора при полной невозможности хоть об чем-нибудь говорить, — стали бы наконец ему решительно невыносимы. Было однако ж одно неотлагательное дело, которое так или этак, а надо было решить сегодня, — так решил он еще давеча, когда проснулся. Теперь он обрадовался *делу*, как выходу». (Подчеркнуто Достоевским. — Г. М.)

Он хотел настоять на своем и немедленно добиться от Дуни согласия на ее разрыв с Лужиным. Почему Раскольников желал этого? Прежде всего потому, что смутно чувствовал свою метафизическую вину перед сестрою: не было бы его давнишних злых помыслов и его духовного бунта, не повстречалась бы тогда Дуня ни с Лужиным, ни со Свидригайловым. Ведь недаром заветная идея Раскольникова убийственно совпадала в чем-то весьма существенном с приобретательскими рассуждениями Лужина. А Свидригайлов сам, при первой же встрече с Раскольниковым, говорит ему: «ну, не правду ли я сказал, что мы одного поля ягоды!» И еще: «ну, не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а?»

В центре развивающихся событий находится Раскольников — взорванный прехом Адам, все же остальные персонажи — его осколки, его эманации, метафизически хоть от него и зависящие, однако имеющие вполне самостоятельное земное бытие, за исключением следователя Порфирия Петровича, о котором речь будет впереди.

Я уже говорил, что Лужин и Свидригайлов — двойники Раскольникова; первый — по части совершенно наглядного опощления и без того коротенькой Родиной идеей, а второй — по неизмеримо более глубоким причинам. Свидригайлов — это распадное существо, каким может стать Раскольников, если не покается и не примет добровольно искупительного страдания. Раскольников, при видимом оттолкновении от Свидригайлова, на самом деле к нему влечется в надежде найти в нем оправдание своему злодеянию.

Поколебать Дуню в ее решении выйти замуж за Лужина оказалось не трудно: грубого письма своего жениха она не забыла, но самолюбие побуждало ее защищаться от нападок брата. Произош-

ло столкновение двух глубоко родственных, одинаково гордых характеров. Брат хорошо понимал сестру и думал: «Гордячка! Сознайся не хочет, что хочет благодетельствовать!.. Высокомерие! О, низкие характеры! Они и любят точно ненавидят... О, как я... ненавижу их всех!»

Любовь как ненависть — вот что владеет стремлениями непомерно гордых существ. Раскольников разгадал сестру, совсем не замечая, что тем самым невольно определял себя. Но Дуню изобличал он с жестокой ясностью: «Ты лжешь, сестра... Ты не можешь уважать Лужина: я видел его и говорил с ним. Стало быть, продаешь себя за деньги и, стало быть, во всяком случае поступаешь низко...» Возможный брак Дуни с Лужиным он справедливо рассматривал как особый вид проституции, несравнимо более прехвальной, чем уличное ремесло несчастной, жертвенной Софии. Он знал, что сестра продает себя отчасти, если не главным образом, ради него, и что в глубине глубин он сам привел ее к этому. Теперь же, совершив свое преступление, он утратил всякое право что-либо от нее требовать. Но обычно нами незамечаемая тайная последовательность жизни внезапно напомнила ему об этом. В пылу столкновения и спора Дуня невольно задела лютую занозу, она крикнула ему, защищаясь: «Если я погублю кого, так только себя одну... Я еще никого не зарезала!»

Она никогда не могла бы объяснить себе, как и почему произнесла эти страшные для Раскольникова слова. Пренебрегаемая нами мудрость жизни движется по своим законам, и тайное часто становится явным не потому, что кто-либо из нас того захотел, а так, само собою, в силу божественной правды, присущей глубинам бытия.

Дуня тотчас заметила, какое впечатление произвели ее слова на брата. «Что ты так смотришь на меня? Что ты так побледнел?.. Родя, милый!» — воскликнула она. Но уже иная боль проникла в него: он снова почувствовал свою оторванность от всего происходящего вокруг, свою непричастность к жизни: «—...да из чего я так хлопочу? Из чего весь крик? Да выходи за кого хочешь!» — сказал он вдруг. Однако письмо Лужина, боязливо переданное ему по требованию Дуни Пульхерией Александровной, он развернул, внимательно прочел два раза и отметил там выражение, по его словам, знаменательное: «пеняйте на себя». Кроме угрозы покинуть Дуню с Пульхерией Александровной на произвол судьбы, письмо Лужина содержало еще и клевету на Раскольникова, якобы выдавшего вчера до двадцати пяти рублей денег не Катерине Ивановне, как то происходило на самом деле, а девице «отъявлен-

ного поведения», дочери разбитого лошаадьми пьяницы». Цель такой «довольно подленькой» клеветы была ясна: надо было подмазать Раскольникову в глазах его сестры и матери. Участь жениха юпределилась, и семейное совещание постановило, что Раскольников будет присутствовать вечером при свидании Лужина с Дуной и Пульхерией Александровной.

«В эту минуту дверь тихо отворилась, и в комнату, робко озираясь, вошла одна девушка... Это была Софья Семеновна Мармеладова». Раскольников не узнал ее. Вчера он видел ее в другой обстановке, и в таком костюме, что в памяти его отразился образ совсем другого лица. Теперь на ней было очень простенькое домашнее платьице. Раскольников смутился. Он вспомнил, что еще ничего не успел возразить на слова Лужина о «девице отъявленного поведения». «Он еще за минуту до того сказал, что видел ее вчера в первый раз, и вдруг она входит сама». Но когда он пристальнее взглянул на Соню, то увидел, что перед ним приниженно стоит существо и без того уже приниженное. «Когда же она сделала было движение убежать от страху, — в нем что-то как бы перевернулось».

Здесь невольно рождается мысль: так ли безнадежно губельны для человека его преступления, как кажется нам со стороны при безразличном, безлюбовном отношении к нему? Ничего не прощая ближнему, мы склонны преуменьшать тяжесть наших собственных прегрешений, и это потому, прежде всего, что очень мы себялюбивы, но еще и потому, что каждый из нас все же лучше разбирается в себе, чем в другом. Заглядывая в собственную глубь, я вижу черноту моих прехов, но за их смрадом и мраком различаю в себе Образ Божий. Он ли не в силах разогнать преховные призраки, если сохранилась во мне сердечная способность пожалеть удрученного несчастьем человека?

Что же такое перевернулось в Раскольникове, когда пронзила его жалость к Соне? То неподвижный доголе страшный груз его кровавого преступления зашевелился в нем. Внезапное шевеление мертвой тяжести могло бы напомнить убийце, что всех пожалевший Христос Сам воскрес и воскресил умершего Лазаря. Но тогда не подумал об этом Раскольников, и лишь позднее привело его Провидение в комнату Сони и склонило его голову над Евангелием Лизаветы. Нет, не совсем еще надвинулся неумолимый рок на преданного духовному бунту безумца!

Соня пришла поблагодарить Раскольникову за те двадцать пять рублей, которые он дал вчера Катерине Ивановне, и пригласить его в церковь на панихиду, а потом на поминки. Адрес его

она получила от Поленьки. «Между разговором Раскольников пристально ее разглядывал... Ее даже нельзя было назвать и хорошенькою, но зато голубые глаза ее были такие ясные, и, когда оживлялись они, выражение лица ее становилось такое доброе и простодушное...» К этому Достоевский добавляет: «В лице ее, да и во всей фигуре, была сверх того одна особенная характерная черта: несмотря на свои восемнадцать лет, она казалась почти еще девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти ребенком, и это иногда даже смешно проявлялось в некоторых ее движениях». Потому она выглядела почти девочкой, что порочное начало не успело, да и не могло бы проникнуть в нее глубоко.

На вопрос Раскольникова, как обошлась Катерина Ивановна с такими малыми средствами, Соня ответила, что «Гроб ведь простой будет, и всё будет просто, так что не дорого...» И вот тутчас вслед за этим ответом произошло неожиданно нечто потрясающе значительное, выраженное Достоевским мельком, на ходу, что так для него характерно, и что всегда заставляет внимательного читателя напряженно выслеживать каждое его слово, каждый вопрос и ответ, с виду кажущиеся неважными. Упоминание Сони о гробе Мармеладова пробудило в Раскольникове особое ощущение: он вспомнил слова мапери, только что до того сказанные о его комнате, и, для самого себя неожиданно спросил Соню: — «Что это вы мою комнату разглядываете? Вот маменька говорит тоже, что на гроб похожа.

— Вы нам всё вчера отдали! — проговорила вдруг в ответ Сонечка, каким-то сильным и скорым шопотом, вдруг опять сильно потупившись. Губы и подбородок ее опять запрыгали. Она давно уже поражена была бедною обстановкой Раскольникова, и теперь слова эти вдруг вырвались сами собой. Последовало молчание. Глаза Дуनेчки как-то прояснели, а Пульхерия Александровна даже приветливо посмотрела на Соню».

Наружный смысл всей этой маленькой сцены вполне ясен. Но одному Достоевскому дано как художнику замечать мимолетное событие сразу же во всей его многопланности. Да, конечно, Соню поразило, как мог человек, проживая в такой каморке, отдать все свои деньги совершенно чужой семье. А горячо выраженная Соней благодарность не могла не тронуть Дуни и Пульхерии Александровны. И в наступившем молчании пролетел тихий ангел. Но всегда ли до конца постигаем мы смысл наших собственных слов? Не имеют ли они часто, очень часто ни нами, ни другими незамечаемого значения? По Тютчеву, «земная жизнь кругом объята снами», и мы сами говорим и действуем будто во сне, не чуя как

проходят через нас некие силы, идущие от инопланетных нам существ. Вот и в ответе Сони содержится, по крайней мере, два значения, из которых одно, самое глубокое, ни до кого не дошло и дойти не могло. Устами ничего не сознававшей Сони ответила Раскольникову мудрость бытия: да, твоя комната похожа на гроб, она отражает твой смертный грех, но ты все же пришел на помощь чужим тебе людям в беде. В этом залог твоего возможного спасения. Быть может, от всего этого пахнет прописною истиной, но у Достоевского прописное чудом превращается в живое, как сама жизнь, как одиннадцатая заповедь, завещанная нам Евангелием.

Пульхерия Александровна с Дуней собрались уходить, приглашая Раскольникова и Разумихина придти позднее к обеду. Зосимов, простившись со всеми, уже давно ушел. Когда Дуня, повторяя приглашение матери, попросила Разумихина «пожалуйста» придти к ним обедать, он «весь засиял».

«На одно мгновение все как-то странно вдруг законфузились». По Достоевскому, каждый из нас определяет свою собственную судьбу. Она подготавливается человеком в тайных недрах его души и лишь в очень малой доле сознательно. От сложнейших пересечений и сочетаний наших мечтаний, вожделений, стремлений образуются многообразные токи, излучения, отражения, и, когда мы, повстречавшись друг с другом, сообщая доходим до чего-то тайно в нас назревшего, готового проступить наружу, стать событием, происшествием, то на минуту мы как бы теряемся, не сознавая, но чувствуя важность приближающегося перелома. Обреченное Дуней «пожалуйста» невидимо навсегда связало ее с Разумихиным. В семью Раскольниковых окончательно вошла мужественная спасительная сила.

Дуня, проходя мимо Сони, «откланялась ей внимательным, вежливым и полным поклоном. Сонечка смутилась... и какое-то даже болезненное ощущение отразилось в лице ее, как будто вежливость и внимание Авдотьи Романовны были ей тягостны и мучительны». Соня преувеличенно чувствовала свою недостойность, что очень редко случается со всеми нами. А Раскольников, с неожиданной лаской проводивший мать и сестру, «был отчего-то счастлив». Дуня ушла за матерью «тоже почему-то вся счастливая». Почему же? Все «бессознательно знали» сердцем, что с приходом Сони готовится в их жизни нечто безмерно важное и благодатное. Пульхерия Александровна первая, материнским чутьем, каким-то инстинктом, смутно выразила это в беспомощных словах. Идя с Дуней по улице, она вдруг сказала: «—...Этой девицы я тоже очень боюсь... — Какой девицы, маменька? — Да вот

этой, Софьи-то Семеновны, что сейчас была... — Чего же? — Предчувствие у меня такое, Дуня. Ну, веришь или нет, как вошла она, я в ту же минуту и подумала, что тут-то вот и главное-то и сидит... — ...а я уверена, что она... прекрасная... — сказала Дуня. — «Дай ей Бог!» — ответила мать. — «А Петр Петрович негодный сплетник, — вдруг отрезала Дунечка».

Один из бесов, правда, не чиновных, выпадал из игры. Между тем Раскольников, проводив мать и сестру, возвратился к себе. «— Ну вот и славно! — сказал он Соне., ясно посмотрев на нее, — упокой Господь мертвых, а живым еще жить! так ли? так ли? ведь так?»

В эту светлую минуту он несомненно подумал о Мармеладове, но не мог не вспомнить и убитой им простовищцы. Он и ей пожелал заprobного покоя, уже не злобно насмешливо, как прошлой ночью, стоя на мосту. От доброго порыва, порожденного в нем присутствием Сони, вспыхнул луч, озарил покойного Мармеладова и скользнул отраженным светом по убитой старухе. «Соня даже с удивлением смотрела на внезапно просветлевшее лицо его; он несколько мгновений молча и пристально в нее вглядывался: весь рассказ о ней покойника отца ее пронесся в эту минуту вдруг в его памяти...» Так вспыхнувший луч, осветив на мгновение некую заprobную область, снова вернулся к Соне, возжегшей его в сердце Раскольникова. Теперь Соня духовно навсегда входила в семью Раскольниковых, становясь тем самым сестрой во Христе Разумихина. Борьба светлого воинства с бесовским полчищем с новой силой разгоралась в душе идейного убийцы. Дух глухой и немой, в лице своего посредника, поджидал Раскольникова у дома на улице.

Соня заторопилась, откланиваясь и обещая передать Катерине Ивановне, что приглашение на поминки принято. Но Раскольников попросил Соню подождать и поспешно обратился к Разумихину. Он решил сам явиться к судебному следователю как закладчик, не дожидаясь официального приглашения, и хотел предложить Разумихину присутствовать при разговоре с Порфирием Петровичем. Раскольников, стараясь обосновать свою просьбу как можно естественнее, сказал, что хотя заклады его «так, дрянцо», всё же это отцовские серебряные часы и сестрино колечко, которыми мать и сестра чрезвычайно дорожат как семейными реликвиями. Разумихин очень обрадовался просьбе. Он давно сердился на Порфирия Петровича, почти явно подозревавшего Раскольникова, и досадовал, что даже Заметов, одумавшись, снова вернулся к своим подозрениям.

Раскольников обещал Соне сегодня же к ней зайти и спросил, где она живет. «А я об вас еще от покойника тогда же слышала»... — вдруг сказала Соня. Итак, Мармеладов успел рассказать ей о своей встрече с Раскольниковым в распивочной. Жизнь, как всегда, невидимо порождала завязи будущих событий, подготавливала к проявлению вовне всё, уже свершившееся в душевных глубинах. Внутренний свиток разворачивался, поступая наружу. Состоявшиеся внутри отпечатки обращались в явь. А она настанет лишь тогда, когда есть чему проявиться.

Выйдя на улицу, Раскольников и Разумихин простились с Соней и направились прямо к судебному следователю. Соня «пошла погулять, торопясь, чтобы поскорей как-нибудь уйти у них из виду»... Слишком во многом надо было ей теперь разобраться, и она стремилась «остаться наконец одной, и там, идя, спеша, ни на кого не глядя, ничего не замечая, думать, вспоминать, соображать каждое слово, каждое обстоятельство. Никогда, никогда она не ощущала ничего подобного. Целый новый мир неведомо и смутно сошел в ее душу».

Она была влюблена, и уже беспредельное всеохватывающее чувство любви проникало в нее.

Не легко было Пушкину создавать свою Мадонну — «чистейшей прелести чистейший образец», в глуши степных селений возросший цветок — влюбленную Татьяну, девушку, с самого рождения опражденную от тлетворного дыхания городов полями и лесами, наивным патриархальным бытом. Но стократ было труднее Достоевскому, сокрушая лицемерные устои общепринятой морали, пворить духовный лик влюбленной и любящей проститутки. Что влекло Достоевского к таким задачам четвертого измерения, постигаемым только шестым чувством? Влекло его к этому то, что испытал и увидел он, стоя у смертного столба. Тогда, под барабанный бой и чтение смертного приговора, родился в мир небывалый младенец, возросший потом духовным своим телом на каторге, познавший на себе, что подлинная, истинная свобода возможна и в цепях, что в самом страшном злодее горит, не погасая, искра Божья, способная разгореться внезапно. С того навеки для него памятного дня только то и делал ветхий во грехах Достоевский, что прислушивался в себе к новому человеку, к движениям и порывам его духовного тела. Этот новый человек в Достоевском был христианином. Христос принял Марию Магдалину и отверг фарисеев. В подражание Ему, Достоевский превознес Соню Мармеладову и отвернулся от «порядочных господ», не отличимых для

него от лужиных. Он показал нам чудо в глубине души человека, ждущее от нас своего осуществления наяву.

Соня шла, глубоко подрузившись в себя. «Она припомнила вдруг, что Раскольников сам хотел к ней сегодня зайти, может, еще утром, может, сейчас!»

— Только уж не сегодня, пожалуйста не сегодня! — бормотала она с замиранием сердца, точно кого-то упрасывая, как ребенок в испуге. — Господи! Ко мне... в эту комнату... он увидит... о, Господи!»

Она не знала и не могла знать, что ее комната уже есть неотъемлемая от Раскольникова, священная часть его души. И не только потому, что там лежало на комодке Евангелие Лизаветы, ожидающее его прихода, но и потому еще, что там жил Богом ему ниспосланный ангел Хранитель — полюбившая идейного убийцу проститутка Соня. Неукротимое разрастание древа жизни невероятно и чудесно. Оно никак не считается с придуманной людьми моралью. Не моральными правилами создается жизнь, но великим запасом любви и милосердия в сердцах людей, в природе и во вселенной. Типрица, готовая пожертвовать собою ради своих детенышей, движима не моралью, она их любит, и это всё! А Дух дышит, где хочет.

Соня снимала комнату у некоего портного Капернаумова, косноязычного и хромого; его жена также была косноязычна. У них было семь человек детей. Старший, по словам Сони, заикался, а другие — просто больные...

Это смиренное убожество, эта евангельская фамилия щемят сердце и отражают собою жалкую приниженность и затаненное смирение Сони. Она не могла не очудиться в тесном соседстве с Капернаумовыми и именно в такой комнате, в какой она теперь жила.

Когда Достоевский сосредотачивает всё свое внимание на вещах, домах и квартирах, старательно и точно отражая их сущность, надо следить за малейшей деталью в описаниях, столь у него редких и скудных. Жилище Сони Достоевский описывает подробно потому, что оно не только снимок ее преховности, ее искаженного существования и душевных страданий, но еще и часть души Раскольникова, судьба которого теперь в Сониных руках. Правильно сказано у Бердяева, что женщины в творчестве Достоевского не имеют собственной судьбы, но зато, определяют собою судьбу мужчин и в ней, замечу от себя, как бы растворяются.

Комната Сони, говорит Достоевский, «была большая., но чрезвычайно низкая, единственная, отдававшаяся от Капернау-

мовых, запертая дверь. к которым находилась в стене слева. На противоположной стороне, в стене справа, была еще другая дверь, всегда запертая наглухо. Там уже была другая, соседняя квартира, под другим номером. Сониная комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходявшая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был уже слишком безобразно тупой... поблизости от острого угла, стоял небольшой простого дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте... Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам; должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой».

Какая печаль, какая мерзость запустенья! И этот комод, стоящий как бы на грани небытия вблизи от ужасного острого угла, убегающего куда-то вглубь! Кажется, вот еще один шаг и упадешь в мир полусторонних теней; отшапнись назад и очутишься в другом безобразно тупом углу, в его безысходности, отражающей Сонину душу, зашедшую в тупик. Но там, где Соня, там и Раскольников — ему также нет выхода. Соню привела в это серое жилище ее треховная жертвенность. Такая жертвенность неминуемо порождает встречу Сони с преступной гордыней, с носителем темной надменности — Раскольниковым.

Попружаясь в глубину всех вещей, положений и состояний, начинаешь постигать нечто совершенно поразительное, картезианскому рассудку недоступное: то, что Соня живет в своем сером углу, и есть ее метафизически уже состоявшаяся задолго до осуществления наяву встреча с Раскольниковым. Поселившись здесь, Соня, тем самым, проникла в душу идейного убийцы и навсегда осталась в ней. Сониная комната это отразившаяся вовне часть души Раскольникова. Другая часть его расколотой души находилась справа за дверью, всегда запертой наглухо. Стол и кровать Сони стояли у стены близко от этой двери. За стеною располагалась квартира некоей мадам Реслих, Гертруды Карловны, весьма почтенной сводни. Комната этой квартиры, находившаяся непосредственно за Сониной стеною, оставалась обычно нежилою.

Многое сказанное мною сейчас, с точки зрения «здорового рассудка», есть сплошное безумие и, вдобавок, коллективное: ведь еще до меня некоторые исследователи творчества Достоевского (назову хотя бы Мочульского, Евдокимова и французского писателя Жака Мадоля) отметили прямую связь души Раскольникова

с вещным миром, его окружающим. Трудно плыть против течения и бороться с позитивным девятнадцатым веком, внушившим нам, что нет никакого иного подхода к искусству, кроме реалистического. Ни французские так называемые «проклятые поэты», ни французские художники — импрессионисты, ни русские символисты далеко еще не достигли цели — пробить брешь в бетонной стене и показать, что на свете существуют не одни лишь реалистические методы Льва Толстого и натуралистические романы Золя. Будем же углубляться вслед за Достоевским в дебри священного безумия! Я уже сказал, что живя в своей комнате, Соня тем самым жила в душе Раскольникова задолго до своего личного знакомства с ним. Оттого так просто звучит совсем не простое и не обычное обещание Раскольникова сказать Соне, кто убил Лизавету. По словам Раскольникова, он тогда выбрал Соню, чтобы сказать ей это, когда еще не убивал Лизаветы, да и самой Сони не знал, а только слышал о ней пьяный рассказ Мармеладова. Достоевский открывал новые миры и новые не изведенные никем законы бытия. Приобщая нас к этим мирам и законам, он показывает, что всё, должноствующее произойти наяву, уже совершилось в наших душевных глубинах при содействии нашей же собственной внутренней воли, и что наши стремления, мечтания и вождедения, неведомо для нашего сознания, принимая различные формы и виды, материализуются в мире явлений. Таким образом, и прямо и косвенно, Достоевский утверждает мысль великого Оригена: «материя есть уплотненная человеческим прехом духовность».

При свете творческих открытий Достоевского нам скоро станет понятным, почему при первом своем знакомстве с Раскольниковым, Свидригайлов скажет ему: «Ну, не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а?». И далее... «Давеча, как я вошел и увидел, что вы с закрытыми глазами лежите, а сами делаете вид, — тут же я и сказал себе: «это тот самый и есть».

Свидригайлов сам не понимает, почему сказал это, и на вопрос взволнованного Раскольникова: «Что это такое: тот самый? Про что вы это?» — отвечает: «Про что? А право, не знаю про что...»

Я уже приводил эти слова Свидригайлова в связи с происшествием на Конногвардейском бульваре, когда Раскольников повстречался с пьяной девочкой и предприимчивым франтом. Привожу эти слова опять с тем, чтобы рассмотреть под иным углом зрения их загадочное значение. Но прежде вернемся к Соне, идущей к себе домой по улице. Она шла погруженная в воспоминания

о своей только что состоявшейся встрече с Раскольниковым. «И уж, конечно, она не могла заметить в эту минуту одного незнакомого ей господина, прилежно следившего за ней и провожавшего ее по пятам. Он провожал ее с самого выхода из ворот».

Соня, Раскольников и Разумихин, выйдя на улицу, остановились на минуту и не заметили, разговаривая, как «этот прохожий, обходя их, вдруг как бы вздрогнул, нечаянно налету поймав слова Сони: «и спросила: господин Раскольников где живет?» Он быстро, но внимательно оглядел всех троих, в особенности же Раскольникова, к которому обращалась Соня; потом посмотрел на дом и заметил его». Теперь этот прохожий шел за Соней по пятам. «...Видел где-то это лицо, — думал он, припоминая лицо Сони... — надо узнать».

Наружность этого человека описана у Достоевского подробно. Это был господин лет пятидесяти. Он «смотрел осанистым барином». Одет был щегольски и имел несколько сутуловатый вид. «Широкое, скуластое лицо его было довольно приятно... Волосы его, очень еще густые, были совсем белокурые., а широкая, густая борода, спускавшаяся лопатой, была еще светлее головных волос. Глаза его были голубые и смотрели холодно... губы алые». Словом, всё могло бы сойти за приятное, но вот холодные голубые глаза, совсем светлые, льняные волосы, и это при алых губах! Сочетание не совсем обычное и несколько жутковатое. Было что-то в этом красногубом господине лунное, астральное. Недаром это странное существо, в тот же день познакомясь с Раскольниковым, скажет ему, что видит иногда привидения.

«— Наяву?

— Совершенно.

— ...Отчего я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случается! — проговорил вдруг Раскольников, и в ту же минуту удивился, что это сказал. Он был в сильном волнении».

Странный господин шел за Соней. «Дойдя до своего дома, Соня повернула в ворота, он за ней и как бы несколько удивившись. Войдя во двор, она взяла вправо, в угол, где была лестница в ее квартиру. «Ба!» пробормотал незнакомый барин и начал взбираться вслед за ней по ступеням. Тут только Соня заметила его. Она прошла в третий этаж, повернула в галерею и позвонила в 9 номер, на дверях которого было написано мелом: *Капернаумов, портной*. «Ба!» повторил опять незнакомец, удивленный странным совпадением, и позвонил рядом в 8 номер. Обе двери были шагах в шести одна от другой.

— Вы у Капернаумова стоите! — сказал он, смотря на Соню

и смеясь. — Он мне жилет вчера перешивал. А я здесь, рядом с вами, у мадам Реслих, Гергруды Карловны. *Как пришлось-то!* (Подчеркнуто мною. — Г. М.)

Соня посмотрела на него внимательно.

— ...Я ведь всего третий день в городе. Ну-с, пока до свидания.

Соня не ответила; дверь открыли, и она проскользнула к себе. Ей стало от чего-то стыдно, и как будто она оробела...»

То был Свидригайлов. Он, по приезде в Петербург, остановился, как и в прежние годы, у своей старой приятельницы Реслих, доставлявшей ему за приличное вознаграждение разного рода развлечения, главным образом, с малолетними. В те годы «разврат косился боязливо», ютясь по темным закоулкам; тогда еще не додумались до «розовых балетов», нередко состоящих ныне под высоким покровительством государственных особ.

Теперь попытаемся сделать некоторые сопоставления, выясняющие кое-что немаловажное в игре переплетающихся полтожений и назревающих событий.

Комната Сони отделена наглухо запертой дверью от пустой комнаты, в которой, на принесенном предусмотрительно стуле, будет сидеть Свидригайлов и подслушивать разговор Раскольников с Соней.

Миссия Сони, свыше ей данная, — спасти Раскольника от духовной гибели; предназначение Свидригайлова утвердить идейного убийцу в нераскаянности. Если комната Сони действительно есть поступившая наружу материализовавшаяся часть души Раскольника, то становится постижимым, почему, слушая Мармеладова, он уже «знает бессознательно», кого убьет и к кому придет признаваться в убийстве. Если пустая комната в приюте Реслих есть символ метафизической пустоты, давно овладевшей душою идейного убийцы, то можно духовно ощутить, почему при первом же свидании Свидригайлова с Раскольниковым, оба они мгновенно и по существу узнают друг друга. Для Свидригайлова Раскольников «это тот самый и есть», а Раскольникову стоило только, очнувшись от страшного сна, увидеть входящего в комнату незнакомого господина, чтобы тотчас же узнать в нем Свидригайлова и, снова закрыв глаза, прикинуться спящим из желания отсрочить хоть на секунду роковую встречу.

Исследователям творчества Достоевского часто задается довольно наивный вопрос: «Неужели Достоевский знал всё то, что вы теперь у него находите?» Но ведь всякий подлинно великий художник мышления видит в себе и своих творениях такие глу-

бины, какие и не снились его исследователям и читателям. Все мы вместе взятые улавливаем лишь малую долю того, что знал Достоевский о себе и о своих творческих прозрениях. Но надо верить собственному чутью, поверяя его умом — верным слугою сердечных наитий.

Что-то начинало осаждаться в душе Раскольникова — на арене борьбы Бога и дьявола заново располагались ангельские и бесовские силы. Отражением в трехмерном мире этого внутреннего положения были — Соня, поджидающая прихода Раскольникова, и темное присутствие Свидригайлова за стеною, рядом, в притоне госпожи Реслих.

Раскольников и Разумихин спешили к судебному следователю.

«Свет в ночи» — («Грани» № 50, 51) четвертый из серии очерков Г. Мейера о «Преступлении и наказании». Предыдущие очерки «Топор Раскольникова», «Дух глухой и немой» и «Хождение по мукам» см. в 44, 45, 46, 47, 48 и 49 номерах «Гр а н е й». — Р е д.

Сорокалетие русской поэзии в СССР

(1920—1960)

7

При отрывочном поступлении материалов, неизбежном в условиях Зарубежья, мы даже не можем быть уверенными в правильности нашей классификации. Все-таки мы сочли полезным набросать эту первую схему, ввиду невозможности заняться подобной работой в СССР и необходимости разобраться в накапливающемся материале, в надежде со временем исправить вкрапившиеся неточности. Например, мы причислили Дудина к крестьянским поэтам, тогда как на самом деле, возможно, он принадлежит к официально замалчиваемым акмеистам. Наоборот, Антокольский мог сложиться независимо от акмеистов, хотя мы его и причислили к ним, исходя из данных стилистического анализа.

Революция, как таковая, не внесла в русскую поэзию ни одного нового течения. Вплоть до наших дней поэты, живущие в СССР, следуют вышеуказанными путями, большей частью из-за невозможности выработать новые. Особенно распространено влияние футуризма, остающегося, несмотря на все потрясения и суровый запрет, основной и наиболее русской поэтической стихией.

Попытки власти создать новую коммунистическую поэзию потерпели полную неудачу. Неужели так трудно понять, что политика и поэзия — явления разного порядка, не приводимые ни к какому общему знаменателю. «Пролеткульт» и «РАПП» провалились в небытие, а социалистический реализм только паразитарно заглушает ростки живой зелени у всех без исключения настоящих поэтов, живущих в СССР. Единственным ощутимым результатом соцреализма является снижение (часто весьма значительное) творчества настоящих поэтов, вынужденных приспособляться к требованиям партии.

Среди группы РАПП нашелся только один не лишенный спо-

собностей поэт — *Василий Казин*. Сын всамделишного водопроводчика, он сумел по-своему выразить специфику жизни рабочих — «кусаю ножницами я железа жесткую краюшку», — впрочем, без всякой политики. Свежо и ново у него про майские лужи — «обрезки голубого цинка», про древесные стружки — «кудри русые доски». Он не лишен и способностей к звукописи:

Живей, рубанок, шибче шаркай,
Шушукай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким пребешком...

Казин обладает также приятным, беззлобным юмором, как, например, в стихотворении «Дядя или солнце», полном благодарности к собственному дяде, разгладившему уютгом его брюки для свидания с возлюбленной. Но даже он вскоре очутился в оппозиции и подвергся гонениям за поэму «Лисья шуба», оскорбительную для начальства тем, что ее герой осмелился влюбиться в дочь «кулака».

Катастрофический провал попытки насадить пролетарскую поэзию на русской почве — только ирония судьбы по отношению к большевикам. В остальном мире существует наравне с иными и пролетарская поэзия. Но и она для своего произрастания требует свободы, как всякое другое искусство. Некоторые поэты, порою весьма даровитые, близкие к большевикам по тематике и симпатиям, например, чех Ижи Волкер, перуанец Сезар Вальехо, немец Берг Брехт или грек Янис Рицос и другие охотно кокетничают с советской властью из прекрасного далека. Но очутившись они на «родине всех трудящихся», они бы угодили весьма быстро в Нарьымский край. Так, например, талантливый румынский поэт ярко выраженной пролетарской окраски — Ион Карайон бесследно исчез после оккупации его страны большевиками, и, по-видимому, ликвидирован.

После этой неудачи власть прибегла к своему испытанному способу — обязательному творчеству на потребу партии. Это и есть соцреализм. Не все поэтические приспешники власти бездарны. Среди них есть и бойкие журналисты и опытные агитаторы. В свое время и сам Маяковский доходил до «нигде кроме как в Моссельпроме». А чем отличается рекламирование политических мероприятий правительства от воспевания любого продукта потребления? Чего уж тогда и требовать от всяких тихоновых и прокофьевых!

Столь обильное в СССР чисто рекламное стихотворчество мы оставляем целиком за пределами поэзии. В России до революции, да и во всем остальном современном мире, никому бы в голову не пришло объявить поэзией воспевание под рифму разных сортов мыла или нижнего белья. То, что во всех других странах давно стало само собой разумеющимися подробностями обыденной жизни, или функционированием здорового организма, в СССР обязано быть предметом восторга. Не говоря уже о московском метро, которым советская пропаганда прожужжала уши всему миру, даже такое прозаическое учреждение, как почта, приводит маститого поэта Маршака в административный восторг:

Слава честным почтальонам
С толстой сумкой на ремне!..

Казенный одописец *Степан Щипачев* удостоился Сталинской премии за «поэму» о пионере Павлике Морозове, по доносу которого его родной отец был расстрелян большевиками. Бездарность этой стряпни достойна низкого подхалимства ее содержания.

Все сердцу любо. Все ласкает взор.
Я на простор хочу, я выхожу на двор.
Вот воробей чирикнул. Сколько в нем сноровки!
Вот сушился соседское бельишко на веревке.
Подумать только: грязь на нем была!
А вот отмылось же бельишко добела.
Каким оно мне кажется приветливым и милым!
Как замечательно, что есть торговля мылом!

Это — пародия поэта С. Васильева на щипачевскую стряпню. Но с таким же основанием ее можно отнести к соцреализму в целом. Доказательством этому могут послужить стихи Сергея Михалкова, которые уже не пародия, а «всерьез». Аналогичные тексты в советской поэзии можно привести в любом количестве. Они — именно то, что власть действительно ждет от поэзии: порукой этому критические статьи, утверждающие и восхваляющие и авторов и их произведения.

Тем не менее, мы решили оговорить некоторое число лиц, предпочитающих ласку начальства ласке музы. По удельному поэтическому весу о большинстве из них не стоило бы и упомянуть. Но искусственно создаваемая для них правительством эфемерная известность распространяется даже на непредубежден-

ных читателей, хотя бы потому, что только их книги можно легко достать. Они единственные доступные русскому читателю современные поэты. Заболоцкого или Мартынова не легко разыскать и в больших библиотеках, тогда как Сурков или Щипачев имеются в продаже в любой лавке в неограниченном количестве.

Они составляют *вынужденную* пищу современного любителя поэзии. Поэтому и мы поставим вопрос об этих париях пера — фаддях болгаринных наших дней. Многие из них бесприсветно бездарны и выдвинулись только благодаря безоговорочному подхалимству. Таковы, например, Демьян Бедный и Александр Безыменский. У других можно при большом терпении и снисходительности обнаружить редкие, незначительные крупицы словесного дарования — относительные удачи, старательно выпячиваемые властью напоказ. Кто, например, не знает «Гренады» некоего Михаила Светлова, у которого кроме нее нет ни одного сносного стихотворения. У Михаила Голодного тоже, несмотря на вопиющую безграмотность и постоянные срывы, местами прорывается подлинная революционная романтика. Ярослав Смеляков несомненно кое в чем талантлив, но почти все его стихотворения испорчены досадными словесными срывами. Впрочем, и он отведал прелести концентрационных лагерей. Слабые проблески живого можно порою уловить и у Марка Лисянского и у Николая Грибачева («Зеленая мастерская»).

К этой же категории относятся *Константин Симонов* и *Алексей Сурков*. Если бы не усиленная реклама, высокие чины и обилие легко доступных изданий — никто бы, вероятно, о них и не слышал. Но даже те редкие искорки скромного дарования, которые можно у них обнаружить при наличии доброй воли, родились не из увлечения трудами Ленина и Сталина или из восторга перед «социалистическим строительством», а из смиренной привязанности к исконной России, из тревоги за нее в годину военной опасности, когда в груди даже недостойных ее сыновей проснулись человеческие чувства. В эти дни было написано единственное, действительно, сильное, фальшью нигде не испорченное стихотворение Симонова «Бинокль».

Что-то очень большое и страшное,
На штыхах принесенное временем,
Не дает нам увидеть вчерашнего
Нашим пневым сегодняшним зрением.

Успех стихотворения «Ты помнишь, Алеша...» несомненно объясняется тем, что в нем упоминается русский, родина, Бог, крест, Россия и другие заветные слова, по которым стосковалась душа русского читателя.

Но как только война кончилась, Симонов поспешил со сборником «Друзья и враги», лишенным самых скромных литературных достоинств, зато полным провокационных инсинуаций по адресу всех инакомыслящих. После смерти Сталина симоновское угодничество отнюдь не прекратилось. Но его стих стал вялым, сползающим и прозаическим в такой степени, что вряд ли его можно назвать стихом.

Он вспоминает как ехал в Союз,
 Репортеров ответом оприв как плетью:
 Что только там он отметит свою
 Дату семидесятипятилетия.

Алексей Суржов еще посредственнее Симонова. За ним не числятся стихотворения, подобного «Биноклю», но и он понял, что единственный возможный источник писательства для него, это — Россия, то есть в советских условиях — война. Потому он дольше всех цеплялся за военную тематику, чувствуя, что за ее пределами для него наступает литературное небытие. Только в его военных стихах попадаются те немногие строчки, по поводу которых можно говорить о поэзии:

Зовет под ружье токарей и ткачей
 Тревожная медь полковых трубачей...

На еще более низкой «поэтической» ступени располагаются Евгений Долматовский, Лев Ошанин, Михаил Луконин, Анатолий Софронов, Вероника Тушнова и др. Их следует скорее рассматривать как партийных чиновников по части стихосложения, никакого отношения к поэзии не имеющих.

Иосиф Уткин — единственное в своем роде явление. Главной, вполне осознанной целью его жизни было служение партии, а не поэзии, хотя он и был очень одаренным лириком. Но партийный фанатизм доводил его до надругательства даже над красотой женщины: «Не твоим ли пышным бюстом Перекоп мы защищали?...» В женщине он видит только ее внешность и возмущается тем, что

есть на свете ценности, не входящие в убогую схему партийного катехизиса.

На худой конец Уткин допускает красоту женщины, но лишь как награду для «воина трудолюбивых», то есть по тогдашней официальной терминологии, за выслугу перед партией. Эти «Стихи красивой женщине», формально блестяще и своеобразно сделанные, — ужасающее самообнажение нечистой беспомощности и бесчеловечной пустоты сердца (служителя партии). Несмотря на свое содержание, стихи Уткина хороши, легки, естественны, подлинно музыкальны, богаты изобретательностью и живым словом. Они могут выдержать испытание временем.

Впрочем, упоение партийным величием продолжалось у него недолго. Как человек искренний Уткин вскоре усомнился в праведности учения, которому служил. Согласно предисловию к одному томику, вышедшему в 1956 году, «поэт подпал под влияние мещанских настроений...», его творчество «прешило промахами идейно-художественного порядка». Мы знаем, какая прозная реальность обычно кроется за такими словами. Предисловие, конечно, умалчивает о том, какие конкретные формы приняли для поэта эти вкрадчивые намеки. По-видимому, он угодил в концентрационный лагерь, откуда освободился только для поступления в действующую армию, ибо по его стихам видно, что он был на фронте. По тому же предисловию: «в ноябре 1944 года, возвращаясь с фронта, он погиб в авиационной катастрофе».

У Уткина нет никаких следов революционного романтизма, он — насквозь классик пушкинского толка, прошедший через футуризм. Когда он забывает о партии, то находит слова для любви:

Мне бы надо осторожней,
Я запутался, ей-ей,
В этом черном бездорожье
Удивительных бровей...

Он умеет видеть мир по-новому, окраска у него порою необычна, как «муравейник золотой». Его слог густ, конкретен и богат находками: «бело как белый медведь», «лет многогоргий табу́н», ветер: «одинокий, затравленный зверь, — как и я, вероятно, небритый...», или вот почти достойное Хлебникова:

И когда мечтательный соратник
Опускает голову порой,
Я в глаза ему: «красавец, голубятню,
Голубятню синнюю открой».

8

Наконец имеются поэты ни в какую категорию не входящие, идущие собственным путем. На первом месте среди них стоит Марина Цветаева. О ней речь должна идти отдельно, в контексте, никакого отношения к большевикам не имеющем. Надо в корне прервать всякое погрозношение партии в будущем так или иначе присвоить себе ее творчество и славу. Попытки в этом направлении делаются уже и несомненно будут повторяться. Поэтому необходимо сразу сказать, что мучители Цветаевой, доведшие ее до самоубийства, не имеют никакого права пользоваться ее именем для своей рекламы.

За двадцать лет, отделяющих нас от ее гибели, они даже не удосужились выпустить сборник ее произведений. Пока давление подспудных культурных сил России не вынудило их пообещать в 1956 году издание ее стихов.

Тихон Чурилин... Большинство читателей слышит, наверно, это имя впервые. Судьба этого поэта после первых лет революции осталась неизвестной, а книги его автору этих строк так и не удалось разыскать. Но немногие его стихотворения, до нас дошедшие, ставят его бесспорно в первый ряд русских поэтов. Приведем одно стихотворение в Приложении целиком, чтобы люди, чувствующие поэзию, узнали, какого поэта власть замалчивает уже сорок лет...

Самуил Маршак достиг 70-летнего возраста, изготавливая детские книжки, безукоризненные по форме, но весьма казенного содержания. Изредка, когда ему удается избежать принудительного шаблона, он достигает подлинной свежести, как, например, в очаровательной сценической сказке «Двенадцать месяцев».

Он — один из изощреннейших мастеров слова в СССР. Легкость и простота, необходимые для детских книжек соединяются у него с точностью и изобретательностью. Еж: «зверек, похожий на щетку», бабочки «закрываются книжечкой пестрой», зебры — «разлинованы лошадки, будто школьные тетрадки», жолудь «с колпаком на голове», гиппопотам «на кожу ветчины похожий в огромной миске суповой»... у него «глаза посажены в бинокли, а рот раскрыт как чемодан». Стол — «в столярной мастерской четвероногим стал». Даже для букв он находит остроумные метафоры: Д — «на самоварных ножках», Г — «стоит подобно кочерге», Э — «похожая на ухо» и много других.

Но все-таки не в детских стихах его сила. За сорок с лишним лет Маршак смог опубликовать едва ли не столько же серьезных

настоящих стихотворений. В них он не идет ни на какие уступки партии — ясно, что дело его жизни именно в этих прекрасных, беспримесно-подлинных стихах, как и в критических статьях.

Форма этих стихов классически прозрачна и чиста. Они благоуханны, как свежее-выпавший снег. В них видны зрелое мастерство и мудрая попруженность в потаенные глубины слова. В них царят покой, созерцательная сосредоточенность и контролируемая холодным умом чуткость. Эмоциональность сдерживается внутренней дисциплиной:

Этот лес полвека мне знаком.
 Был ребенком, стал я стариком.
 И теперь брожу, как по следам,
 По моим промчавшимся годам...

Меткие метафоры его стихов для детей наливаются здесь переживанием покоя: «строгие лесенки елей», «дерево скрипит как старый ворон каркая», или: «...а зайдешь в лесную даль и глушь, муравьиным спиртом пахнет сушь...» Особенно прекрасны его стихи о цветах;

Тюльпаны:

Вот розовый с каемкою узорной.
 Вот золотой — шесть языков огня.
 А есть цветок почти как уголь черный,
 Лоснистый, почно кожа у коня...

А вот роза:

Как он прекрасен, холоден и чист, —
 Глубокий кубок, полный аромата.
 Как дружен с ним простой и скромный лист,
 Темнозеленый, по краям зубчатый...

Для такого умного поэта, как Маршак, партийные оковы должны быть особенно тяжкими. Разрешая к опубликованию только плоские азбучные истины и бессмысленный восторг перед само собою разумеющимся, партия, может быть, сама того не ожидая, наложила запрет на... ум! Пусть нам укажут — во всех советских литературах за все 43 года — хоть одно проявление действительно глубокого ума! В лучшем случае ум писателей трагится на обход бесчисленных партийных запретов. Пословица — воплощение по преимуществу народной мудрости — была запрещена до самой смерти Сталина. Разве ум возможен, да и для чего он нужен, если

вся человеческая проблематика сводится к послушанию партии, раз навсегда решившей все вопросы?



Немало в России поэтов, особенно среди молодых, еще недостаточно выявивших свое лицо, хотя и бесспорно талантливых. У многих из них чистота внутреннего мира становится отличительной чертой. Особенно после смерти Сталина пропагандные сюжеты близятся к исчезновению, вытесняемые общечеловеческой тематикой. Духовные моменты возникают постольку, поскольку это совместимо с настоящими партийными цензурными условиями. Судя по отдельным разрозненным стихотворениям, попадающим в газеты, журналах, антологиях или в отдельных небольших сборниках, можно назвать ряд поэтов, интересных и талантливых, но о творчестве которых еще нет настоящей возможности составить цельной и точной картины.

Назовем среди этой молодой поэтической смены следующие имена: Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Иван Харабаров, Анатолий Поперечный, Леонид Тёмин, Римма Казакова, Юрий Панкратов, Юнна Мориц, Владимир Фирсов. Творчество этих поэтов и, может быть, ряда других, нам неизвестных, — новая тема для новой большой работы, которая требует еще определенной временной дистанции.

Возвращаясь же к старшему поколению, отмеченному в этом обзоре, мы хотим подчеркнуть, что хоть и останавливались мы на самом лучшем у каждого из упомянутых поэтов, русская поэзия последних сорока лет может показаться читателю однообразной. При таком впечатлении не следует забывать, что почти все области и пути творчества для нее были и во многом есть под замком. Поэзии не только запрещено летать, но и по земле разрешается ходить предписанной сверху походкой, да и то лишь в пределах узкой клетушки соцреализма, под непрерывным враждебным надзором партийных чиновников от литературы и литературных завистников.

Но, несмотря на это жестокое сорокалетнее утнетение творческой мысли, русские поэты проявили неисчерпаемое богатство выдумки и оставили определенное (пусть небольшое) количество подлинных шедевров, свидетельствующих о неумирающей победе человеческого духа над злым рабством, шедевров, достойных войти в сокровищницу русской поэзии и остаться там навсегда.

Стихотворное приложение

Андрей Белый

*

Над пухоперою каргою,
Над чепчиком ее счернен
Жеребчиком мышиным — «он»,
Кто вьется пенною пургою
И льет разменною деньгою,
Кто ночью входит в пестрый сон
И остро бродит в ней — счернен —
Над ней, над нами, над вселенной
Из дней, своими снами пленный;
Он — тот, который есть не он,
Кому название легион:
Двоякий, многоякий, всякий,
Иль просто окончанье, «Ий»,
Виющийся, старинный змий, —
В свои затягивает хмури,
Свои протягивает дури:
Он — пепелеющая лень
И — тяготеющая тень;
Как Мефистофель, всем постылый,
Упорным профилем, как чорт, —
Рассудок, комик свинойрыльи:
К валторне черной он простерт;
Как снег в овьюженные крыши,
Как в мысли, пложущие мыши, —
В мечты, возвышенные свьше, —
Бросает сверженную сушь:
Сухую прописную чушь;
Упавшим фракком ночь простерши,
Кликуши-души, — ходит он —
Кликуши-души — горше, горше —
Упавшим фракком — душит: в сон!..

Николай Тихонов

К Р Ы С А

Ревела сталь, подъемники гудели,
Дымилась рельсы, вдавленные грузом,
И в масляной воде качались и шипели
На якорях железные медузы.

Таили верфи новую прозу,
Потел кузнец, выковывая громы,
Морщинолобый, со стеклом в глазу,
Исчерчивал таблицами альбомы.

Взлетали полотняные орлы,
Оплечья крыши царапая когтями,
И карты грудью резали столы
Под шулерскими влажными руками.

Скрипучей кровью тело налитго,
Отравленной слюной ночного часа,
С жемчужным горлом, в бело-золотом,
Пел человек о смерти светлых ассов.

Сердце расплюсценных теплый ворох
Жадно вдыхал розоватый дым,
А совы каменные на соборах
Темноту крестили крылом седьм.

Золотому плевку, красному льду в бокале
Под бульварным каштаном продавали детей,
Из полночи в полночь тюрьмы стонали
О каторгах, о смерти, о миллионах плетей.

Узловали епископы в алтарном мраке
Новый Завет для храбрых бродяг
В переплетах прекрасного цвета хаки,
Где рядом Христос и военный флаг.

А дряхлые храмы руки в небо тянули,
И висел в пустоте их черный костяк,
Никто не запомнил в предсмертном гуле,
Как это было. А было так:

Земле стало душно и камням тесно,
С облаков и стен позолота сползла,
Серая крыса с хвостом железным
Из самого черного вышла угла.

И вспыхнуло всё, и люди забыли,
Кто и когда их назвал людьми.
Каменные совы крыльями глаза закрыли,
Никто не ушел, никто... Аминь!

Осип Мандельштам

В Е К

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки,
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь — строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хряц ребенка,
Век младенческой земли —
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну кольшет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.

И еще набухнут почки,
 Брызнет зелени побег,
 Но разбит твой позвоночник,
 Мой прекрасный жалкий век.
 И с бессмысленной улыбкой
 Вспять глядишь, жесток и слаб,
 Словно зверь, когда-то гибкий,
 На следы своих же лап.

Владимир Нарбут

ПЬЯНИЦЫ

Объедки огурцов, хрустящих на зубах,
 Бокалая бутылка сивухи синеватой
 И перегар, каким комод-кабан пропах, —
 Бой-баба, баба-ночь, гульбою нас посватай!

У слонов-растопыр склецился полукруг,
 И около стола, над холщевой простынью,
 Компания (сам-друг, сам-друг и вновь сам-друг)
 Носы и шишки скул загушевала синью.

И подбородки — те, что налиты свинцом,
 И вздернуты потом (как будто всякий потрох)
 Так — нитками двумя, с концами под лицом
 Заштопанными вкось, где скаты линий бодрых, —

Замазала она, все та же стерва-ночь,
 Все та же сволочь-ночь, квачом своим багровым.
 Ах, утлого дьячка успело заволочь
 Под покуть, — распрямить и заклевать под кровом.

Да пнетя — и майор, и поп, и землемер,
 Обрюзгший как гусак, под иглом геморроя.
 Надёжен адвокат. «Аз, Веди, Твердо, Хер», —
 Ударился в букварь: «глиста — вы, не перои!»

И, чаркой чокнувшись с бутылью, — попадье:
 «Ее же, мать моя, приемлют и монаси!»

Дебела попадаья. — «Не сахар ли сие?» —
И в сдобный локоть — чмок! А поп, как в тине, в рясе.

Торчмя-торчит, что сыч. Водянкой буйной глаз
Под гусеницей стал в коричневом мешке:
Мерещится мозгам, что сволок — вон — сейчас,
Ей-Богу, плюхнет вниз и — смерть невдалеке.

Вояка свесил ус и — капает с него.
...Под Плевную редут заглох: бурлит Осман:
В ущельи таборов разноголосый вой,
А на зубах завяз, как бланманже туман.

Светлеет. Бастион... спросонья: «Ро-та, пли!..»
И землемер вихры встопорщил, как прусак,
На шелушистый лук забредший из щели:
Не заблудиться б тут да не попасть впросак.

И всё, как жерла труб, в размывчивом угаре.
Лишь попадаья — в жару: ей впору — жеребец.
Брыкаясь, гопака откramsьвают хари,
И в зеркальце косом, в куске его — мертвец.

— Эге, да он, кажись, в засиженном стекле
Похож на тот рожок, что вылущила полночь!
А муха все шустрей — пред попадаьей во мгле —
Зеленая, снует, расплаживая сволочь.

Виктор Хлебников

О Т К А З

Мне гораздо приятнее
Смотреть на звезды,
Чем подписывать смертный приговор.
Мне гораздо приятнее
Слушать голоса цветов,
Шепчущих: «Это он!»
Когда я прохожу по саду,
Чем видеть ружья,

Убивающие тех, кто хочет
Меня убить.
Вот почему я никогда,
Никогда
Не буду правителем.

*

В лесу, где лебедь с песней стонет
И тенью белой в пруду тонет,
Где вьется горноста́й
Среди нечастого осинника,
И где серебряный лисицы лай
Тонко звенит в кустах малинника, —
Там белозадые бродили лоси
С желтопозолоченным руном
И тростников качались оси
За их молчащим табуном.
Две каменных лопаты
Несет самец поодаль, тих,
И с визгом жалобным телята,
Согнувшись, пьют сосцы лосих.
В сосне рокочет бойко
С пером небесным сойка.
И страстью нежною глубок
Летит проворный голубок.
Гадюка черная свисала
Дугой с широкого сучка,
И пламя солнца освещало
Злобную черту ее зрачка.
Качает ветер купола
Могучих сосен и дубов.
Молчат цветов колокола
В движеньях тихих лепестков.
И сосны стройные стонали,
Шатая желтые стволы.
То неги стон, то крик печали,
То визг прохочущей пилы.
В холодном озере в тени
Бродили сонные лини.
И в глубине зеркальных окон

Сверкает полосатый окунь.
 А синечерный скворушка
 На солнце чистит перышко.
 Царственно блестящие стволы
 Свечи покрыли из смолы.
 С глухого муравейника
 Взлетит, стуча крылом, глухарка,
 И перья рдяного репейника
 Осветит солнце жарко.
 Взовьется птица. Сядет около.
 Чу, слышен ровный свист дрозда.
 Вон умная головка сокола
 Смотрит с глубокого гнезда.
 Нагие деревяницы
 Свисали телом с темной ели,
 И их печальные зеницы
 О чем-то жили, о чем-то пели.
 И с прудью меднокрасной
 И белой сединой
 Плыл господин воды ненастной,
 Красивый водяной.
 Скользя в пахучей пляске,
 Низко-свистящие ужи,
 Черны, тягучи, вязки,
 Дружили в зарослях межи.
 Здесь темный храм
 Чреды немых дубов,
 Спокоен, прустен, прям,
 Качает тяжестью годов.

Владимир Маяковский

ПИСЬМО К Л. БРИК

Москва. Конец марта 1918 г.

Дорогой и необыкновенный Лиленок!

Не болей ты, Христа ради! Если Оська*) не будет смотреть за тобой и развозить твои легкие (на этом месте пришлось остановиться и лезть к тебе в письмо, чтобы узнать как пишется: я хо-

*) Муж Л. Брик. — Прим. Э. Райса.

тел «лехкие») куда следует, то я привезу к вам в квартиру хвойный лес и буду устраивать в оськином кабинете море по собственному моему усмотрению. Если же твой прадаусник будет лазить дальше, чем тридцать шесть прадаусов, то я ему обломаю все лапы.

Впрочем, фантазии о приезде к тебе объясняются моей общей мечтательностью. Если дела мои, нервы и здоровье будут идти так же, то твой щенок свалится под забором животом вверх и, слабо подрыгав ножками, отдаст Богу свою незлобивую душу.

Если же случится чудо, то недели через две буду у тебя! Картину кинемо кончаю. Еду сейчас примерять в павильоне фрейлиховские штаны. В последнем акте я денди.

Стихов не пишу, хотя и хочется очень написать что-нибудь прочувствованное про лошадь.

На лето хотелось бы сняться с тобой в кино. Сделал бы для тебя сценарий.

Этот план я разовью по приезде. Почему-то уверен в твоём согласии. Не болей. Пиши. Люблю тебя, солнышко мое милое и теплое.

Целую Оську.

Обнимаю тебя до хруста костей.

Твой В...

P.S. (Красиво, а?) Прости, что пишу на такой изысканной бумаге. Она из «Питореска», а им без изысканности нельзя никак.

Хорошо еще, что у них в уборной кубизма не развели, а то б намучился.

Григорий Петников

*

Открываю небесный букварь
 Поученье ночных повестей,
 Синевеет небес слепота
 На алмазном и ясном кресте.
 Там в седейшей небесной пыли,
 Остывающей к вечеру дней,
 Расплескались баюны земли
 У колен голубиной реки.
 Красотиной вместимых ночей
 Ты вспоешь в тополевых ветрах,
 Но о чей — замуруд знаменах
 Оржаньми полями почил.

Открываю певучий букварь
Знать по самому буреву дней
Во былинах такая ж туга,
Как дивес соловьиная смерть.

РУБЕЖ ВЕСНЫ

Я принимаю синеглазых
Окраин вешних простоту
И странную вдыхаю осень
В засеребреншемся листу.

Что это будет — только очерк
Дивеева скитга лазурь,
Иль буйный рост, как живопись, как роща,
Поющая и пьющая грозу.

Какой густой овладевает ветер,
По заводям зацеловав траву,
И чуется, как цепенеет
От марта смерть в падучем Покрову.

Семен Кирсанов

ПИСЬМЕНА

Нам понятна рукописей жизнь.
Древние писали сверху вниз,
Пишем мы горизонтальной строчкой,
Свой рассказ заканчивая точкой.
Лишь деревья пишут все вокруг,
Людям не показывая рук,
Пишут круговыми письменами,
Вовсе не изученными нами.
Летописец дерева в стволе
Пишет, как на письменном столе;
Он сучки обводит, как виньетки,

Он по кругу вьет свои заметки
 О зиме и лете, смене дней,
 О глубоких замыслах корней.
 Дневники свои ведут деревья,
 Ни к кому не чувствуя доверья.
 Пишут сколько лет им, как жилось,
 Как о ствол однажды терся лось;
 Строки есть на свернутых страницах
 О садившихся на ветки птицах,
 О дупле, о рое новых пчел
 И о том, как дровосек прошел
 По тайге серебряно-полярной
 Со своей пилой циркулярной.
 Но не знает ствол высокомерный
 О машинах фабрики фанерной.
 Там ножом сияющим раскрыт
 Древний, но понятный манускрипт.
 Говорит карельская береза
 О дождях, о зное, о морозах;
 Записи подробные, по дням,
 Заповеди веткам и корням,
 Правила для распусканья почек,
 И по кругу выписанный очерк,
 Что за лес и какова гроза,
 И в морщинах мудрости — глаза
 Деревя, прожившего два века
 Перед юным взглядом человека.

РАБОТА В САДУ

Речь — зимостойкая семья.
 Я в сущности — мичуринец.
 Над стебельками слов — моя
 Упорная прищуренность.

Другим — подарки сентября,
 Гербарий леса осени;
 А мне — гербарий словаря,
 Лес говора разрозненный.

То стужа ветку серебрит,
То душиг слякоть дряблая.
Дичок привив, и вот — гибрид!
Моягода, мояблоня!

Сто га словами поросло,
И после года первого —
Уже несет плодыни слов
Счастливого дерево.

Вадим Стрельченко

В ЧЕСТЬ ХОЗЯЙКИ

Пирог, помидоры и скумбрия...
Тарелок, как звезд, не счесть.
За что бы нам пить? — Размышляю я...
Давайте — хозяйки в честь.

Мужчины! Усатые братья! Друзья!
Мы любили застольный круг,
Но нам не заметны, — покаюсь я, —
Заботы наших подруг.

Как будто бы в море, по зыби вод,
Разрезанная ножом,
На блюде сама скумбрия плывет
С картошкой и огурцом.

Прекрасны колосья в жаре степной,
Но колоса стебелек
Не подымает передо мной
Румяный мясной пирог?

О, сколько горячих забот и хлопот
На кухне хозяйку ждет,
Покуда сытен, блестящ, тяжел
Гостям не откроется стол,
Покуда теста растет высота
И скрытно пылает плита.

Поклонимся, подняв стакан с вином,
 За счастье хозяйки сегодня пьем,
 Во славу любящих маленьких рук.
 Да здравствует в джемпере голубом
 Длинноволосый друг!

Пусть будет шумно! Пусть будет смех
 И шум от стола к столу.
 Пускай опустеют бокалы всех
 Хозяйки в честь и хвалу.

Семен Гудзенко

*

Человек городской
 Заколотчен доской.
 Мать роняет первый ком,
 Засыпают песком.
 Человек молодой
 Умывался водой.
 Жил, любил, пил вино.
 Было это давно...
 Так давно, так давно —
 Даже вспомнить смешно.
 Так давно, так давно —
 Даже плакать прещно.
 Но когда? Сколько лет?
 Даже дня еще нет.

Илья Сельвинский

*

Я говорю: «пошел», «бродил»,
 А ты: «пошла», «бродила».
 И вдруг как будто веяньем крыл
 Меня осенило.

С тех пор прийти в себя не могу...
Все правильно, конечно,
Но этим «ла» ты на каждом шагу
Подчеркивала: «я женщина!»

Мы, помню, вместе шли тогда
До самого вокзала,
И ты без малейшей краски стыда
Опять: «пошла», «сказала».

Идешь, с наивностью чистоты
По-женски все спрягая.
И показалось мне, что ты —
Как статуя — нагая.

Ты лепетала. Рядом шла.
Смеялась и дышала.
А я... Я слышал только «ла»,
«Аяла», «ала», «яла»...

И я влюбился в глаголы твои,
А с ними в косы, в плечи!
Как вы поймете без любви
Всю прелесть русской речи.

Леонид Мартынов

РЕКА ТИШИНА

— Ты хотел бы вернуться на реку Тишину?
— Я хотел бы. В ночь ледостава.
— Но отыщешь ли лодку хотя бы одну
И возможна ли переправа
Через темную Тишину?
В снежных сумерках, в ночь ледостава,
Не утонешь?
— Не утону!
В городе том
Я знаю дом.
Стоит в окно постучать —
Выйдут меня встречать.

Знакомая одна.
 Некрасивая она,
 Я ее никогда не любил.
 — Не лги!
 Ты ее любил!
 — Нет! Мы не друзья и не враги.
 Я ее позабыл.

Ну так вот. Я скажу: хоть и кажется мне,
 Что нарушена переправа,
 Но хочу еще раз я поплыть по реке Тишине
 В снежных сумерках, в ночь ледостава.

— Ночь действительно ветренная, сырая.
 В эту ночь, трепеща, дотлевают поленья в печах,
 Но кого же согреют поленья, в печах догорая?
 Я советую вспомнить о более теплых ночах.
 — Едем?
 — Едем!

Из дровяного сарая
 Братья ее вынесут лодку на плечах
 И опустят на Тишину,
 И река Тишина у метели в плену,
 И я на спутницу не взгляну,
 Я только скажу ей: «Садитесь в корму!»
 Она только скажет: «Я плащ возьму,
 Сейчас приду...»

Плывем во тьму.
 Мимо предместья Волчий хвост,
 Под Деревянный мост,
 Под Оловянный мост,
 Под Безымянный мост...

Я пребу во тьме,
 Женщина сидит в корме,
 Кормовое весло у нее в руках,
 Но, конечно, не правит — я правлю сам!
 Тает снег у нее на щеках,
 Липнет к ее волосам.

— А как широка река Тишина?
Тебе известна ее ширина?
Правый берег виден едва-едва, —
Неясная цепь огней...
А мы поедем на острова —
Ты знаешь — их два на ней.
А как длинна река Тишина?
Тебе известна ее длина?
От полнотных низин до полдневных высот
Семь тысяч и восемьсот
Километров — повсюду одна
Глубочайшая Тишина!

В снежных сумерках этих
Все глуше уключин скрип,
И замирают в сетях
Безмолвные корчи рыб.
Сходят с барж водоливы,
Едут домой лодмана.
Незримы и молчаливы
Твои берега, Тишина.
Все медленней серые чайки
Метель отшибают крылом...
— Но погоди! Что ты скажешь хозяйке?
— Чайки метель отшибают крылом...
— Нет, погоди! Что ты скажешь хозяйке?
— Не понимаю — какой хозяйке?
— Которая в корме склонилась над веслом.

— О! Я скажу: «Ты молчи, не плачь.
Ты не имеешь на это права
В ночь, когда ветер восточный — трубач
Трубит долгий сигнал ледостава».
Слушай! Вот мой ответ —
Реки Тишины нет.
Нарушена тишина.
Это твоя вина.
Нет! Это счастье твое.
Сам ты нарушил ее,
Ту глубочайшую Тишину,
У которой ты был в плену.

Георгий Шенгели

*

Вон парус виден. Ветер дует с юга.
И, значит, правда: К нам плывет
Высокогрудая турецкая феллога
И золотой тяжелый хлеб везет.

И к пристани спешим друг-друга обгоняя:
Так сладко вскрыть мешок тугой,
Отборное зерно перебирая
Изголодавшейся рукой.

И опьяненные сказанья возникают
В Тавриде нищей — о стране,
Где злаки тучные блистают,
Где проздя рдяный сок роняют,
Где апельсины отвисают,
Где оседает золото в руне.

Придет поэт. И снова Арго старый
Звон подвига в упругий стих вольет.
И правнук наш, овеян смутной чарой,
О нашем времени томительно вздохнет.

*

Квадратный стол прикрыт бумагой,
На ней — чернильное пятно.
И веет предвечерней влагой
В полуоткрытое окно.

Стакан топазового чая,
Дымок сигары золотой,
И журавлей витая стая
Над успокоенной рекой.

Бесстрастная стучит машинка,
Равняя спройные слова.
А в поле каждая былинка
Неувядаемо жива.

И вечер я приемлю в душу,
 Безвыходно его люблю.
 Так люб и океан — на сушу
 Закинутому кораблю.

Николай Клюев

*

О скопчество — венец, золотоглавый град,
 Где ангелы пятой мнут плоти виноград,
 Где площадь — небеса, созвездия — базар,
 И Вечность сторожит диковинный товар:
 Могущество, Любовь и Зеркало веков,
 В чьи глубины смотрит Бог, как рыбарь на улов.

О скопчество — страна, где бурый колчедан
 Буравит ливней клюв, сквозь хмару и туман,
 Где дятел-Маята долбит народов ствол
 И Оспа с Колтуном навастривают кол,
 Чтобы вонзить его в богоневестный зад
 Вселенной матери и чаше всех услад!

О скопчество — арап на пламенном коне,
 Гадавательный узор о незакатном дне,
 Когда безудный муж, как отблеск маргарит,
 Стокрылых сыновей и ангелов родит!
 Когда колдунью-Страсть с владыкою-Блудом
 Мы в воз потерь и бед одрами запряжем,
 Чтоб время-ломовик об них сломало кнут.

Пусть критики меня невеждой назовут.

Петр Орешин

СМЕРТНОС

Смерть на кровавом коне объезжает миры,
 Смерть в облака перекинула желтые трупы.
 Шар необъятной земли Смертоносом изрыт,
 Кровь и вода омывают седые уступы
 Расцветающих скал.

В небо вздымает земля свой кровавый бокал,
 Льют полусумрачный свет среброглазые луны.
 Огненный Конь — Смертонос путь себе отыскал:
 Слышу удары развеселых копыт — чугунных
 По дорогам земли.

Трубные вопли небес в человека вошли:
 Взбешенный труп призывает немертвых к восстанью,
 Падают ниц облака, и дворцы, и кремли,
 В дебрях лесных — колокольные звоны, бряцанье
 Окровавленных шпаг.

Злой человек — человеку прекрасному — враг.
 Каин с ножом над землей пляшет радостный танец,
 В братской могиле лежат: и пружин, и поляк*),
 Русский, эстонец, еврей, турок, серб и германец —
 Все под красным ножом.

Стонет родная Земля окровавленным ртом,
 Славит Премудрость Господню и Светлую Милость.
 Смерть в огневых облаках на коне золотом
 Мчится и жертвы считать на лету — утомилась,
 Отдохнула бы всласть.

Череп разинул свою богохульную пасть.
 Череп обвел всю вселенную вытекшим оком.
 Пала навеки над миром Всевышняя Власть.
 Конь-Смертонос на просторе безумно-широком
 И огнист, и космат.

Ветры в седой бороде Саваофа гудят.
 Звездная ночь потекла по небесным заливам.
 Плачет горько земля — стонет далекий набат,
 Плачет земля по горящим, искошенным нивам,
 По убитым сынам.

Дым от пылающих жертв взлетел к облакам.
 Сохнут, как слезы людские, вечерние росы.
 Новые скорби несут из-за облачных ям
 Скорбной земле на копытах своих Смертоносы.

*) По другому изданию: «лежат могиле». — Прим. автора.

Алексей Ганин

*

Зачуяв смерть, Дракон трехглавый
Из бездн исторг последний крик
И поднял факелом кровавым
Над миром огненный язык.

Из моря бездны многоликий
Змеящийся раскинул хвост,
И заскрипел от злобы дикой
Железной чешуей хребет.

Вздрынулся хвост до храмов горних,
Свернулся у крестов в браслет...
Помчались кони стадом черным,
Зажегся пламевцветный след.

Под небом раскатилось ржанье
И вихри огневых подков;
И горы в сумрачном дрожанье
Точили звон колоколов.

Виктор Боков

ПРИРОДА-МАТЬ

Я видел, как Природа-Мать
Укладывала детей своих спать.
Порядки везде наводила,
Сама себе говорила:
— Коростелю
На лугах постелю,
Кукушке —
На опушке,
В чужой избушке.
Галки спросили:
— А нас не забыли?
— Помню, помню,
Вам на колокольню.
Паучонка

Устроила в паутине,
 Лягушонка —
 В болотной тине,
 Зайчонка —
 В бороздке,
 В зеленом горошке.
 Сверчок
 Полез на шесток,
 Еж
 Пошел в рожь,
 И мыши
 Сразу стали тише.
 Пчелу, что к улью не долетела,
 Под лопухом пригрела,
 А когда для всех нашла убежище и дома,
 Уснула и сама,
 Положив на себя мохнатые
 Еловые лапы.
 Не слышала даже, как дождик крапал,
 Как, к ненастью,
 Где-то в лесной стороне
 Звенел комар на гонкой струне.

Тихон Чурилин

П Е С Н Я

О нежном лице ее,
 О камне в кольце ее,
 О низком крыльце ее
 Песня моя.

О пепле волос твоих,
 Об инее роз твоих,
 О капельках слез твоих
 Мой стих.

Желто лицо мое,
 Без камня кольцо мое,
 Пустынное крыльцо мое.
 Но вдвоем ты и я,
 Товий и Лейя.

Но печальна не песня, а радость в глазах.
Но светлеет не радость — то снег в волосах.
Но пестреет не дуг наш — могила в цветах.
Лицо ее.
Кольцо ее.
Крыльцо ее.
Счастлив я.

Н О Ч Ь

Нет масла в лампе — тушить огонь.
Сейчас подхватит нас черный конь...
Мрачнее пламя — и чадный дух...
Дыханьем душным тушу я вдруг.
Ах, конь нас черный куда-то мчит...
Копытом в сердце стучит, стучит!

Примечание р е д.: Интересующихся стихами поэтов нового русского поколения редакция отсылает к № 38 нашего журнала, в котором была напечатана подборка стихотворений восемнадцати молодых поэтов СССР.

Первые православные японцы

К столетию проповеди православия в Японии

1

Японская православная церковь считает днем своего зарождения 14 июня (2 июня ст. ст.) 1861 года — день прибытия в город Хакодадэ иеромонаха Николая Касаткина, впоследствии — архиепископа Японского.

Проповедовать православие в самой Японии, действительно, начал иеромонах Николай. Но первые случаи крещения японцев в православие за пределами Японии были известны и ранее, со времени установления первых связей между японцами и выходцами в XVII веке на берега Тихого океана русскими.

Приказчик Анадырского острога Владимир Атласов, впервые обследуя в 1697 году восточное побережье Камчатки, встретил на реке Иче жившего среди камчадалов японца по имени Дэнбэй. За два года до этого Дэнбэй был занесён на север тайфуном и потерпел кораблекрушение у южного побережья Камчатки.

Атласов принял Дэнбэя за «индейца» и взял с собой в Анадырь, а в 1700 году доставил его в Якутск. В написанной в Якутской приказной избе 3 июня 1700 года «скаске» Атласов сообщал, что «полоненик, которого на бусе¹⁾ морем принесло, каким языком говорит. — того не ведает. А подобием кабы пречанин: сухощав, ус невелик, волосом черн. А как увидел у русских людей образ Божий — зело плакал и говорил, что и у них такие образы есть же...

¹⁾ Буса — обычное на Дальнем Востоке название большой лодки, выдолбленной из ствола дерева.

А нравом тот полоненик пораздо вежлив и разумен»²). Дэнбэй был родом из города Нагасаки — главного оплота католической проповеди XVI века в Японии, где христианство было искоренено только к середине XVIII века, что, по-видимому, и объясняет его указание на то, что «и у них такие образы есть же».

Первого ноября 1701 года Сибирский приказ предписал якутским властям «со всяким поспешением и обережью» доставить Дэнбэя в Москву, куда он прибыл в конце декабря. 8 января 1702 года его в селе Преображенском представили Петру Великому. Петр распорядился не принуждать Дэнбэя к принятию православной веры и отпустить на родину, после того, как он сам изучит русский язык и обучит японскому языку трех-четырех русских «робят».

В 1707 году Дэнбэй был взят в дом князя М. П. Гагарина. С разрешения Петра Великого кн. Гагарин крестил Дэнбэя, дав ему имя Гавриила³).

«Японец Петра Великого» Гавриил Узакинский — Дэнбэй не завоевал себе такой известности, какую приобрел, благодаря своему правнуку, «арап Петра Великого» Ибрагим Ганнибал. Но им открывается история русско-японских связей, и его следует также признать первым православным японцем.

Дэнбэй навсегда остался в России.

2

Одним из проявлений политики самоизоляции феодальной Японии было запрещение японским гражданам строить суда водоизмещением более 500 коку, т. е. более 80 тонн. Небольшие же суда, совершая рейсы вдоль берегов Японии, нередко попадали во время шторма в открытое море и в случае потери мачты или руля были обречены на гибель. Случаев гибели японских судов у одних только русских тихоокеанских берегов в XVIII и XIX веке стало известно несколько десятков.

Так, в апреле 1710 года, потерпела крушение японская буса в Калигинской губе на Камчатском побережье «Бобрового моря»,

²) Н. Оглоблин. «Две «сказки» Вл. Атласова об открытии Камчатки». Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Кн. 3, отд. I, Москва, 1891.

³) Д. П. Струков. «Сообщение об обнаруженных в архиве Артиллерийского исторического музея двух документах», Русская старина, СПб, 1891, ноябрь.

как принято было в XVII-XVIII веках называть в России часть Тихого океана, прилегающую с востока к Камчатке и Курильским островам. Спаслось десять японцев. Один из них, Санима, в 1714 году в Якутске был крещен, получив имя Ивана, а в 1719 году попал в Петербург⁴).

Восьмого июля 1729 года у берегов Камчатки разбилось еще одно японское судно, после потери мачты полгода блуждавшее по Тихому океану по воле волн. В живых остались только старик Соза и одиннадцатилетний Гонза. Их доставили в Якутск, а затем, в 1734 году — в Петербург. При крещении и принятии русского подданства они, вполне в стиле эпохи, получили имена Кузьмы Шульца и Демьяна Поморцева.

В 1736 году при Академии Наук была открыта Японская школа, где Шульце и Поморцев должны были продолжать начатое Дэнбэем, по приказу Петра Великого, обучение солдатских детей японскому языку. Но Шульц умер в том же 1736 году, а Поморцев пережил его всего на три года. Однако, к тому времени помощник библиотекаря Академии Наук Андрей Бопданов успел уже не только овладеть японским языком, но и составить ряд рукописных учебников, по которым и продолжал занятия с учениками.

Ученики Японской школы Петр Шананькин и Андрей Фенев в 1740 году, в качестве переводчиков, были прикомандированы к 2-ой сибирско-тихоокеанской экспедиции В. Беринга (Беринг сам скончался, и экспедицию в то время уже возглавлял капитан М. Шпанберг), обследовавшей в 1733-1743 годах Сахалин и Курильские острова. Переводчиком той же экспедиции был назначен также крещеный японец Яков Максимов, попавший в Россию после кораблекрушения у Камчатки в 1713 или 1714 году⁵).

Весной 1745 года японское судно разбилось у острова Онекотан (Курильская гряда). Спаслось десять человек команды. 15 июня 1745 года сборщики ясака Матвей Новограбленный и Федор Слободчиков, обнаружив японцев, взяли их с собой в Большерецк, где все они крестились, приняв также русские фамилии своих крестных отцов. Сенат приказал «лутчих, кои знатнее и смыслом острее пять человек» направить в Петербург, где они были назначены преподавателями Японской школы Академии Наук.

⁴) Г. Ф. Миллер. «Описание морских путешествий по Ледовитому и Восточному морю с российской стороны учиненных». Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих. Ч. I, СПб, 1758.

⁵) «Донесение в Правительствующий Сенат из Адмиралтейств-Коллегии» от 18 марта 1747 года, ЦГАВМФ, ф. Адмиралтейств-Коллегии, 1746-1750, д. 10.

Японец Игачи (Матвей Григорьев) остался в Большерецке, а остальных четверых перевели в Якутск, где они начали обучать японскому языку казака Ляпунова, чем было заложено основание Якутской японской школы. В 1754 году школу перевели в Илимск. В 1757 году в ней, кроме Ляпунова, числилось еще четыре ученика.

Петербургская школа, состоявшая к тому времени из трех учителей-японцев и все тех же двух «вечных студентов» Шанинькина и Фенева, в 1753 году была переведена в Иркутск. Когда сюда же в 1761 году перевели учителей и учеников из Илимска, Японская школа достигла своего максимального состава. В объединенной школе было семеро преподавателей-японцев и пятнадцать учеников.

Школа просуществовала до 1816 года, когда Комитет министров, на основании представления иркутского губернатора, считавшего дальнейшие затраты на нее неоправданными, постановил закрыть школу⁶⁾.

3

До заключения Айгунского договора 1857 года плодородное Приморье оставалось за пределами российских владений. Снабжение продовольствием и припасами русских сторожевых постов, поселений, фортов и промысловых факторий на Охотском побережье, на Аляске, Алеутах и Курилах представляло собой не мало трудностей. Наиболее естественным путем к преодолению этих трудностей представлялось установление торговых сношений с Японией. Еще в 1731 году Сибирским приказом была издана инструкция начальнику Охотского края Г. Г. Скорнякову-Писареву, предписывавшая ему «ежели впредь занесет японцев, то не грабя и не озлобляя их... отвозить в Япон, по-прежнему в их жилища, и тем подать причину дружбы и искать способа к свободному торгу». С тех пор попытки установления торговых сношений с Японией предпринимались неоднократно.

В 1778 году купец Лебедев-Ласточкин снарядил судно с русскими товарами, которое под командой Антипина с Курильских островов направилось на остров Иезо (Хоккайдо) для торговли. Однако местные власти, по приказу сегунского правительства, не допустили развития этих торговых связей.

⁶⁾ Н. И. Веселовский. «Сведения об официальном преподавании восточных языков в России». Труды третьего международного съезда ориенталистов в С.-Петербурге, 1876, т. I, СПб, 1879-1880.

Тринадцатого сентября 1791 года Екатерина II подписала указ «О установлении торговых сношений с Япониею». Указ предписывал иркутскому генерал-губернатору И. А. Пилю снарядить от своего имени экспедицию в Японию для доставки на родину группы потерпевших кораблекрушение японцев и для новой попытки установления торговых сношений.

Речь шла о группе японцев с судна «Синсё мару», вышедшего в 1782 году из Сироко в Едо (современное Токио). Потеряв руль и мачту, корабль восемь месяцев носился по океану. 6 августа 1783 года он разбился у острова Амчитка (Алеутская гряда). Спаслось шестнадцать человек, но из них семеро умерли от истощения или от цынги на нелюдимом острове.

Первого сентября 1785 года у того же острова Амчитка разбилось русское судно «Апостол Павел» из Нижнекамчатска. Купец Невидимов и мореход-казак Сапожников с другими русскими моряками построили из обломков обеих кораблей баркас и, взяв с собой уцелевших японцев, добрались на нём до Нижнекамчатска. В 1787 году спасенных японцев направили в Иркутск. Здесь двое из них, Синдзо (Николай Колотыгин) и Сёдзо (Федор Сипников) крестились. Они были зачислены преподавателями в Японскую школу, куда, по распоряжению Екатерины II, дополнительно было направлено изучать японский язык несколько семинаристов.

Остальные члены команды «Синсё мару», во главе с капитаном Дайкокуя Кодаю, после продолжительного пребывания в Петербурге и в Москве, где им оказывали всевозможные «пособия и ласки», 13 сентября 1792 года, с экспедицией, снаряженной от имени генерал-губернатора И. А. Пиля на средства казны, компании Шелехова-Голикова и купца Рохлецова, на транспорте «Екатерина» покинули Охотск и направились к себе на родину. 9 октября «Екатерина» бросила якорь в гавани Нэмуру, на острове Иезо (Хоккайдо).

Но и эта экспедиция, которую возглавлял поручик Адам Лаксман, не добилась разрешения на установление торговых связей русских тихоокеанских владений с Японией. Лаксману удалось всего лишь добиться разрешения на посещение южно-японского порта Нагасаки (единственного, куда вообще допускались иностранные суда) одним русским судном в год.

Доставленных Лаксманом на родину японцев власти подвергли строжайшим допросам, — в присутствии самого сёгуна, —

стремясь, в частности, выяснить и то, не приняли ли они в России тайком христианской веры.

Родзю (министр) Мацудайтра Саданобу спросил их: «Лица, меняющие свою веру и принимающие христианскую религию, должны совершать в течение 42 дней омовения, при этом отплываваться, повернувшись назад. Кроме того, они должны переменить свое имя. Само собой разумеется, что при перемене имени снова совершается омовение. Видели ли вы это?» Кодаю ответил: «Совершенно правильно. Мы видели, как при крещении совершается омовение. Когда на седьмой день дают имя ребенку, его трижды погружают в купель с водой и дают имя. Дети в это время сильно плачут». Тогда Саданобу задал каверзный вопрос: «А разрешают ли присутствовать при этом лицам, не исповедующим христианской религии?» Кодаю удалось выйти из затруднительного положения. Он сказал: «Как я вам уже докладывал, мы находились на особом положении и нам не запрещали ходить куда угодно и что угодно смотреть, поэтому мы могли наблюдать этот обряд»⁷).

Кодаю и вернувшийся с ним в Японию Исокити подверглись пожизненной ссылке. Кодаю использовали однако в качестве первого учителя русского языка в Японии. На основании его показаний и докладов сёгуну был составлен (в одиннадцати книгах) первый документальный труд о России, ознакомиться с которым, правда, мог лишь небольшой круг приближенных сёгуна и «благонадежных» ученых.

Просочившиеся, тем не менее, в более широкие слои населения сведения о блеске екатерининского двора, о расцвете наук и о победах русского оружия, произвели на японское общество того времени сильное впечатление. Приняв за причину расцвета России географическую широту ее новой столицы, публицист Хонда даже стал призывать к захвату Японией Камчатки, для перенесения туда, на широту Лондона, Парижа и Петербурга, столицы Японии. Историк Накаи вступил в полемику с Хонда, указывая на неспособность Японии того времени заселить даже остров Иезо (Хоккайдо) и предлагая оставить Иезо незаселенным «буфером» между Японией и Российской империей⁸).

⁷) Э. Я. Файнберг. «Японцы в России в период самоизоляции Японии». Сборник Япония, Вопросы истории, Академия наук СССР, Институт востоковедения, Москва, 1959.

⁸) P. Berton, P. Langer, R. Swearingen: Japanese Training and Research in the Russian Field. University of California Press. Los Angeles, California, 1956.

4

Политика самоизоляции Японии, провозглашенная сёгунами из рода Токугава, препятствовала не только проникновению иностранцев в Японию. В равной мере самим японцам, под страхом смертной казни, воспрещался выезд за границу. В то время как «екатерининские орлы» на Чёрном и Эгейском морях пробивали для России второе «окно в Европу», правители Японии с ожесточением забивали каждую «щель», ведущую во внешний мир.

Лишь небольшой группе сотрудников «Тэммондай» или «Института астрономии» разрешалось обучаться у голландцев на острове Дэсима наукам, необходимым для составления календаря для мореплавания и для совершенствования военной техники. В то время как в России существовали школы, выпускавшие переводчиков японского языка, и, по словам Кодаю, о Японии «знали всё без исключения»; в то время как русские офицеры и топографы составляли карты Охотского моря, Камчатки, Сахалина и Курильских островов, — на островке Дэсима, в бухте Нагасаки, группа проверенных верноподданных сёгуна, под бдительным присмотром сёгунских надзирателей, по голландским картам и книгам составляла себе первое смутное представление о таинственной «Москубии», как произносили они перенятое от голландцев, уже устаревшее к тому времени, слово «Московия».

Эту своеобразную «академическую» атмосферу в 1771 году нарушил несколько необычный гость — барон Моридц Аладар-фон Беньовский, поляк по крови, родом из Венгрии. Поступив на русскую службу, он попал на Камчатку, учинил там бунт, захватил небольшое судно и направился на нем в Европу. Испытывая нужду в пресной воде и продовольствии, он вынужден был зайти в Нагасаки. То ли опасаясь подвергнуться участи португальских послов, явившихся в Японию без разрешения сёгуна и казнённых японцами в 1640 году, то ли набивая себе цену, или же просто горю желанием «насолить» России, где его «не оценили», Беньовский сочинил и переслал через голландцев сёгуну письмо, предупреждавшее его о якобы готовящемся со стороны России нападении на Японию⁹⁾.

Хотя абсурдность его утверждений и не вызывала сомнений у правителей Японии, пасквиль Беньовского все же побудил их к принятию первых мер к сбору фактических сведений о «рыжких варварах» — русских и еще более обострил их подозрительность,

⁹⁾ Там же.

что так отрицательно отразилось и на личной судьбе Кодаю и Исокити, и на попытках Лебедева-Ласточкина и Лаксмана установить торговые сношения между русскими владениями на Тихом океане и Японией.

Немудрено поэтому, что новая попытка с русской стороны установить с Японией торговые отношения опять ни к чему не привела. Посол Н. П. Резанов, прибывший в Нагасаки в 1804 году на «Надежде» вместе с совершавшими первое русское кругосветное путешествие И. Ф. Крузенштерном и Ю. Ф. Лисянским, в течение долгих месяцев вёл переговоры, которые к желаемым результатам так и не привели. Зато Резанов успел, несмотря на болезнь, составить изданный впоследствии Академией наук японо-русский словарь и «Краткое русско-японское руководство». Н. П. Резанов овладел японским языком еще до поездки в Японию, воспользовавшись услугами новой группы японцев, потерпевших кораблекрушение 10 мая 1794 года у острова Атка (Алеульская гряда).

Двенадцатого июня 1794 года к острову подошло судно компании Шелехова и Голикова (впоследствии — «Российско-американской компании») с управляющим промыслами компании С. И. Деларовым на борту. Снабдив спасшихся японцев всем необходимым, русские взяли их с собой в Натку, а после окончания своего рейса, 28 июня 1795 года, доставили в Охотск. Четверо из тринадцати спасенных японцев — Судая Хёбэ (Петр Киселев), Сакирая Тацудзо (Андрей Кондратов), Абэя Сабуро (Семен Киселев) и Тамияносукэ (Иван Киселев) — пожелали креститься¹⁰).

После прибытия в Петербург, весной 1803 года, где их поместили при дворце Румянцева, обеспечили роскошным столом и японской одеждой из атласа, возили во дворцы сановников, в театры, музеи, храмы, обсерваторию, показывали маневры войск в Царском Селе и запуск воздушного шара, пять дальнейших японцев данной группы также заявили Александру I о своем желании остаться в России и креститься. Они поступили в распоряжение своего соотечественника Николая Колотыгина (Синдзо), из группы японцев, спасенных в 1785 году. Колотыгин, состоя учителем японского языка при Иркутском народном училище, настолько успешно преподавал японский язык русским ученикам, что в 1799 году Правительствующим Сенатом был награжден чином коллежского регистратора, а в 1803 году в Петербурге получил русский паспорт.

¹⁰ «Донесения губернатора П. Нагеля Н. П. Румянцеву от 24 окт. 1795 и 4 июня 1796», АВПР, ф. Главный архив, 1-7, 1802-1818, д. I, папка 22.

Колотыгин оказал услуги и западно-европейскому востоковедению. Известный востоковед Клапрот пишет, что в 1805 году он консультировал его в Иркутске при переводе книги японского историка Хаяси Сихэй «Сангоку цуран дзусэцу», а также при составлении японского словаря¹¹⁾. В 1817 году была издана книга Колотыгина «О Японии и японской торговле или новейшее историческо-географическое описание японских островов. Рассмотренное природным японцем титулярным советником Николаем Колотыгинным и изданное Иваном Миллером» (СПБ, 1817).

Четверо некрещенных японцев из спасенных в 1794 году были отправлены, согласно выраженному ими желанию, на родину с миссией Резанова. Один из них, Цудзю, оказал Резанову особые услуги при составлении им словаря, грамматики и других пособий, которыми впоследствии пользовались в Японской школе в Иркутске вплоть до ее закрытия.

В начале XIX века отношения между Японией и Россией обострились из-за проникновения на Сахалин и на Южные Курильские острова, которые Россия считала своими владениями, японских поселенцев. Совершавший на «Диане» кругосветное путешествие В. М. Головнин, во время обследования южно-курильского острова Кунашир, был захвачен прибывшими туда японцами и двадцать семь месяцев провел в японском плену, пока не был обменен на японцев, взятых в плен русскими в порядке репрессии. Головнин обучил русскому языку нескольких японцев, составил несколько словарей и русскую грамматику для японцев. Опубликованные Головнинным впоследствии записки¹²⁾ сыграли непосредственную роль в зарождении православной миссии в Японии: именно эти его записки, попав в руки студента Петербургской духовной академии Ивана Касаткина (будущего архиепископа Николая), побудили его избрать путь миссионера и направиться в Японию.

¹¹⁾ M. Ramming, *Reisen schiffbrüchiger Japaner im 18. Jahrhundert*, Berlin, 1931.

¹²⁾ «Записки Василия Михайловича Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, и жизнеописание автора», СПб, 1851.

Философская автобиография

(Продолжение)

3. ПСИХОЛОГИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЙ

После получения ученой степени «*doctor habilitatis*»*), осенью 1913 года мне было поручено читать лекции по психологии. Я начал летом 1914 года с темы психология характеров и способностей, затем перешел к эмпирической психологии: психологии чувств, психологии памяти, исследованиям усталости. Я читал также патографический курс о многих больных исторических личностях.

Опираясь на изречение Аристотеля: «*Душа — это всё*», я со спокойной совестью начал под вывеской психологии заниматься всем, что можно познать, и это стало решающим для дальнейшего пути моего мышления. Ведь нет ничего, что в этом широком аристотелевском понимании не имело бы психологической стороны. Я категорически не принимал господствовавшего тогда в гейдельбергских кругах (Виндельбанд и Риккерг) опраничения психологии. Начатое в психопатологии под именем «*понимающей психологии*» стало теперь тождественным тому, что передано нам великой традицией гуманитарных и философских прозрений. Так я проникал в дали исторического мира и в глубины доступного понимания в человеке. Я преподавал «*понимающую*» психологию, в особенности социальную психологию, психологию народов, психологию религии, психологию морали. Один из этих курсов был для меня особенно важен. После окончания войны в 1919 го-

*) *Doctor habilitatis* — ученая степень, соответствующая, примерно, степени доктора наук у нас. Дает право на профессорскую кафедру. — Прим. переводчика.

«Философская автобиография» печатается с разрешения автора. См. начало в № 50 «Г р а н и». — Р е д.

ду я его издал в печатном виде под названием «Психология мировоззрений». Сам того не сознавая, я этой книгой вступил на путь философии. В этой книге переплелось множество мотивов. Об этом я рассказал в предисловии к ее четвертому изданию.

В моей «Психологии мировоззрения» есть одна трудность. Там ясно сказано: она не хочет нести в себе никакой философии. Философия в своем высшем смысле всегда пророческая философия. Психология же исследует все возможности мировоззрений. Не психология, а только философия несет мировоззрение. «Стремящийся получить ответ, как ему жить, напрасно будет искать его в этой книге». Сущность этой проблемы заключается в конкретных решениях личной судьбы. В книге же даются лишь разъяснения и возможности к самоосознанию. Она обращается к ничем неснимаемой ответственности каждого, предлагая средства ориентировки, но она не пытается поучать, как жить.

Благодаря моим тогдашним занятиям, мне позже стали ясны, во-первых, задача философии, которая, будучи все же философией, не является пророческой, проповедующей философией, и, во-вторых, разграничение собственно научной психологии от ложной психологии, представляющей собой уже философию.

Логически, основы моей психологии оставляли мировоззрения под вопросом. Они означали для меня тогда счастливую — потому что плодотворную — неясность. Я тогда еще по-настоящему не проник в суть применявшихся мною методов, хотя я и говорил о них в моей книге и хотя я в моей психопатологической работе так упорно настаивал на методологических объяснениях.

Вооружившись стремлением понять, я бросился в бездну возможностей, чтобы с помощью этого понимания найти дорогу в собственном бытии. Неповторимый внутренний подъем тех лет принес мне и моей жене, — несмотря на житейские невзгоды времен Первой мировой войны, несмотря на нужду, которую мы тогда как граждане делили со всеми другими, — счастье мысли; мы философствовали и отчетливей, чем прежде, ощущали самих себя. Вряд ли это было возможным с помощью чисто объективного научного исследования. Это духовное и человеческое воплощение нашей общей работы еще тайлось в тиши, не подвергаясь воздействию негативной критики, незамеченное, лишь отдаленно понимаемое немногими слушателями, — некоторые из них остались с нами в дружеской связи, — в основном женщины, пощаженные войной.

В 1921 году до меня дошло, что тайный советник Марциус в Киле, на совещании по вопросу о его преемнике сказал, что, читая

мою книгу, он почувствовал, что в немецкой философии вновь начинается весна. Я был поражен. Оценка была слишком высокой, но она соответствовала тому настроению, которым мы были охвачены в период работы над книгой.

В историческом аспекте «Психология мировоззрений» — первый труд в том направлении, которое позже получило название современной экзистенциальной философии. Определяющую роль играли интерес к людям, самососредоточенность размышляющего, попытка радикальной честности. В «Психологии мировоззрений» можно встретить почти все основные вопросы, которые позже выступили в яркой осознанности и в развернутом виде: вопрос о мире, — каков он для человека; о положении человека и о тех предельных ситуациях, которых он не может избежать (смерть, страдания, случайность, вина, борьба); о времени и многомерности его смысла; о движении свободы в ее самораскрытии; о бытии; о нигилизме и об оболочках; о любви; о раскрытии действительного и истинного; о путях мистики и путях идеи и т. д. Но всё это было как бы сделано на скорую руку, не разработано систематически. Общий дух всей книги был шире, чем то, что удалось высказать. Он и стал основой моих дальнейших размышлений.

Одним из мотивов моей работы было показать неискаженное величие человека, другими словами, величие, не завуалированное дурными мифами и без «разоблачений» ложной нигилистической психологии, а в свете реалистического подхода. Не на второразрядных фигурах, а на выдающихся, сильных мыслью, творческих и внутренне последовательных личностях только и стало возможным выявить суть враждебных сил.

Из числа современников, скончавшийся в 1920 году Макс Вебер был тем, кто чудесным путем на своем образе показал мне реальное величие исторически отдаленных от нас людей. Меня познакомил с ним в 1909 году Грулле. Макс Вебер — и как мыслитель и как личность — значит для моей философии больше, чем какой-либо другой мыслитель. Я это засвидетельствовал в своей речи, посвященной его памяти в 1920 году, и в одном из моих трудов в 1931 году. Только после его смерти я уясняю себе во всё большей степени, что он значил: он часто присутствует в моих философских трудах. Всю жизнь я ставил перед собой задачу понять его сущность. Но тогда он повлиял уже на проект моей «Психопатологии» и в еще большей мере на мою «Психологию мировоззрений», во введении к которой я подчерк-

нул значение для моей работы его религиозно-социологических идеал-типических построений.

Когда эта книга в октябре 1919 года вышла в свет, Макс Вебер переехал в Мюнхен. Еще лишь раз беседовал я с ним во время его продолжительного пребывания, которое он подарил нам, проезжая через Гейдельберг. Упомянув при прощанье мою книгу, он сказал тогда с присущими ему теплотой и силой: «Спасибо вам. Труд оправдал себя. Желаю вам дальнейшего плодотворного творчества». Это были его последние слова, обращенные ко мне.

4. РИККЕРТ

После смерти Виндельбанда в 1916 году ординарным профессором философии в Гейдельберг был приглашен Риккерт. Мне пришлось вместе с ним преподавать долгие годы (до 1936), сперва в качестве приват-доцента, а затем, с 1921 года, коллегой в том же университете. Когда он к нам прибыл, я был приват-доцентом по психологии. Ему доставляло удовольствие беседовать с молодым человеком. Мы часто виделись и откровенно обменивались мнениями. Я пользовался у него, так сказать, «Narrenfreiheit»^{*)}. Я ведь принадлежал к другой сфере, к психопатологии и психологии и, соответственно с тем, что школа Виндельбанда-Риккерта проводила резкую грань между философией и психологией, мне в его области делать было нечего. «Что вы, собственно, хотите, — сказал он при первой же встрече, — вы сели между двух стульев — бросили психиатрию и не стали философом?» На это я возразил: «Я получу кафедру философии; чем я на ней займусь, это уже мое дело, при той свободе профессора, которая царит из-за неопределенности предмета, называемого в университете философией». Риккерт искренно посмеялся над таким нахальством.

В 1919 году он был настроен против моей «Психологии мировоззрений». Я ему представил корректурные листы. Он мне настойчиво советовал вычеркнуть одно примечание, в котором я, в набросках «системы ценностей», процитировал, одного за другим, Мюнстерберга, Шелера и Риккерта: «Не из-за меня, а из-за вас. Вы оскрамите себя, столь неправильно поняв мою философию». Я охотно выполнил его желание, поскольку примечание не представляло особой важности. После выхода моей книги он поместил в «Логосе» уничтожающую критику со своих позиций, но все же

^{*)} Буквальный перевод: «свободой шута». — Прим. переводчика.

в дружеском, не отрезающем мне все пути, тоне, так как выговор кончался одобрительно: «С радостью приветствуем мы Ясперса в его стадии куколки».

Во многих беседах с Риккертом в течение всего периода вплоть до 1922 года один вопрос для развития моего мышления был особо важен. Риккерт считал, что научная философия может притязать на всеобщую и абсолютную значимость; я сомневался в правомочности такого притязания. В спорах с ним мне стало ясно то, что до сих пор я лишь смутно ощущал.

Научный подход был для меня еще с молодости необходимой составной частью жизни. Я не щадил усилий, чтобы постичь, что нам известно, и как получается и обосновывается это знание. Это стремление сохранялось у меня все годы, хотя в позднейшую пору и удовлетворялось лишь чтением научных трудов почти из всех областей исследования.

Но этого было недостаточно. Подлинно научно лишь критическое знание, осознающее свои границы. С тех пор как я прочел Спинозу, я мыслил такими путями, которые приносили мне, правда, философские откровения, но как раз в силу этого были научно недействительны. Когда однажды меня в клинике повстречал Нисслъ и по обыкновению спросил о работе — каковы результаты? — мне внезапно стало ясно (потому что я как раз в тот момент углубился в философствование), что существует полное смысла мышление без результатов. Но тогда это осознание не оказало еще на мою работу никакого влияния.

Теперь же это стало постоянно повторяющейся темой дискуссии между мной и Риккертом: я нападал на его философию, в частности, на ее притязания на научность; ничто ни для кого не обязательно в том, что он излагает, и меньше всего в его «системе ценностей». Я стремился обнаружить это, выдвигая каждый раз особые тезисы. А в целом я подчеркивал, что его философия, как, впрочем, и всякая другая, никогда не находила всеобщего признания, которое сопутствует научным открытиям. При этом я развил идею философии как чего-то в корне отличного от науки. Она должна удовлетворять такому притязанию на истину, которое науке неизвестно; она покоится на ответственности, которая науке чужда; она творит нечто, что для науки остается недостижимым. Основываясь на этом, я возражал против форм его мышления, говоря, что он, собственно, и не философ, а занимается философией, как занимается своим предметом физик. Разница лишь в том, что он создает утонченные логические построения, которые в целом подобны мыльным пузырям, а физик фактически позна-

ет нечто, когда он реалистически проверяет свои умозрения. Риккерт это тогда забавляло, как болтовня молодого человека, сбившегося с пути академической работы и не имеющего почти никаких надежд на продвижение в стенах университета. Когда я однажды невольно заговорил о нем, по поводу одной из его мыслей, как о философе, он весело крикнул своей жене, входившей в это время в комнату: «Только что Ясперс объявил меня философом».

Риккерт был пронизательным мыслителем, высокообразованным поклонником Гёте, литературно одаренным человеком, выдающейся личностью на факультете, другом Макса Вебера. Пока был жив Макс Вебер, между Риккертом и мной, несмотря на «Психологию мировоззрений», сохранялись еще хорошие отношения. Само существование Макса Вебера было как бы защитой для всех добрых начинаний и, одновременно, ограничением самоуверенности Риккерта. Когда Риккерт однажды на воскресной встрече в доме Макса Вебера говорил о своей системе, о шести областях ценностей, об одной из этих областей — об эстетике — как о философии совершенных ценностей настоящего и философствовал о любви, Макс Вебер неожиданно гневно прервал его: «Да прекратите же ваш «беседочный стиль» (тогда так называли — по одному сентиментальному мещанскому журналу — чувствительную патетику); всё это ерунда».

Макс Вебер в книге Риккерта «Границы естественнонаучного образования понятий» частично распознал свой собственный методологический подход, который он выработал как историк, экономист и социолог. В своей безграничной широте и великодушии он из благодарности в этих логических вопросах всегда ссылался на Риккерта и некоторые свои положения представлял как простое следствие и применение образа мышления Риккерта.

Когда Макс Вебер в 1920 году скончался, для меня как бы изменился весь мир. Не стало большого человека, который оправдывал и вдохновлял его в моем сознании. Макс Вебер был авторитетом, который никогда не проповедовал, не снимал ответственности, а поощрял то, в чем убеждалось его строгое и ясное человеческое мышление. Теперь же как бы исчезла инстанция, которой в разумных дискуссиях принадлежало абсолютно надежное, хотя непосредственно не выявленное руководство; инстанция, из глубины которой рождались подход к современности и оценка действий, событий и познаний.

После смерти Макса Вебера я медлил отправиться к Риккертту, опасаясь неуместных слов перед лицом этого события с его необозримым значением для нашего духовного и германского бы-

тия. Лишь на пятый день я решился. Вначале мы обменялись несколькими взволнованными фразами, что меня было успокоило. Но затем Риккерт начал говорить о Максе Вебере как о своем ученике, признавая, правда, его выдающуюся личность — ему самому вровень, — но тут же подчеркивая трагическую разбросанность его трудов и малую эффективность его умозаключений. И тогда случилось то, чего я боялся. Я вспыхнул и бросил ему в ответ: «Если вы думаете, что вас с вашей философией в будущем вообще вспомнят, то это только потому, что вы фигурируете в одном примечании к трудам Макса Вебера как тот, кому Макс Вебер выразил благодарность за разработку логического подхода».

С тех пор отношения между Риккертом и мной были нарушены. Это столкновение обнаружило серьезность положения, которая не давала уже ему возможности сохранить за мной «*Narrenfreiheit*». Когда несколькими неделями позже я по приглашению гейдельбергского студенчества выступил с речью в память Макса Вебера (сенат Гейдельбергского университета отклонил предложение устроить торжественный университетский акт) и Риккерт прочел текст моей речи, он мне при ближайшей встрече зло заметил: «То, что вы из Макса Вебера создаете философию — это ваше право, но что вы его называете философом — это абсурд». С тех пор Риккерт стал моим врагом.

В 1921 году, в связи с отъездом в Берлин Генриха Майера, освободилась вторая кафедра по философии. Я со своей стороны получил приглашение в Грейфсвальд и Киль, но охотно остался бы в единственном, столь окрыляющем духовно, дорогом нам по воспоминаниям Гейдельберге. Риккерт сперва делал всё, чтобы этому воспрепятствовать. Уже в 1920 году, когда освобождавшиеся кафедры, казалось, открывали передо мной все возможности, он сказал мне, что считает очень маловероятным, что меня пригласят: поскольку я не философ, то нахожусь вне тех специальностей, по которым открылись вакансии. Я ему ответил: «Я не верю в это, ибо это было бы позором для германских университетов». Теперь же он обосновывал мою неподготовленность тем, что я и в силу своего прошлого и по своему складу нахожусь под влиянием естественноисторического метода мышления. Но Риккерт ошибался. Эти приглашения приходили ко мне, хотя, вопреки желанию представителей философии, исходили они от факультетов и правительств. И в Гейдельберге обоснование Риккерта не встретило отклика; предложенные им кандидаты не прошли. Приглашительная комиссия и факультет добились моего пригла-

щения, к которому Риккерт со своей стороны, в конце концов, присоединился.

Отрицательное отношение Риккерта было выражением общего отрицания. В кругу профессиональных философов я считался чужаком. Уже получение мною степени *doctor habilitatis* в 1913 году встретило неудовольствие молодых людей, изучавших философию и в свою очередь помышлявших об этой степени. Я не обладал даже степенью доктора философии, я был доктором медицины. Традиционного философского образования у меня не было. Так я и остался посторонним, даже сделавшись ординарным профессором. Риккерт и другие профессора философии пытались создать обо мне молву, будто я только романтик и к тому же недаровит, путаник и высокомерен; будто я написал лишь одну хорошую книгу, мою «Психопатологию», но затем, к сожалению, отклонился от predeterminedного мне моими способностями пути. Когда Риккерт позже писал о гейдельбергской традиции в философии и упомянул каждого приват-доцента, меня он игнорировал. Но всё же Риккерту была присуща самостоятельность, возвышавшая его над его «цехом». Он обладал юмором. Во время последнего визита, который я нанес ему незадолго до его скоропостижной кончины, он читал моего только что вышедшего «Ницше» и сказал мне тогда: «Благодарю вас. Я нахожу книгу превосходной. Она, не в обиду будь вам сказано, господин Ясперс, научная книга».

5. ФИЛОСОФИЯ

Когда я 1 апреля 1922 года стал ординарным профессором философии в Гейдельберге, я был, по моей собственной оценке, в сущности еще не созревшим. Теперь я принялся за изучение философии по-новому и более основательно. Вопреки всем моим прежним целепостановкам, я теперь решился сделать философию своим жизненным призванием. Моя задача была мне ясна. Профессорская философия была, казалось мне, собственно не философией, а сплошным разбором — с притязанием на научность — вещей, не существенных для основных вопросов нашего бытия. Я сам в моем сознании прирожденным философом не был. Макса Вебера не стало. Если духовный мир опустошен в отношении философии, то тогда задачей является, по меньшей мере, свидетельствовать о философии, направлять взоры к великим философам, предупреждать смещение понятий, поощрять в молодежи вкус к собственно философии.

К 1920 году я стоял на распутье. Моя «Психология мировоззрений» имела успех. Ее тогда много читали. В годы, когда она рождалась, возникли также рукописи моих лекций по религиозной и социальной психологии, по психологии народов, психологии морали. Подготовить три новых книги не представляло трудностей. К моим услугам была обширная литература: я мог дать развернутое изложение. Достигнутый мною уровень трактовки предметов — быть может содержательной, но философски необоснованной — мог быть развернут и в ширину. Искушение было велико: каждый год или каждые два года выпускать по одной такой книге, с надеждой на возможный временный успех. Этому противостояло сознание, что то, что было присуще моему внутреннему складу, моей оценке людей и явлений, нельзя разумно объяснить таким путем. Подмена философии, хотя бы и весьма расширенными психологическими рассуждениями, с использованием хотя бы и чрезвычайно интересного исторического материала, была бы уклонением от серьезности задачи самопонимания в бытии. Она бы свелась к ничему не обязывающему занятию с простым напромождением предметов. Задача, которую я сам перед собой поставил, требовала особой методической созерцательности и проникновения в немногие самобытные великие философские труды. Как и прежде, я занимался историей и теми реальностями, что раскрываются во всех науках, но занимался лишь дополнительно, в часы усталости. Главной задачей было взобраться на вершины собственно философии. Это осуществлялось медленно. Внезапные прозрения относительно того, что именно важно, приобретали устойчивость и связность только в работе, принявшей теперь новый характер. Не заучиванием и умножением знаний достигалось заданное, а лишь формами мышления и способами рассуждений, которым, собственно, нельзя было научиться, но которые оттачивались в общении с великими философами. Нужно было поднять мышление на иной уровень. Это было решением начать как бы всё сызнова.

Я размышлял тогда над сложившейся обстановкой. Обыкновенная профессура, — так рассуждал я, — принесет мне полную свободу. Мне не нужно будет больше печататься для получения кафедры. Я буду получать мое жалование, которое, по традиции, не налагает на профессора никаких условий, ограничений, контроля и означает, что он отдает свои силы полностью, но лишь свободно поставленным им самим перед собой заданиям, и при этом своей преподавательской деятельностью знакомит молодежь со своей работой. Я решил, что мои публикации временно должны прекра-

тяться. Две работы — о Стриндберге и ван-Гоге (1922 г.) и об идее университета (1925 г.) — были новой редакцией рукописей, относящихся еще к тому времени, когда я не был ординарным профессором.

Последствием того, что на протяжении лет до конца 1931 года я ничего не публиковал, были высказывания некоторых нерасположенных ко мне коллег, что теперь, с получением профессорской кафедры, я превратился в ничего не делающего сибарита. Чем дольше длилось такое положение, тем сильнее крепла убежденность в том, что от меня нечего больше ожидать. «Психология мировоззрений» дала вспышку, подобно соломее в огне. Риккерт не скрывал своего презрения к моей «сверхнауке». Моя дельность психопатолога, создавшая мне научную репутацию, исчезла. Моя репутация в Гейдельберге испортилась до такой степени, что меня считали конченным. Казалось чудом, что я собирал многочисленных слушателей. Это приписывали свойствам, принесшим мне прозвище «совратителя молодежи».

Мои лекции и семинары отнюдь не были безапелляционными вещаниями. Я находился в процессе работы над тем, что еще было в периоде становления. Услужливые ученики моих коллег сообщали, что я преподавал легкомысленно, без ориентировки, как человек, никогда не изучавший философии. Другие слушатели сидели, затаив дыхание потому, что в направленности и возможностях им открывался мир, о котором они раньше почти не имели представления. Мои лекции были для меня дорогой разработкой, а не передачей готового учения.

Эти лекции по традиционному делению были частью историческими, частью систематическими. В историософских лекциях я воспроизводил мысли и картины, усвоенные мною во время научных занятий, характеристики эпох и смысл их рациональных формаций и методов. Вне связи с хронологическим порядком, я останавливался на всех эпохах европейской истории философии. Сам себе я напоминал дирижера оркестра, раскрывающего бывшее в настоящем.

Труднее, углубленнее и существеннее были лекции, в которых я пытался выработать для самого себя такое основное знание, которое бы, благодаря собственному прозрению и усвоению, звучало бы во мне самом убедительно. Речь шла уже не о передаче мнений — пусть даже исключительно ценных, — но о самой истине в восприятии человека современности. В лекциях по логике, учению о категориях, метафизике, анализу бытия я сперва еще облакал существенное для меня в формы того, что я хотел прео-

долеть, именно в формы логически объективного и психологического. Внезапные постижения и терпеливое абстрагирование чередовались одно с другим.

Некоторые конкретные озарения не нашли себе места в возникших затем из лекций книгах; мои слушатели считали это изъясном и позднее указывали мне порой на это.

О том, что я излагал на лекциях и семинарах, в продолжение десятилетия общественность ничего не знала. В плане академическом я жил в чуждом мне мире профессоров философии. Мое духовное творчество было одновременно осторожным и рискованным, было временами основательным, временами порывистым.

То, что делали другие, и то, что пытался делать я, шло рядом, не соприкасаясь. Я не боролся с другими как противник. В то время как Риккерт в своих лекциях к удовольствию, а иногда и к неудовольствию студентов нападал на меня, я преподавал так, как если бы других академических философов вообще не существовало, никогда не нападал на моих коллег. В целом я чувствовал себя стоящим на правильном пути. Но сомнения всё же находили на меня. Одиночество в среде коллег по профессии требовало от меня, чтобы я сам нашел себе оправдание в своей работе.

С 1924 года я планомерно подготавливал свой труд, вышедший в декабре 1931 года в трех томах, под названием «Философия». Но он еще не имел ни формы, ни распорядка. Множились заметки. Даже в поездки я брал с собой блокнот. Туда часто записывались отдельные положения. Частное обреталось раньше целого. Последнее не развивалось из какого-либо принципа, но росло спонтанно. Распорядок целого отходил на второй план.

Все, что не относилось по необходимости к существу, отставлялось в сторону. Существенным же было ответить на вопрос: что есть философия, и в каких измерениях она движется, — но не столько рассуждениями, сколько раскрытием конкретных опытов. Все, что мне бросалось в глаза при встречах с людьми, на факультетских заседаниях, в газетах, на улицах и в поездах, но, прежде всего, в созерцании любимых людей и их судеб, — всё это переводилось в формулировки, в которых нельзя было распознать исходный пункт. То, что поведали мне великие философы, было разработано в применении к современной истине. Скромные, казалось бы, случайные поводы приносили мне прозрения. Правда, подобная работа — это работа с планами и расчетами. Но она удастся лишь в том случае, если постоянно дает себя знать и нечто другое: мечтания. Часто я устремлял взоры в природу, на небо, к облакам, часто я садился или ложился, бездействуя. Только покой

созерцания, при вольном полете фантазии, вызывает импульсы, без которых каждая работа становится бесконечной, несущественной и пустой.

Мне думается: кто не мечтает ежедневно, хотя бы немного, для того меркнет путеводная звезда, которая может озарять любую работу, любые будни.

Моя философская работа обуславливалась двумя предпосылками, осознанными мною в дискуссиях с Риккертгом, освещаемых Максом Вебером. Во-первых: научное познание есть необходимый момент в философствовании. Истинность сегодня немислима без науки. Правильность познания в науке совершенно независима от философской истины, но существенно для нее важна, больше того: необходима. Наука, однако, не может понять, для чего она существует. Она не указывает смысла жизни, не осуществляет водительства. Она имеет границы, которые, при ясном методическом сознании, ясны ей самой.

Второй предпосылкой было: существует мышление, не являющееся обязательным и общеприменимым в научном смысле, не дающее, следовательно, результатов, принимающих формы познания. Это мышление, называемое нами философским мышлением, приводит меня ко мне самому, рождает последствия произведенным им внутренним деланием, пробуждает во мне то самое, что только и осмысляет саму науку.

Отсюда возникла задача выделить науку во всей ее чистоте как осознавшее свои методы обязательное и общезначимое познание и соответственно расценивать ее результаты. Но одновременно вставала и другая задача: выделить в чистом виде философское мышление, не только не направленное против науки, но находящееся в постоянном союзе с ней, являющееся не сверхнаукой, а по своему смыслу радикально иным мышлением. Тяжесть ответственности за чистоту науки неотделима от тяжести ответственности за приводящее меня ко мне мышление философии.

Через мою жизнь прошло и то и другое: постоянный интерес к науке, требование научности от каждого, притязающего быть философом, утверждение необходимости науки и ее величия и интерес к философствованию, требование преобразующего мышления, не несущего существенно объективных результатов, утверждение зависимости смысла науки (не ее правильности) от философии.

Следствием было то, что я стремился противостоять презрению к философии многих представителей науки и презрению к

наукам на путях философствования, противоречащего здравому смыслу.

Другим следствием было то, что в моем представлении — в отличие от наук, где можно отделить исследователя от содержания познанного — философствующий человек неотделим от своего философствующего мышления. Нет такой вещи в философии, которую можно было бы отделить от человека. Нельзя обойти философствующего человека, его духовный опыт, его действия, его мир, его повседневное поведение, силы, из него исходящие, если размышляешь с ним.

Время общей работы над «Философией» для моей жены и меня — драгоценное воспоминание, тем более, что в работе интенсивно участвовал и любимый брат жены, мой друг Эрнст Майер (об этом в следующей главе). Мы вступили в первую зрелость нашей жизни.

Содержательность философии заставила нас более сознательно относиться к себе. На фоне зловеще-угрожающего в жизни, ужасов, которым мы напряженно внимали, переработка всего этого в мышлении была наполненным печалью счастьем. Внешним выражением, но лишь в минуты душевного спокойствия, в темновении, когда сознание находило нужный язык, была тема. Жена переписывала мои рукописи, нечеткие для других. Она читала и делала заметки, ставшие как бы еще одной — письменной — связью в собственном доме, наряду с разговорами.

Особенно в последний год работы мы не знали усталости. В день, когда рукопись была отослана в печать, мы отправились (в октябре 1931 года) в Белладжо, чтобы, бесподобно насладившись чистой красотой озера Комо и его вилок под солнцем античной веры в поостороннее, отдохнуть перед дальнейшей работой.

О содержании моей «Философии» (вышла в свет в декабре 1931 года, помеченная 1932 г.) я не рассказываю. В ней философская мысль в основном ее изложении распределена применительно к способам трансцендирования. Целое не представляет собой какой-либо системы. Необязательно читать отдельные главы в порядке их помещения. Каждая глава есть само в себе законченное построение мысли, воспринимать которое следует, читая главу как целое. Книга не носит названия «Экзистенциальная философия» («Existenzphilosophie»), так как замыслом ее было в духовно скромном настоящем найти воплощение вечно-философствующего, в полном его объеме. И только вторая книга, подготовленная восемью годами лекций, носила категорическое название: «Озарение существования» («Existenzerhellung»). Метафизику сле-

довало не отвергать, а усваивать. Я формулировал эту задачу в моей одновременно вышедшей книге «Духовная ситуация эпохи»^{*)}. Здесь же я привожу лишь смысл того, что подразумевается под именем экзистенциальной философии:

«Экзистенциальная философия есть форма мышления, которая использует все формы эмпирического знания, но выходит за их границы, это есть та форма мышления, посредством которого человек стремится стать самим собой. Это мышление направлено не на познание предмета, оно проясняет и выявляет бытие самого мыслящего человека. Это мышление приходит в движение, выходя за границы той формы познания мира, которая приводит к омертвлению бытия. Это мышление помогает уяснить место человека в мире, обращается к его свободе, тем самым освещая смысл его существования, и в перспективе трансцендентного выявляет то, что является абсолютным долженствованием человека (безусловной мерой его поступков). Последнее есть область метафизики». (О смысле, возникновении и целях этой философии можно найти дальнейшие изложения в послесловии к третьему изданию этой книги. Том I, стр. XV—LV, 1955 г.).

Перевод с немецкого А. Неймирока

^{*)} «Geistige Situation der Zeit».

(Продолжение следует)

Современность и будущее

(Продолжение)

ОТНОШЕНИЕ ЗАПАДА К РЕЛИГИОЗНЫМ ВОПРОСАМ

Перед этим развитием, сейчас, в XX веке христианской эры, и стоит Западный мир с его наследием римского права, сокровищем метафизически обоснованной иудейско-христианской этики и идеалами естественных прав человека и задает себе явно и тайно вопрос: можно ли остановить, а еще лучше — обратить вспять это развитие? Клеймить социалистическую диктатуру словом «утопия» и осуждать ее хозяйственные основы как экономически неразумные не имеет смысла, да и неправильно, ибо, во-первых, принимающийся судить Запад говорит-то ведь сам с собой, и аргументация его рассматривается лишь по эту сторону «железного занавеса», а, во-вторых, потому, что никакие экономические принципы не могут быть проведены в жизнь, если бояться связанных с ними жертв. Ведь, действительно, если выморить голодом три миллиона крестьян и получить в свое распоряжение несколько миллионов бесплатных рабочих рук, можно провести любые общественные и хозяйственные реформы. Государство такого рода может не бояться ни социальных, ни экономических кризисов. А пока государственная власть не затронута, т. е. имеет в распоряжении хорошо дисциплинированную и снабженную полицейскую силу, она может сохранять свое государство неопределенно долгое время и увеличивать свою мощь в столь же неопределенном масштабе. Не оглядываясь на мировой рынок, в высокой степени зависящий от заработной платы, оно может, соответственно приросту населения, почти неограниченно увеличивать объем своей бесплатной рабочей силы и сохранять таким образом свою способность к конкуренции. Действительная опасность грозит ему только извне, только в результате вооруженного нападения. Вероятность такого нападения однако из года в год уменьшается как в

силу неудержимого роста военного потенциала тоталитарных государств, так и в силу того, что Запад не может позволить себе разбудить вооруженным нападением дремлющий российский или китайский национализм и шовинизм и в результате поставить свою правильно задуманную кампанию на безнадежно ложную дорожку.

Остается, насколько можно видеть, лишь одна единственная возможность, а именно — разложение государственной власти изнутри; эта возможность, однако, лежит полностью в рамках внутреннего развития. Поддержка такого развития извне, по крайней мере на первое время и перед лицом действующих полицейских мероприятий и угрозы националистической реакции, остается иллюзорной. Внешнеполитически в распоряжении абсолютного государства находится армия фанатических миссионеров, а эти последние могут в свою очередь рассчитывать на услуги «пятой колонны», которой правопорядок западных государств гарантирует безопасность. Находящиеся в определенных местах весьма многочисленные общины соответствующих верующих вызывают, кроме того, ощутительное ослабление демократических государств к принятию решений. Аналогичное же влияние Запада по ту сторону рубежа невидимо и не поддается учету, хотя признание определенных оппозиционных настроений среди народных масс на Востоке отнюдь не будет ошибочным. Существуют же всегда и везде честные и прямые люди, ненавидящие принуждение и ложь, и мы только не в состоянии судить, могут ли они в условиях господствующего полицейского гнета приобрести сколько-нибудь решающее влияние на народные массы.

Перед лицом такого положения вещей на Западе снова и снова поднимается вопрос: что же мы все-таки должны делать против этой угрозы? Ведь Запад, хоть и обладает значительной экономической мощью и вполне ощутимым оборонительным потенциалом, не может успокоиться, осознав только эти факторы, ибо мы знаем, что даже самые лучшие пушки и самая мощная промышленность, связанная с относительно высоким жизненным уровнем, недостаточны, чтобы положить предел психологической инфекции, принимающей формы религиозного фанатизма. Люди всегда недовольны, и если даже каждый рабочий обладает автомобилем, он все же остается обиженным жизнью пролетариатом, потому что другие имеют два плюс еще лишнюю ванную комнату.

На Западе, к сожалению, все еще не замечают, что наши призывы к идеализму, к человеческому разуму и другим весьма желательным добродетелям вылетают в пустоту, даже если они про-

износятся с энтузиазмом. Это лишь легкий вздох, по сравнению с бурей религиозной веры, в каком бы искаженном виде она ни представлялась нам. Мы стоим здесь не перед ситуацией, с которой можно справиться при помощи разумных или нравственных доводов, но с развязанными духом времени эмоциональными силами и представлениями, которые, как известно из опыта, не поддаются влиянию ни разумных соображений, ни моральных призывов. Уже не однажды высказывалась правильная мысль, что алексифармакон, противоядие, в этом случае состоит в столь же сильной вере, но другого, нематериалистического характера, что основанная на такой вере религиозная жизнь была бы единственно действенной защитой от опасности психоинфекции. Почти всегда употребляемое в этих рассуждениях сослагательное наклонение, «должна была бы», указывает однако на известную слабость, если не вообще на отсутствие желательной убежденности. Западному миру не только не достает универсальной веры, способной препредить путь идеологическому фанатизму, но, хуже того, именно Запад как отец марксистской философии нередко исходит из тех же духовных предпосылок и ставит себе те же цели и пользуется теми же доводами, что и марксизм. Церкви, правда, пользуются на Западе полной свободой, но люди ходят в них не больше и не меньше, чем на Востоке, и на общий ход политических событий они не оказывают заметного влияния. Беда вероисповеданий как общественных организаций ведь именно в том, что они служат двум господам, с одной стороны, выводя своё существование из взаимоотношения человека с Богом, а с другой — принимая на себя обязанности по отношению к государству и опираясь в этом как на слова «отдай кесарю кесарево, а Богу богово», так и на другие места в Новом Завете. Поэтому-то, начиная с самого раннего времени и до последних десятилетий, использовалась лишь теперь устаревшая формула о «Богом поставленной власти». Церкви представляют собой сегодня традиционно-коллективные убеждения, которые у слишком уж многих верующих покоялись не на личном духовном опыте, а на *необдуманной вере*, которую, как известно, очень легко потерять, если над ней задуматься. Содержание веры сталкивается в этом случае с содержанием познания, причем нередко оказывается, что иррациональное зерно веры не может противостоять рассудку. Дело в том, что вера сама по себе не может заменить внутреннего опыта, и там, где его нет, даже сильнейшая вера, чудесно полученная как *donum gratiae* (дар свыше), может так же чудесно исчезнуть. Вера, правда, обозначается как собственно религиозный

опыт, но при этом не принимается в расчет, что она ведь, по существу, лишь вторична и питается тем, что непосредственно случается и что внушает нам «*pistis*», т. е. доверие и преданность. Каждое такое переживание имеет определенное содержание, которое может быть и предметом конфессионального толкования. Чем, однако, чаще это случается, тем чаще появляется возможность беспредметных, по своей природе, столкновений с рассудочным значением. Конфессиональное восприятие архаично и полно навязчивой мифологической символики, которая, если воспринимать ее дословно, оказывается в нестерпимом противоречии со знанием. Если, например, рассказ о Воскресении Христа принимать не дословно, а символически, его можно толковать в нескольких различных смыслах, не сталкивающихся с рассудочным знанием и не умаляющих значение рассказа. Мнение, будто при символическом понимании уничтожается христианская надежда на бессмертие души, неосновательно, потому что человечество уже задолго до Христа верило в затробную жизнь и не нуждалось в Воскресении Христа как особом залогe бессмертия. Опасность, что переизбыток слишком буквально понимаемых мифических элементов, принятых церковным учением, будет внезапно наталкиваться на безоговорочное отрицание, сегодня больше, чем когда-либо. Не пришло ли время, вместо того, чтобы начисто отрицать, попытаться понять христианские мифологемы символически?

Пока еще невозможно охватить все последствия, которые влечет за собой усмотрение фатального параллелизма между церковью и марксизмом как формами государственного вероисповедания. Претензия на абсолютность со стороны людей, представляющих *civitas Dei* (государство Божие), увы, слишком уж напоминает тоталитарную божественность государства, а нравственный вывод, сделанный Игнатием Лойолой из авторитета церкви («цель оправдывает средства»), слишком опасный предшественник лжи как средства государственной политики. Оба направления, в конце концов, требуют безоговорочного подчинения в вопросах веры и ограничивают, таким образом, свободу человека одно — перед Богом, другое — перед государством, копя могилу индивидуальной личности. И без того хрупкое существование этой единственной известной носительницы жизни с обеих сторон оказывается под угрозой, хотя с одной — ему обещают духовную, а с другой — материальную опеку плюс идеальные условия существования. А много ли людей способно оказывать постоянное и действенное сопротивление мудрости, выраженной в пословице

«лучше синица в руках, чем журавль в небе» (дословно «лучше воробей в руке, чем голубь на крыше»)?

К этому нужно прибавить, что ведь Запад, как я уже достаточно показал выше, поклоняется тому же «научному», просветительствующему мировоззрению, с его статистически уравнительной тенденцией и материалистическим целеполаганием, что и восточная псевдорелигиозная государственность.

Что же может Запад, с его политическими и конфессиональными раздорами, предложить теснимой со всех сторон современной личности? К сожалению, ничего, кроме множества различных путей, ведущих, в конце концов, к цели, почти ничем не отличающейся от марксистского идеала. Право, нет нужды в большом напряжении ума, чтобы усмотреть, откуда у коммунистических идеологов берется их твердая уверенность, что время работает на коммунизм, что мир созрел для обращения в коммунистическую веру. Факты говорят в этом отношении слишком ясно. И Западу никак не помогут попытки закрыть на это глаза и не признавать своей роковой уязвимости. Кто однажды научился безоговорочно подчиняться коллективному убеждению и отказался, таким образом, от своего исконного права на свободу и от своего столь же исконного долга нести свою собственную ответственность, тот, оставаясь верным этому своему отказу, может, с той же силой веры и с тем же отсутствием претензий, броситься в противоположную сторону, если перед его так называемым идеализмом замаячит другое «лучшее» убеждение. Что случилось не так давно с одним из народов европейской культуры? Немцев теперь упрекают в том, что они забыли об этом, в то время как нет никаких гарантий, что в других странах не случится того же. Не будет никаким чудом, если это случится, то есть если другой культурный народ окажется жертвой психоинфекции, действующей путем стандартизированного одностороннего убеждения. Уместно спросить: в каких странах действуют самые сильные коммунистические партии? Соединенные Штаты, которые — *o quae mutatio rerum!* (о как меняется положение!) — составляют, по существу, политический позвоночник Западной Европы, хоть и кажутся, в силу их подчеркнутой противоположной позиции, невосприимчивыми, на самом деле, пожалуй, подвержены наибольшей опасности, поскольку образование и воспитание там особенно сильно подчинено влиянию естественнонаучного мировоззрения, с его статистическими истинами, а разнородное население лишь с известным трудом укореняется в лишенной истории почве. Особенно необхо-

димое в этих условиях историческое и гуманистическое образование ведет, напротив, жизнь Золушки. Европа обладает, правда, в этом отношении лучшими предпосылками, употребляет их однако себе же во вред, придавая им форму национального эгоизма и парализующего скепсиса, объединенных материалистическим и коллективистическим целеполаганием и лишенных как раз того, что охватывает и выражает всего человека, того, что делает именно человеческую личность мерю всех вещей и центром мироздания.

Уже сама эта мысль вызывает повсюду сильнейшие сомнения и сопротивление, и, кажется, можно даже решиться на утверждение, что ничтожество отдельной личности перед лицом больших чисел — единственное действительное всеобщее и безоговорочное убеждение. Говорят, правда, что современный мир стал миром человека, что человек стал теперь господином воздуха, воды и земли, и что от его решения зависят исторические судьбы народов. Но гордая эта картина человеческого величия, увы, — всего лишь иллюзия и никак не соответствует действительности. Действительность выглядит иначе. В действительности человек это — раб и жертва машин, завоевывающих ему пространство и время; он подавлен мощью собственной военной техники, угрожающей ему, вместо того, чтобы защищать и отстаивать его физическое бытие; его духовная и нравственная свобода в одной части мира хоть и обеспечены в рамках возможности, но находятся под угрозой потери ориентации и хаоса, а в другой части — попросту уничтожены. И, наконец, чтобы обрисовать и комическое в трагедии, — именно этот царь природы, этот носитель исторических решений придерживается взглядов, в свете которых его собственное величие оборачивается ничтожеством, а его свободная воля — смешной иллюзией. Все его достижения и приобретения не возвышают, а, напротив, принижают его, как это ярко демонстрирует судьба рабочего под властью «справедливого» распределения благ: свое соучастие в социалистическом производстве он ведь оплачивает потерей собственности, свободу выбора работы обменивает на прикрепление к предприятию, причем теряет и все средства борьбы за улучшение своего положения; а чтобы он не пытался сопротивляться потопной сдельщине или предъявлять какие-либо требования духовного порядка, ему вколачивают в мозги политические проповеди, хоть порой и одобренные кое-ка-

кими специальными знаниями. И все же, крыша над головой и каждодневный корм рабочей скотины — немало, если подумать о том, что даже предельный жизненный минимум в любой момент может быть урезан.

САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Удивительно, как человек, этот бесспорный зачинщик, изобретатель, носитель всякого рода развития, источник всех суждений и решений и планировщик будущего, сам себя превращает в *quantité négligeable* (в величину, которой можно пренебречь). Противоречивая и парадоксальная оценка человеческой природы самим человеком, в самом деле, — поразительное явление, которое можно объяснить разве что исключительной неуверенностью в суждении; другими словами, человек сам для себя загадка. Это происходит совершенно понятным образом потому, что в деле самопознания ему не с кем себя сравнивать. Он может отделить себя от других *animalia in primo* (в порядке) анатомическом и физиологическом, но в качестве сознательного, способного к самонаблюдению и одаренного речью существа он лишен какой бы то ни было меры для сравнительного суждения о самом себе. Он представляет собой на этой планете уникал, лишенный сравнимого подобия. Возможность сравнения, а вместе с ней и самосознания появилась бы лишь в том случае, если бы мы могли установить связь с другими теплокровными человекоподобными существами, живущими, может быть, в других созвездиях. А до тех пор человечество должно жить подобно отшельнику, который знает, что хоть с точки зрения сравнительной анатомии он и находится в родстве с антропоидами, с точки зрения психологии он, как показывает наблюдение, чрезвычайно отличается от своих родичей. Как раз в отношении важнейшего признака своей породы он не может познать себя и остается сам для себя загадкой. Незначительные же различия внутри собственной породы не могут иметь особого значения в сравнении с возможностями познания, которые открылись бы в случае встречи с существами сходной природы, но иного происхождения. Человеческая душа, в первую очередь ответственная за изменение лица нашей планеты, произведенное человеком в ходе истории, остается пока что неразрешимой загадкой и необъяснимым чудом, а, следовательно, предметом постоянных затруднений; свойство, которое, впрочем, роднит ее со всеми тайнами природы. Но если в отношении этих

тайн мы можем, не теряя надежды, делать еще много открытий и находить ответы на затруднительнейшие вопросы, то в отношении души и науки о душе, имеется, как кажется, своеобразная преграда: психология как эмпирическая наука появилась очень недавно и испытывает большие трудности уже в самом подходе к своему предмету. Подобно тому, как нужно было сначала освободиться от предрассудка геоцентричности в нашей картине мира, так и здесь чувствуется необходимость в большом, почти революционном напряжении, чтобы вывести психологию из плена мифических представлений и изгнать затем из нее предрассудочные мнения о том, будто душевная жизнь, с одной стороны, лишь эпифеномен биохимических процессов в мозгу, а с другой, будто она ограничена рамками индивидуальной личности. Хоть связь души с мозгом сама по себе еще не доказывает, что душа лишь так называемый эпифеномен, вторичное несамостоятельное явление, каузально зависимое от биохимических процессов в субстрате (т. е. в мозгу. — Примечание переводчика), но с другой стороны, нам отлично известно, в какой высокой степени душевная деятельность может доказуемым образом нарушаться в результате определенных мозговых явлений. Этот факт до такой степени впечатляющ, что эпифеноменальный характер психической жизни представляется чуть ли не неизбежным выводом. Парапсихологические явления, однако, заставляют и здесь соблюдать осторожность, указывая на релятивизацию времени и пространства психическими факторами и ставя под вопрос наши действующие ныне, несколько преждевременные и наивные, объяснения психофизического параллелизма, в пользу которых, будь то из мировоззренческих соображений или по причине интеллектуальной лени, и происходит голое отрицание данных парапсихологического опыта. Это отрицание ни в коем случае, конечно, не может считаться научно обоснованным, хоть и представляет собой удобный выход из совершенно необычного затруднения мысли. Для суждения о психических явлениях мы должны ведь учитывать все относящиеся сюда данные, что делает невозможным создание общей науки о душе, не признающей существования бессознательного или исключаящей парапсихологию.

Ни строение, ни физиология мозга не дают возможности объяснить явление сознания. Душа обладает своеобразием, несводимым ни к чему другому или подобному. Психология, как и физиология, представляет собой относительно замкнутую в себе область знания, имеющего совершенно особое значение, поскольку оно несет в себе одно из двух *необходимых условий бытия* вооб-

ще, а именно — явление сознания. Без сознания ведь практически нет никакого мира, ведь мир-то существует лишь постольку, поскольку он сознательно отражается и выражается в душе человека. *Сознание есть условие возможности бытия.* А этим психическому бытию присваивается значение космического принципа, который — философски или *de facto* — обеспечивает ему место рядом с принципом бытия материального. Носитель сознания, — человеческая личность — не произвольно выделяет из себя психику, а наоборот: образуется последней и вживается в постепенно пробуждающееся в детстве сознание. Поскольку психическая жизнь имеет, таким образом, исключительное эмпирическое значение, такое же значение имеет и человеческая личность, это единственное выражение психического бытия.

Необходимо решительнейшим образом подчеркнуть этот факт, потому что индивидуальная душа, в силу именно ее индивидуальности, во-первых, составляет исключение из статистически обоснованных закономерностей и поэтому и в ходе научного анализа, использующего статистически-уравнительный метод, лишается одного из своих важнейших признаков, в то время как, во-вторых, со стороны оцерковленных вероисповеданий, за ней признается значение лишь постольку, поскольку она подчиняется той или иной догме, или, иными словами, коллективному убеждению. И в том и другом случае воля к индивидуальности рассматривается лишь как эгоистическое своеволие. Наука не видит ее ценности, считая лишь субъективной, а религии нравственно осуждают ее как источник ереси и духовной гордыни. В этом последнем случае, однако, надо сказать, что в отличие от других религий как раз христианство дает нам символ того, что именно личная жизнь человека и сына человеческого должна иметь содержанием становление личности и рассматривать ее как воплощение и откровение Божие, придавая самостановлению человека значение, размах которого до сих пор, пожалуй, еще не нашел достойной оценки.

Слишком много внешних обстоятельств загораживает еще дорогу непосредственному внутреннему опыту. И не будь самостояние личности предметом тайной тоски столь многих людей, у него не было бы никаких шансов нравственно и духовно пережить коллективное подавление.

Все эти препятствия, затрудняющие правильную оценку человеческой души, не так уж много значат, однако, в сравнении с примечательным фактом, заслуживающим особого рассмотрения. Я имею в виду опыт, доступный преимущественно врачу и гово-

рящий о том, что недооценка души и другие формы сопротивления психологическому уяснению ее структуры порождаются главным образом страхом, даже больше — паническим ужасом перед возможностью открытий в области подсознательного. Эти страхи имеют место не только у тех, кто напуган фрейдовской картиной подсознания, но даже и у самого основателя «психоанализа», который обосновывал передо мной необходимость догматизации своей сексуальной теории тем, что это якобы единственная возможность оборонить крепость разума от возможного «прорыва темной волны оккультизма». Этими словами Фрейд выразил свое убеждение в том, что подсознание, пожалуй, таит в себе еще многое, что может вызвать «оккультные» толкования, и это действительно имеет место. Это «архаические пережитки», т. е. коренящиеся в инстинктах и выражающие инстинкты архетипные формы реакций, сопровождаемые чувствами отвращения и страха. Они неиспробимы, ибо они составляют необходимый фундамент души. Их нельзя охватить никаким усилием разума, и если и удастся разрушить то или иное их проявление, они проявляют себя снова лишь «в измененном виде». Именно этот страх перед бессознательной сферой души чрезвычайно мешает не только самопониманию, но и пониманию и распространению психологических знаний. Этот страх порой настолько силен, что человек даже самому себе не решается в нем признаться. Здесь таится вопрос, над которым следовало бы серьезно задуматься каждому религиозному человеку: быть может, ему открылся бы исчерпывающий ответ.

Научной психологии приходится, конечно, идти путем абстракции, т. е. удаляться от своего предмета, насколько это возможно, не теряя его окончательно из виду. Вот почему открытия психологических лабораторий, и в практическом отношении и в смысле общего знания, так часто оказываются поразительно малосодержательными и неинтересными. И чем больше в поле зрения ученого начинает господствовать индивидуальный объект, тем живее, практичнее и шире оказывается полученное познание. Разумеется, на этом пути осложняются все последующие предметы исследования, а неопределенность отдельных факторов растет пропорционально увеличению их числа, т. е. ведет к увеличению возможности заблуждения. Понятно, что академическая психология пугается этого риска и предпочитает обходить сложные случаи, обращаясь к более простым вопросам. Она может поступать так вполне безнаказанно. Ведь она совершенно свободна в выборе вопросов, которые ей угодно поставить природе.

Психиатрия ни в какой мере не находится в столь завидном положении. Здесь объект сам задает вопросы, и экспериментатор, т. е. врач сталкивается с фактическим положением, которое он не выбирал и которое он не выбрал бы, если бы имел свободу выбора. Болезнь, или соответственно больной, ставит решающие вопросы, а это значит, что природа экспериментировает с врачом, ожидая от него ответа. Долг врача заставляет его сделать попытку разобраться в сложной, перенасыщенной неопределенностями обстановке своего больного. Врач, конечно, попробует сделать это на основе общих результатов опыта, но нередко очень скоро вынужден признать, что результаты этого рода не выражают и не освещают интересующую его ситуацию сколько-нибудь удовлетворительным образом. Общие положения тем больше теряют для него силу, чем глубже удается ему проникнуть в предмет. А между тем они остаются ведь масштабом объективного знания. Ситуация же субъективируется во все возрастающей мере именно тем, что оба — пациент и врач — ощущают как «понимание». То, что поначалу было преимуществом, прозрит превратиться в опасный пробел. В итоге субъективизации (выражаясь научно-технически, переноса и обратного переноса) происходит изоляция от внешнего мира, ослабляющая социальные связи, что нежелательно, но случается всегда там, где понимание начинает перевешивать и объективное знание больше не в состоянии удерживать равновесия. По мере того, как углубляется понимание, разрыв между ним и познанием увеличивается, и предоставленное самому себе идеальное понимание превратилось бы, в конце концов, в лишненное познавательного значения сопутствование и сопереживание, связанное с полнейшей субъективностью и социальной безответственностью. Так далеко идущее понимание, однако, невозможно, так как оно потребовало бы обоюдного уподобления двух различных индивидуальностей. Рано или поздно взаимоотношения достигают той точки, после которой один из двух вынужден пожертвовать собственной индивидуальностью, чтобы дать другому возможность ассимилировать себя. Об это неизбежное последствие разбивается понимание, которое ведь предполагает интегральное сохранение индивидуальностей обоих его участников. Согласно этим соображениям, рекомендуется доводить понимание человека лишь до степени, в какой оно уравновешивается знанием, ибо понимание *à tout prix* (любой ценой) вредит обоим участникам.

Та же самая проблематика появляется везде, где дело идет о понимании и познании комплексных и индивидуализированных

ситуаций. А это как раз и есть специфическая задача психолога. Она же стояла бы и перед занятым «cura animarum» (заботой о душах) «directeur de conscience» (управителем совести); если бы его положение священника не вынуждало его в решающий момент прибегать к мере своих конфессиональных убеждений. Эта мера, однако, применяя коллективный предрауссудок, чувствительно ограничивает право на индивидуальное существование, чего не случается только, если догматический символ, как, например, идеальный образ жизни Христовой, воспринимается конкретно и переживается данным лицом как действительность. В какой мере это возможно в наше время, я предоставляю судить другим. Врач, во всяком случае, очень часто имеет дело с пациентами, для которых конфессиональные ограничения очень мало или ничего не значат. Сама профессия толкает его поэтому к максимально беспредпосылочному подходу. Точно так же, уважая метафизические, т. е. недоступные рациональной проверке утверждения и убеждения, он старается в то же время не придавать им общего значения. Такая осторожность необходима, чтобы избежать давления, которое может оказать внешнее арбитральное вмешательство, на индивидуальные черты данной личности. Врач вынужден предоставить это внешней среде, внутреннему развитию, а в широком смысле слова — мудрым или немудрым решениям судьбы.

Такая повышенная осторожность может показаться преувеличенной. Но перед лицом того факта, что в диалектическом развитии взаимоотношений между двумя личностями, даже при тактичной сдержанности, имеют место неизбежно далеко идущие влияние и воздействие друг на друга, врач из простого чувства ответственности будет опасаться ненужного увеличения числа коллективных факторов, жертвой которых уже является его пациент. Кроме того, ему ведь достаточно известно, что проповедью даже наилучших принципов он вызовет лишь явное или тайное сопротивление пациента и без надобности поставит под удар самую цель лечения. Душевная жизнь личности в наше время и без того уже так стеснена рекламой, пропагандой и другими более или менее доброжелательными советами и внушениями, что надо позволить себе предложить пациенту, хотя бы раз в его жизни, взаимоотношения, свободные от навязчиво повторяемых «так надо», «следовало бы» (и тому подобных свидетельств бессилия). Внешним напором, и в не меньшей степени преобладающими внутренними воздействиями этого напора на индивидуальную психику, врач вынуждается принимать на себя, прежде всего, роль защитника. Вызывающее столь много опасений развязыва-

ние анархических влечений, по большей части, оказывается лишь преувеличенной возможностью, против которой имеются очевидные меры защиты как внешнего, так и внутреннего порядка. Это, прежде всего, природная трусость большинства людей, а затем мораль, хороший вкус и — last but not least — уголовный кодекс. Перед лицом этих факторов, как правило, бывает трудно довести личные влечения даже до сознания, не говоря уже до реализации. И даже там, где эти влечения смело и необдуманно нарушают установленный порядок, врач должен защищать индивидуальное в них от грубого вмешательства близорукости, несдержанности и цинизма.

В дальнейшем развитии взаимоотношений наступает, однако, момент, когда пора дать оценку личным влечениям. К этому времени пациент должен добиться уверенности суждения, обеспечивающей ему возможность действовать на основе собственного усмотрения и по собственному решению, а не в силу подражания общепринятому, даже в том случае, когда его мнение совпадает с мнением коллектива. До тех пор, пока личность не станет прочно на собственные ноги, так называемые объективные ценности не могут пойти ему на пользу, ибо они служат тогда лишь подменной собственному характеру и способствуют, таким образом, подавлению индивидуальности. Разумеется, общество имеет неоспоримое право защищаться от переходящего границы субъективизма, но если оно само состоит лишь из людей, лишенных индивидуальности, оно оказывается беззащитным от произвола ни с чем не считающихся элементов. Чем лучше общество объединено и организовано, тем легче, в силу именно этой объединенности и вызванного ею умаления индивидуальности, оно подпадает под власть жадной до власти личности. Сложение миллиона нулей не дает даже единицы. В конце концов, всё зависит от свойств отдельного человека, и жаль, что роковая близорукость нашего времени мыслит лишь в категориях больших чисел и массовых организаций, хоть думается, мир довольно ясно мог видеть, что значит хорошо дисциплинированная масса в руках безумца. К сожалению и к большой опасности для человечества, никто и нигде еще не сделал выводов из этого опыта. Люди бодро организуются дальше в твердой вере во всепасающую силу массовых действий и ни в малейшей степени не сознавая, что действительно мощные организации не могут быть отстроены без серьезнейшего нравственного риска. Инерция приведенной в движение массы должна ведь воплотиться в личной воле вождя, как правило, ни перед чем не останавливающейся, а программа ее движения должна быть про-

никнута утопическими, а сколько возможно, и хилиастическими представлениями, доступными даже самому слабому уму (расчитанными именно на его слабость).

Странным образом церкви тоже хватаются, время от времени, за массовые организации, чтобы изгнать чертей с помощью дьявола; церкви, которые ведь обещают заботиться о спасении души именно отдельного человека!

Они тоже делают вид, что не слышали об элементарном утверждении массовой психологии, а именно о том, что, вливаясь в массу, личность умалывается в нравственном и в духовном отношении, и не перегружают себя основной своей задачей помочь человеку — *concedente Deo* — (с помощью Бога) достигнуть метанойи, т. е. преобразования духа. Ведь, к сожалению, слишком ясно, что без обновления духа отдельной человеческой личности не может быть и обновления общества, которое есть лишь сумма нуждающихся в спасении индивидуумов. Я не могу поэтому назвать иначе, как результатом ослепления, когда церкви — как это сейчас выглядит — пытаются подчинить живую личность общественной организации и понижают, таким образом, ее способность к личной ответственности, в то время, как им следует как раз поднимать человека из инертной, можно сказать, бессознательной массы в качестве именно того, о ком идет дело, и довести именно до его сознания, что спасение мира состоит в спасении его личной души. На массовом собрании человеку, правда, преподносятся представления именно этого рода и делаются даже попытки увлечь его средствами массового внушения, но лишь с тем печальным результатом, что уже в кратчайший срок, как только пройдет увлечение, человек массы подпадет под влияние следующего, более громкого лозунга, начинающего казаться ему еще более убедительным. Лишь его личная вера в Бога могла бы быть эффективной защитой от вредного влияния массового воздействия. Разве на массовых собраниях призывал Христос своих апостолов, и разве умножение хлебов обеспечило Ему сторонников, которые не закричали «распни Его!», когда даже камень-Петр сам зашатался, несмотря на свою несомненную избранность? И разве не именно Иисус и Павел, эти образцы Человека для всех людей, шли своим собственным путем на основе собственного, личного опыта, вопреки мнению мира?

Аргументируя таким образом, нельзя, однако, упускать из виду положение, перед которым поставлена церковь. Когда церковь пытается внести порядок в аморфную массу, объединяя людей с помощью внушения в общину верующих и удерживая их

затем в формах соответствующей организации, она не только делает большое общественное дело, но доносит и до отдельного человека бесценное благо осмысленной жизни. Но эти ее дары, как правило, лишь укрепляют, а не преобразуют. Общественное воздействие, как, увы, показывает опыт, не может изменить внутренний строй человека. Среда не может подарить ему то, что он должен купить себе сам ценою мучительных усилий. Скорее напротив, благоприятное окружение как раз усиливает в нем опасную склонность ожидать всегда и всего извне и прикрываться внешним блеском, который лишь обманчиво показывает то, чего на самом деле нет, лишь создает иллюзию идущего из глубины преобразования души, столь необходимого перед открывающимися ныне перед нами массовыми процессами и еще более перед прозякающими нам в будущем массовыми проблемами. Густота населения не только не падает, но неудержимо растет. Расстояния сокращаются, и земной шар кажется все меньше. Что можно достигнуть массовыми организациями, мы видим сегодня даже слишком ясно. Пришло время поставить вопрос, кого охватывают эти организации, или иначе, каковы свойства человека, не статистической единицы, а живой личности. Это, думается, невозможно иначе, как путем переосмысления самого себя.

Массовое движение катится, как и следовало ожидать, легче всего по наклонной плоскости, в тяготении к большим числам: где много людей, там оно вернее; во что многие верят, должно быть правдой; к тому, что желают многие, стоит стремиться, оно нужно, а, следовательно, хорошо; в желании многих заложена сила добиться желаемого; прекрасней же всего мягко, без боли скатиться в детство, под родительскую опеку, в беззаботность и безответственность. Там, наверху, обо всем подумают и позаботятся; на все вопросы там есть ответы, и для всех потребностей там приготовлено всё необходимое. Инфантильность мечтаний человека массы до такой степени нереалистична, что он никогда не задумывается о том, кто же собственно будет платить за этот рай. Платить по этому счету предоставляется вышестоящей инстанции, что ею и приветствуется, ибо власть ее увеличивается этим требованием, а чем больше она растет, тем беспомощней и слабее становится каждый отдельный человек.

Там, где такое состояние общества развилось достаточно далеко, путь к тирании открыт, и свобода личности превращается в духовное и физическое рабство. А так как тирания по самой своей природе безнравственна и ни перед чем не останавливается, она куда свободнее в выборе средств, чем учреждения, считающиеся

с отдельным человеком. А если эти последние оказываются в конфликте с тиранически организованным государством, они очень скоро начинают чувствовать фактическую невыгоду моральности и вынуждаются, сколько возможно, пользоваться аморальными средствами. Таким образом, зло распространяется почти с неизбежностью даже там, где удается избежать непосредственного заражения, особенно опасного тогда, когда большие числа и статистический подход к ценностям приобретают решающее значение. А это в нашем западном мире наблюдается сейчас в высокой степени. Большое число, т. е. массы и их подавляющая власть в той или иной форме подается нам ежедневно в газетах, а ничтожество отдельного человека демонстрируется этим до такой степени, что он поневоле теряет надежду хоть где-нибудь и как-нибудь быть услышанным. Изношенные и превращенные в пустой звук идеалы *liberté, égalité, fraternité* (свободы, равенства и братства) не могут ему помочь, ибо он может призывать к ним лишь своих палачей, представителей массы.

Спротивление организованной массе может оказать лишь тот, кто сумел организовать свою индивидуальность в не меньшей мере, чем масса. Я отдаю себе полный отчет в том, что это утверждение для сегодняшнего человека звучит почти непонятно. Спасительное представление Средневековья — человек есть *микрокосм*, как бы уменьшенное отражение большого космоса, — давно забыто им, хоть бытие его мироохватывающей и мироопределяющей души могло бы научить его иному. Представление о макрокосме не просто навязано человеку, но, будучи существом психическим, он сам творит его себе во всё возрастающем объеме. Он имеет в себе соответствие охватываемому его миру как в силу рефлектирующей деятельности сознания, так и благодаря наследственной архетипной природе его инстинктов, связывающих его с окружающей средой. Своими влечениями он не только укоренен в макрокосме, но и в определенном смысле раздвоен, ибо его вожделения влекут его в разные стороны. Он оказывается, таким образом, в постоянном противоречии с самим собой, и лишь в редчайших случаях ему удается направить свою жизнь к одной единственной цели, за что он, как правило, должен, однако, дорого платить подавлением других сторон своего существа. В этих случаях нередко спрашиваешь себя, стоит ли вообще стимулировать подобную односторонность, потому что ведь естественное состояние человеческой души складывается как раз из определенного противостояния ее элементов, из известной противоречивости ее реакций, а, следовательно, из некоторого рода *диссоциации*. Так,

по меньшей мере, на Дальнем Востоке воспринимается привязанность человека «к десяти тысячам вещей». Такое состояние требует порядка и синтеза. Как хаотические, пересекающие друг друга движения частиц в массе волей диктатора вводятся в единое русло, так и диссоциированное состояние отдельной личности нуждается в направляющей и упорядочивающей основе. Сознательное «я» очень хотело бы сделать этой основой свою собственную волю, не учитывая при этом наличие мощных бессознательных сил, мешающих этому намерению. Если же оно действительно стремится достигнуть синтеза, оно должно сначала понять природу этих бессознательных сил. Оно должно *испытать их на себе* или овладеть *символом*, способным выразить их и положить основу синтеза. Религиозный символ, способный охватить и общепонятно выразить также и то, что просит слова в душе современного человека, легко мог бы послужить этой цели. Наше сложившееся понимание христианской символики до сих пор не смогло этого сделать. Напротив, ужасный раскол произошел именно в царстве «христианского» белого человека, а наше определенное христианством мировоззрение оказалось бессильным предотвратить прорыв архаических социальных сил, формой которых является коммунизм. Этим ни в коем случае не сказано, что с христианством покончено. Я лично, напротив, убежден, что не христианство, но лишь практиковавшееся до сих пор восприятие и интерпретация его устарели перед лицом настоящего положения. Христианская символика — живое существо, несущее в себе зачатки дальнейшего раскрытия. Оно способно развиваться дальше, и дело только в нас, в нашей способности или неспособности решиться продумать еще раз поосновательней, что такое основа христианства. Для этого необходимо, однако, совсем иное, чем до сих пор, отношение к личности, т. е. к микрокосму нашего «я». Никто не знает, какие еще двери открыты человеку, какой внутренний опыт он мог бы еще приобрести, и какие состояния души лежат в основе религиозных мифов. В этой области еще царит такая всеобщая темнота; что не видно даже, чем здесь следовало бы интересоваться и куда стоило бы включиться. Перед этой проблематикой мы еще совершенно беспомощны. В этом нет ничего удивительного, потому что все козыри, так сказать, находятся у противника, который опирается на большие числа и их всеподавляющую силу. Политика, наука и техника со всеми своими выводами стоят на его стороне. Впечатляющая сила научных доказательств дает высочайшую степень интеллектуальной убедительности, достигнутую до сих пор трудами человека. Так кажется, по крайней

мере, современному человеку, которому ведь сотни раз разъяснялось об отсталости, темноте и суевериях прошедших веков. Что поучавшие его сами в этом отношении совершили гробейшую ошибку, сравнивая между собой несоизмеримые величины, не приходит ему в голову. И это особенно потому, что властители умов, если можно так выразиться, к которым он обращает свои вопросы, продолжают и сегодня доказывать, что то, что наука считает сейчас невозможным, во все другие времена даже было невозможно, и что это относится, прежде всего, к фактам веры, которые одни могли бы дать ему потустороннюю опору. Когда же отдельный человек обращается к церквам и их представителям, которым доверена cura animarum (забота о душах), он слышит, что принадлежность к церкви, т. е. к земной организации совершенно необходима, что религиозные факты, в которых он сомневается, суть конкретные исторические факты, что определенные ритуальные действия обладают чудодейственной силой или, например, что причастие избавляет его от греха и его последствий (т. е. от вечного проклятия). А когда он, с помощью имеющихся в его распоряжении скудных средств пытается это продумать, он должен сам себе признаться, что он ничего не понимает, и что у него поэтому лишь две возможности: либо просто верить в утверждения такого рода как в нечто непонятное, либо отбросить их вообще.

В то время как все «истины», предлагаемые ему массовым государством, современный человек может без труда продумать и понять, доступ к религиозному пониманию чрезвычайно затруднен ему недостаточностью разъяснений. («Понимаешь ли ты, что читаешь? Он же сказал: как я могу понимать, если никто не руководит мною?» Деяния Апостолов VIII, 30). И если, несмотря на всё это, он еще не отбросил все религиозные убеждения, то это объясняется тем, что религиозная деятельность покоится на инстинктивной склонности и относится, таким образом, к специфически человеческим проявлениям. У него можно, конечно, отнять его богов, но только если дать ему других. Вожди массового государства не смогли не прибегнуть к самообожествлению, а где подобную пошлость нельзя ввести даже насильно, там демоническая сила придается таким фактам, как, например, деньги, труд, политическое влияние и т. п. Если теряется какая-либо от природы присущая человеку функция, т. е. если пресекается возможность сознательной и целенаправленной деятельности, начинается общее расстройство. Нет ничего естественнее как то, что с победой *Déesse Raison* (богини разума) начинается всеобщая невротизация

современного человека, т. е. *диссоциация личности*, аналогичная расколотоности современного мира. Охраняемая колючей проволокой граница проходит в душе современного человека, независимо от того, по ту или иную сторону ее он живет. И как классический невротик не осознает другой стороны своего существования, свою *тень*, так и нормальная личность, как и он, способна видеть собственную тень лишь на другом человеке, соответственно на человеке по ту сторону рва. Объявить капитализм, с одной, и коммунизм, с другой стороны, нечистой силой стало уже политической и общественной задачей, с помощью которой взгляд человека опять-таки завораживается внешним и отвлекается от внутреннего. Но, однако, тоже как у невротиков, несмотря на то, что он многого не сознает, все же всплывает догадка, что в его душе не всё в порядке, так и в западном человеке, несмотря ни на что, развивается инстинктивный интерес к собственной душе и к «психологии».

Таким образом врач *volens volens* попадает на арену истории и должен отвечать на вопросы, которые поначалу относятся, правда, лишь к интимной и сокровенной стороне жизни личности, но в конечном счете представляют собой прямые проявления влияния духа эпохи. По характеру их личной симптоматики они по большей части и вполне законно квалифицируются как «невротический материал»; дело идет ведь об инфантильных фантазиях, плохо уживающихся с содержаниями взрослой психики и вытесняемых поэтому моральным суждением даже в тех случаях, когда они вообще всплывают на поверхность сознания. В большинстве случаев фантазии этого рода, однако, естественно не осознаются как таковые, и по меньшей мере мало вероятно, что они когда-либо находились в сознании и сознательно вытеснены из него. Больше того, они по-видимому всегда существовали или, по меньшей мере, бессознательно зародились и застыли в этом состоянии до тех пор, пока путем психологических приемов не удалось заставить их перешагнуть через порог сознания. Оживление неосознанных фантазий — процесс, связанный с *критическим состоянием сознания*. Если бы не было последнего, фантазии выработывались бы нормальным порядком и не влекли бы за собой невротических нарушений сознания. В действительности, фантазии этого рода принадлежат к миру ребенка и влекут за собой нарушения лишь тогда, когда они несвоевременно усиливаются ненормальными условиями жизни сознания. А это наступает, в частности, тогда, когда со стороны родителей истекают неблагоприятные, конфликтообразующие влияния, отравляющие атмосферу и нарушающие душевное равновесие ребенка. Когда же невроз

раскрывается у взрослого и наружу выпрывается мир тех же фантазий, что у ребенка, является соблазн искать причинное объяснение происхождения невроза в наличии инфантильных фантазий. Этим, однако, нельзя объяснить, почему в промежутке эти фантазии не давали патологического эффекта. Патология начинается лишь тогда, когда личность наталкивается на обстоятельства, с которыми она не может справиться средствами своего сознания. Вызванный таким образом застой в развитии личности открывает спуск вниз, в мир инфантильных фантазий, которые в латентном состоянии живут в каждом человеке, но не сказываются активно до тех пор, пока сознательная жизнь личности может развиваться без помех. Достигнув определенной степени напряжения, эти фантазии начинают прорываться в сознание и вызывают заметное и для пациента состояние конфликта, т. е. распад личности на две, различные по характеру. Но эта диссоциация была подготовлена в подсознании много раньше, поскольку истекающая из сознания (неиспользованная там) энергия шла на усиление подсознательных негативных свойств и, прежде всего, на усиление инфантильных черт личности.

Так как нормальные для ребенка фантазии представляют собой в сущности не что иное, как отражающее инстинктивные влияния воображение и являются, таким образом, одним из видов подготовки к предстоящей деятельности сознания, то и энергетическая репрессия патологически извращенной (инвертированной) фантазии невротика также включает в себе ядро нормального инстинкта, характеризующегося свойством целесообразности. Болезнь этого рода означает каждый раз нецелесообразное изменение и засорение здоровой по природе динамики и связанного с нею воображения. Инстинкты, однако, крайне консервативны как в смысле динамики, так и в отношении формы. Форма является, если ее представить себе в виде картины, зрительно выражающей сущность инстинктивного влечения. Если бы мы могли заглянуть в душу бабочки — юкка*), мы нашли бы в ней формы представлений нуминозного характера, которые не только побуждают бабочку к ее оплодотворяющей деятельности по отношению к цветку юкка, но помогают ей «понять» положение в целом. Инстинкт — не просто слепое и неопределенное влечение, но всегда оказывается способным приспособиться к определенной внешней обстановке. Именно это обстоятельство и определяет его

*) Дело идет о классическом для биологии случае симбиоза насекомого и растения.

специфическую и неисребимую форму. Как сам инстинкт древен и наследствен, так и его форма древнеобразна, т. е. архетипна. Он оказывается даже древней и консервативней, чем форма тела.

Эти биологические предпосылки действительны, разумеется, и для всех видов *homo sapiens*, которые, несмотря на то, что обладают сознанием, волей и разумом, не составляют исключения из общепсихологических законов. В плане человеческой психики такое положение вещей означает, что деятельность сознания покоится на фундаменте инстинкта, из которого он и черпает как свои движущие силы, так и основные формы своих представлений, совершенно так же, как это можно наблюдать у всех остальных живых существ. Человеческое познание состоит, по существу, в соответственном приспособлении к обстановке данных нам аргументов древних форм представлений, нуждающихся в определенной модификации, потому что в своем первоначальном виде они были приспособлены к архаическому образу жизни, но не к требованиям во многих отношениях изменившейся среды. Чтобы в нашей современной жизни сохранить приток инстинктивных сил, — а это совершенно необходимо для сохранения нашего бытия, — необходимо также найти новые соответствующие требованиям современности представления для имеющихся в нас архетипных образцов.

Перевод с немецкого Р. Редлиха

(Окончание следует)

Финансовая система хозрасчета

Идея хозяйственного расчета, в виде различных, ни к чему не обязывающих лозунгов, возникла еще в самые ранние годы существования советской власти, однако, в конкретные экономические формы она начала облачатся несколько позже, когда Сталин в своей речи на съезде хозяйственников в июне 1931 года заявил, что хозяйственный расчет (хозрасчет) является одним из шести условий построения социализма в одной стране. Созданная впоследствии финансовая система хозяйственного расчета и ее применение имеют особый, специфический смысл в системе экономических отношений и, в то же время, далеко выходит за рамки элементарной бережливости или понятия себестоимости продукции и услуг. В конце концов, была создана довольно сложная искусственная система (именно, система, поскольку целая серия экономических явлений органически с нею связана), с множеством условностей, на которой и поныне основана вся внутренняя хозяйственная практика советского государства. Для того, чтобы понять эту систему правильно, я остановился на ее развитии, от лозунга «Береги советскую копейку» до политики «контроля рублем» и финансовых ограничений предприятий, переведенных на полный хозяйственный расчет.

Как известно, в созданном большевиками новом общественном строе отсутствуют все основные капиталистические элементы и все то, что присуще капиталистическому обществу*), — конку-

*) Автор не ставит перед собою задачи защиты капитализма как такового и упоминает его только с целью сравнения в качестве диаметральной противоположности тому, что создано в России после революции 1917 года. Нет сомнений в том, что капитализм имеет еще и по сей день массу существенных недостатков и противоречий, и, в то же время, эволюция его далеко не исчерпана, продолжается непрерывно.

решения, борьба за снижение стоимости продукции и услуг, стремление частного предпринимателя к расширению и усовершенствованию производства, к улучшению качества продукции во имя конкуренции и многое другое. С первых же шагов, советское общество, лишённое этих качеств, решительно свернуло на путь расточительства народных средств во всех видах и формах. Добравшись до общественного пирога, люди пожелали прежде всего почувствовать себя хозяевами и за счет этого пирога облегчить себе труд и существование. Благо, все капиталистические сдерживающие и направляющие начала оптали с крушением капитализма. Заинтересованность в ведении общественного дела оказалась равной не только нулю, но даже величиной отрицательной. Так, с первых дней новорожденного строя явилась необходимость обуздания индивидуальных аппетитов человеческой массы. Потребовались меры для того, чтобы приостановить равнодушное расходование труда и народных средств и вызвать снова интерес к бережливости и к развитию народного хозяйства. Отсюда появились лозунги: «Береги советскую копейку», «Веди порученное тебе дело хозяйственно и расчетливо» (отсюда — хозяйственный расчет, как метод ведения хозяйства), «Будь хозяином на порученном тебе деле» и др.

Однако, лозунгов и добрых пожеланий оказалось недостаточно, чтобы люди стали экономно относиться к народному достоянию и стали бы такими же расчетливыми хозяевами на общественном деле, какими был хозяин на своем личном. В советском хозяйстве не оказалось хозяина — остались только наемные служащие и рабочие, чьи интересы лишь в отдаленной степени связаны с общественным производством. Для того, чтобы стать подлинными хозяевами производства, людям потребовалось восстановить во многом досоветскую организацию производства, положить в основу своей работы многие частнокапиталистические принципы организации производства, восстановить понятие цены и стоимости и пр. Нередко наиболее вдумчивые и способные хозяйственные руководители, выдвинутые революцией, сами приходили к тому, что было совсем недавно отброшено революцией, как атрибуты буржуазного общества. Иначе не могло и быть. Было легко осуждать и разрушать, прикрываясь классовой борьбой и теорией коммунизма, оправдывавшей законность разрушения старого во имя нового. Понадобились годы искания организационных форм, прежде чем они были найдены, но оказались они, в сущности, старыми и давно известными. Понадобилась колоссальная трата времени и энергии для того, чтобы «открыть» уже давно открытую

Америку, «изобрести» то, что давно уже изобретено, организовать так, как это было организовано повсюду. В том, что в области внутренней организации экономики большевиками ничего принципиально нового не было изобретено, ничего удивительного нет, ибо то, что было до них, не было выдумкой отдельных лиц, а создавалось многими десятилетиями и было, таким образом, опробовано длительной практикой (как, например, эксплуатация железных дорог, планирование бюджета, методы статистического и бухгалтерского учета, управление финансами и пр.). Беда большевиков заключалась в том, что они не взяли старые организационные формы и методы управления в экономике, хотя бы с целью их «усовершенствования», а разрушили их до основания, а после создали их заново, не признавая того, что во многом они не столько их «усовершенствовали» или воссоздали, сколько дошли до их понимания. При ином характере революции восстановить разрушенное в области организации экономики было бы делом менее сложным, чем это оказалось в России после 1917 года. При недоверии коммунистов к старому поколению и ко всему тому, что долгое время было недоступно их пониманию, — восстановление оказалось весьма сложным делом. Оно сопровождалось бесчисленными, совершенно напрасными людскими и материальными потерями и большой потерей времени. Кому не известно, как легко в СССР меняли хозяйственных руководителей и специалистов, сколько из них заплатили за свое старание и за проявление инициативы годами тюрем и даже жизнью. Своих доверенных лиц — коммунистов, они смещали с постов, исключали их из партии, сажали в тюрьмы и расстреливали только на том основании, что те, проработав некоторое время в качестве руководителей хозяйственных организаций, привыкали к деловой обстановке, начинали выработать в себе метод управления, начинали создавать какую-то систему и придерживаться ее в жизни предприятия или учреждения. В этих случаях от них даже не требовалось объяснений или поводов к смещению — им заявляли только, что они «засиделись» или «попали под вредное влияние старых специалистов». Иногда такого «обюрократившегося» посылали на такую же работу в другое место, затем еще и еще раз меняли для него места работы, пока, действительно, не отшибали у него вкус к работе и к живому делу, и тогда он превращался в особый сорт советско-партийного бюрократа, каковыми и по сей день являются многие, если не большинство, советских хозяйственников, безразличных к общественному делу.

В этих условиях призыв к хозяйственному расчету имел кое-

какое положительное значение для большевиков. Так, стало ясным, что для осуществления руководства хозяйством нужно усилить роль руководителя хозяйством, т. к. управление «скопом» слишком безответственно. Возникла кампания за установление единоначалия на предприятиях. В советских условиях того времени оно вышло весьма ограниченным и даже условным, но все же об этом заговорили и кое-где роль отдельных руководителей в производстве усилилась. Несколько улучшился учет и наблюдение за расходованием денег и материалов, улучшилась бюджетная дисциплина. Однако все это оказалось столь незначительным, что существенных результатов не дало до тех пор, пока не была создана особая система хозрасчетных отношений между организациями, подчиняющая эти отношения денежному контролю через Государственный банк или через специальные банки. Не следует думать, что большевиками было выдуманно что-то такое, что может быть присуще только советскому социализму. Была создана такая система, при которой руководитель хозяйственного предприятия, независимо от того — государственного или кооперативного, условно ставился в положение собственника этого предприятия, хотя об этом прямо и не говорилось. Эта система — попытка вдохнуть в мертвое социалистическое тело частицу капиталистической души. Бледная копия капиталистических отношений, воспроизведенная коммунистами, и есть ныне здравствующая форма «социалистической организации советской экономики», и притом — основная. Именно система хозрасчета в соединении с планированием призваны, по их мнению, явить собой «организационные условия для продвижения вперед экономики без капитализма и без капиталистов». Эта система не была выработана сразу и имеет довольно поучительную историю, которая интересна сама по себе.

*

Несмотря на то, что большевики пытались вымести из России все, что в какой-то мере являлось атрибутами капитализма или было им порождено, все же некоторые из них они не рискнули или не сумели уничтожить. Одним из таких атрибутов капитализма являлись деньги. Уже раздавались голоса, требовавшие замены денег и денежных расчетов чем-то иным, социалистическим, и даже была сделана попытка перехода на безналичные расчеты. Однако заменить их оказалось нечем, а «жироприказы», — банковская форма безналичных расчетов, — оказались очень неудоб-

ными на практике, когда в начале сороковых годов ими попробовали воспользоваться шире.

Вскоре после Новой Экономической Политики стало ясным, даже для большевиков, что деньги могут служить не только для нужд капиталистического общества и для внешних расчетов СССР с капиталистическим миром, но и для социалистического советского общества. Пренебрежение к ним неизменно приводило к плачевным результатам, особенно в области организации экономики и производительности труда. В то же время, деньги «обнаружили» свойство, которым, при умении, можно пользоваться, как средством управления экономикой и людьми. Сделав это «открытие», большевики попытались подвести деньги и денежные расчеты между государством и государственными и кооперативными организациями, как основу отношений этих организаций между собою и государством, и использовать их в качестве контрольного инструмента этих отношений, а заодно и в качестве средства стимулирования плановых элементов советской экономики.

Первоначальная форма финансового контроля и управления хозяйством была построена, я бы сказал, целиком в духе социалистических принципов, но недолгое ее применение привело к полному финансовому краху целые отрасли хозяйственной деятельности в стране, а, главное, — к окончательному самоустранению хозяйственных руководителей от хозяйственных забот. Эта форма, — форма прямого банковского кредитования, была известна среди экономистов и финансовых работников того времени, как форма «банковского автоматического акцепта»; возникла она в конце двадцатых годов и просуществовала всего лишь 2-3 года, после чего была с ожесточением отброшена, а ее творцы и исполнители попали за решетку ГПУ. Сущность ее сводилась к следующему.

Все промышленные, торговые и другие предприятия «социалистического сектора» работают по единому, согласованному плану. Промышленному предприятию, будем его именовать в дальнейшем завод, известен план отправок своих изделий для торгующей организации, которую мы будем в дальнейшем именовать кооператив. Все предприятия, в том числе завод и кооператив, производят расчеты за отправляемые товары и оказываемые услуги друг другу через Единый Государственный Банк, которому также известны хозяйственные планы своей клиентуры, т. е. завода и кооператива.

Так как завод и кооператив суть предприятия социалистического сектора и работают по утвержденному для них государст-

венному плану, то за те товары, которые завод отправляет кооперативу по плану, завод посылает счета с приложением товарных документов соответствующему филиалу Государственного Банка, в котором конкретный кооператив имеет свои счета. Банк, зная и видя по товарным документам, что сделка между заводом и кооперативом соответствует их планам работ по производству и реализации, автоматически акцептирует счета завода и производит их оплату за счет кооператива, после чего и перечисляет заводу деньги на его текущий счет, а перечисленную сумму заносит в *дебет* счета кооператива.

Все, что кооператив получает от продажи товаров, он сдает ежедневно в свой филиал Государственного Банка, который заносит получаемые от кооператива суммы в *кредит* его счета (равно как и все его другие получения — за отгруженные товары иногородним покупателям или за оказываемые услуги другим организациям, производимые также через соответствующие филиалы Государственного Банка). Разница между записями Банка по *дебету* и по *кредиту* по счету кооператива, а также завода, должна была показывать, насколько, скажем, кооператив, получая товары от промышленности, выплачивая жалование служащим и оплачивая другие расходы, успешно реализует товары и возмещает торговые расходы, им производимые. Другими словами, насколько успешно предприятие превращает все то, что оно получает по плану, в услуги и товары, полезные для общества. При этом деньги — измеритель выполнения плана. Кредитовое сальдо по счету кооператива или завода в Банке означало, что предприятие реализовало товаров и услуг на большую сумму, чем получило само. Дебетовое сальдо означало, что, получив по плану все то, что ему было необходимо, оно не выполнило своего плана по реализации или производству или имело чересчур большие накладные расходы и убытки и осталось в долгу у Банка-Государства или общества.

В этой системе была логика и законченная идея. Если в нашем примере кооператив выполняет план-задание социалистического общества, т. е. заказ общества по передвижению товаров от производителей к потребителю, то Банк-Государство дает ему на эту цель свои средства в таком количестве, в каком это требуется по ходу выполнения плана, путем оплаты всех его плановых расходов, не считаясь с тем, что есть у кооператива самого, в качестве его собственных оборотных средств, и даже не спрашивая его.

Эта система:

1. Давала возможность планировать работу хозяйственных организаций всех отраслей народного хозяйства, ру-

ководясь общественной необходимостью, а не финансовыми возможностями отдельных предприятий или их объединений.

2. Разрешала, сравнительно просто, вопрос о краткосрочном кредитовании предприятий в случаях необходимости планового сезонного накопления товаров, полуфабрикатов, сырья, что раньше разрешалось посредством вексельной системы кредитования, оказавшейся действительно малоприменимой в условиях планового хозяйства, каковым мыслилось советское хозяйство.

3. Давала в руки государства все рычаги управления и контроля над экономикой и, что самое главное, давала возможность стимулировать плановые элементы в экономике (само собою разумеется, что при системе автоматического акцепта весь частнокапиталистический сектор экономики исключался из сферы государственной системы кредитования).

Словом, государство-общество утверждает план и оплачивает все расходы по его выполнению. Оно же получает в свою кассу-банк весь общественный доход. Банк платит за все по плану и банк получает выручку.

При такой системе руководителю предприятия оставалось только одно — иметь перед своими глазами ежедневную выписку о состоянии сальдо по своему счету в Госбанке, чтобы судить о результатах работы своего предприятия за истекший период: если сальдо дебетовое — «черное», значит дела идут плохо; если сальдо кредитовое — «красное», значит дела идут хорошо. По движению сальдо определялась хозяйственная успеваемость предприятия. (Практика осуществления контроля собственной деятельности посредством одного текущего счета в банке («контокоренто»), в сущности, — весьма старая и была известна как до революции в России, так и на Западе. Небольшие частные предприятия на Западе и по сей день определяют свою успеваемость нередко посредством наблюдения за движением сумм своего текущего счета в банке.)

Кончилось это дело всеобщим конфузом для советских социалистических предприятий: почти повсюду образовалось устойчивое «черное», т. е. дебетовое, сальдо, особенно в торговой сети. Это значило, что «социалистический сектор» советской экономики, в лице государственных и кооперативных предприятий, получал от хозяина-общества больше того, что он возвращал обществу, и оказался, попросту, неплатежеспособным перед лицом своего хозяина. В нем, в этом «черном» банковском сальдо, как в зеркале, отразилась ничтожная производительная сила советского общест-

венного строя. Коммунисты, конечно, обвинили систему банковского автоматического акцепта, как таковую.

В одном они были правы.

Автоматический акцепт банком счетов поставщиков и их оплата без участия сторон лишили советских хозяйственников последнего интереса к качеству своей работы и к экономии средств. Промышленные предприятия получили возможность отправлять друг другу и на имя торгующих организаций все, что угодно, лишь бы их отправки формально соответствовали планам, не считаясь ни с стоимостью своих изделий, ни с качеством, ни с ассортиментом и комплектностью, поскольку банк оплачивал их счета автоматически, на основании формальных данных, значащихся в товарных документах.

Торговая сеть потеряла интерес к тому, чтобы искать на оптовом рынке товары нужного потребителю ассортимента и качества, равно как и к тому, что она получает от промышленности в счет плана, исходя из того, что банк всё равно оплатит счета поставщиков.

У промышленников окончательно пропал интерес к качеству работы. «У государства денег хватит»... рассуждали про себя промышленники, выпуская на рынок заведомый брак продукции. «У государства денег хватит»... вторили им советские торговцы, получая на свои склады всякую дрянь от промышленности. Естественно, что при таком обороте дела в торгующих организациях сразу же образовалось заговаривание при жесточайшем товарном голоде в стране в 1925-1930 гг. Оплаченные банком товары не находили сбыта и загромождали склады, росли, естественно, накладные расходы, росла задолженность банку — «черное» сальдо. Зато внешне все оставалось по-прежнему: фабрики и заводы выполняли планы, рабочие «соревновались» за улучшение качества продукции, с трибун и в передовицах газет возносились хвалебные гимны успехам социализма.

Еще раз подтвердилось правило, что хозяйство, лишённое основных принципов, которыми оно движется вперед в капиталистическом мире, само собою вперед не идет. Такое хозяйство нужно чем-то толкать, людей контролировать на каждом шагу и принуждать к выполнению планов и своих обязательств так, как они принуждались бы к этому, руководясь личным интересом.

Автоматический акцепт счетов был прекращен, и тогда в практику финансового контроля были введены принципы из капиталистического арсенала, хотя и под социалистическим соусом.

Социализм, построенный большевиками в России, как систе-

ма «высших по сравнению с капитализмом производственных отношений», не выдержал экзамена и на этот раз, т. е. десять лет спустя после своего провала в годы до нэпа. Для поддержания его престижа пришлось прибегнуть к капитализму, позаимствовав на этот раз у него некоторые элементарные принципы, дабы социализм не рухнул под тяжестью своего неживого веса.



Новая форма хозяйственно-расчетных отношений в СССР была введена под именем Новой Кредитной Реформы, провозглашенной рядом директив СТО СССР в середине 1931 года. Сущность ее следующая.

Каждое переведенное на полный хозяйственный расчет предприятие имеет свою законченную (балансовую) отчетность, имеет свой расчетный счет в Государственном Банке и *собственные оборотные средства* — собственный оборотный капитал. Специальным постановлением СТО СССР от 23 июля 1931 года было установлено принципиальное разграничение между средствами *привлеченными* и средствами *собственными*, с целью пробуждения в руководителе хозяйственного предприятия *собственнического чувства*, утерянного людьми в условиях обобществленного хозяйства. Именно в этом психологическом моменте и заключалась цель разграничения источников покрытия активов на средства принадлежащие предприятию и средства привлеченные, т. е. заемные, — *наподобие того, как это имеет место в частных предприятиях*. В мотивировке к упомянутому постановлению так и было сказано: «Это разграничение преследует цель поднять ответственность руководителя за доверенные ему *собственные средства предприятия*».

Для того, чтобы уяснить себе многие явления хозяйственной жизни в СССР, вытекающие из Новой Кредитной Реформы или ею обусловленные, следует познакомиться, хотя бы в самых общих чертах, с техникой планирования и регулирования оборотных средств советского хозрасчетного предприятия — главного типа хозяйственного предприятия в советской экономике.

Установив разграничение средств предприятия на *собственные* и *привлеченные* и порядок наделения предприятия оборотными средствами, государство оставило за собою право регулировать оборотные средства предприятия, т. е. дополнять их в том случае, если их оказывается недостаточно для выполнения плана, или уменьшать, если они оказываются в избытке. При этом было

установлено, что плановые и сезонные накопления должны покрываться специальными краткосрочными кредитами, а все капиталовложения — долгосрочными кредитами на эту цель или за счет специальных фондов (напр., капитальные ремонты — за счет накапливаемого предприятием амортизационного фонда). Расчет и регулирование собственных оборотных средств предприятия производится каждый раз перед началом планового периода (квартала или года) на основании утвержденного производственного плана или одновременно с утверждением плана путем построения планового баланса и перерасчетов, в зависимости от результатов сопоставления планового баланса с фактическим или ожидаемым. Казалось бы, что планирующие органы и органы государственного контроля должны были удовлетвориться лишь общим контролем над деятельностью предприятий в порядке ревизий и общего оперативного наблюдения. В остальном руководитель предприятия, чувствуя себя полным хозяином на «своем» участке, свободен в своих действиях, как и руководитель частного предприятия. Такая система финансового контроля и финансовых отношений, на первый взгляд, вполне отвечает принципам единого народно-хозяйственного планирования и теоретически достаточно гибка, но в действительности в ней заключены существенные противоречия самой идее всеобщего планирования, очень много условностей и порождаемого ими бюрократизма.

Остановимся вкратце на ее отрицательных сторонах.

1. Практика применения системы хозрасчета показывает, что для ее осуществления необходимо иметь хороший, дорого стоящий и специальный для этой цели учет и планирование. Такие учет и планирование не всегда доступны для мелких и многих сельских организаций, которые в состоянии руководиться весьма примитивным учетом и планированием, хотя бы даже и балансовым. Для многих предприятий усилия и затраты на организацию специального учета и планирования, а также на соблюдение многих условностей, связанных с выделением на хозрасчет, не оправдываются тем «психологическим» эффектом, на который они рассчитаны. Поэтому-то в Советском Союзе так часто случается, что в какой-либо маленькой артели, где всего лишь 5-6 человек рабочих, занятых ее основным делом, административного персонала и служащих — 10 или 15 человек. Но даже и в предприятиях покрупнее процент конторского персонала всегда очень большой. Так, например, на одном заводе около Ленинграда, с числом рабочих в 1000 человек, число конторского и административного персонала перед войной составляло 270 человек. На этом же заводе

до революции, при 700 человек рабочих, конторского и административного персонала было всего лишь 17 человек. Власть непрерывно борется с разбуханием штатов и административного персонала, но безрезультатно, ибо сама система ведет к увеличению числа лиц, занятых планированием, учетом, организацией хозрасчета и многими другими ненужными для прямой деятельности делами. Беда еще в том, что в предприятии, переведенном на полный хозяйственный расчет, сознание обособленности хозяйственной деятельности и личной ответственности за исполнение плана и соблюдение финансовой дисциплины овладевает весьма ограниченным кругом лиц. Как правило, им проникаются лица, отвечающие в целом за жизнь предприятия. К таковым относятся директор, главный бухгалтер, главный технический руководитель предприятия и, отчасти, начальники отделов и цехов. Остальная масса администраторов, техников, служащих и рабочих остается безучастной в осуществлении хозрасчета. Дабы заставить чувствовать ответственность за общее состояние дела большее количество людей, со стороны высшей администрации появляется стремление распространить идею полного хозрасчета на более мелкие подразделения своего предприятия (и тем самым переложить часть ответственности за хозрасчетное предприятие на своих подчиненных руководителей). Желая освободиться от мелочной опеки «сверху», руководители частей предприятия тоже стремятся к своему финансовому обособлению, дабы ощутить свою самостоятельность. Тогда на полный или неполный хозяйственный расчет начинают переводить более мелкие единицы хозяйства, например, некоторые отделы заводоуправлений — жилищно-коммунальные, транспортные, снабженческие, вспомогательные производства (лесопилки, электростанции), а также и бригады и цеха основного производства. В результате, организация предприятия превращается в сложный комплекс самостоятельных и полусамостоятельных подразделений с огромным числом служащих, руководство которыми не упрощается, как это часто кажется, а все более усложняется и склоняется к бюрократическим методам. На одном известном мне небольшом заводе баланс предприятия составлялся (сводился) по четырем балансам заводских частей, переведенных на полный хозрасчет и выделенных на самостоятельные балансы, а, следовательно, имевших свои собственные промышленно-финансовые планы, свои счета в Госбанке и пр. Кроме того, параллельно сводному балансу завода по производственной деятельности, представлялся отдельно баланс строительного отдела завода, который не сливался с балансом производства. На заводе работа-

ло не более 600 человек рабочих, а в строительном отделе — всего лишь один производитель работ (прораб), бухгалтер достаточно высокой квалификации, инженер — заведующий отделом, занимавшийся главным образом титульными списками, планами, оперативной отчетностью и пр., и... 5 человек рабочих.

2. Система хозяйственного расчета — односторонняя система. В конце концов, эта система — не форма личной заинтересованности руководителя предприятия в успешном ведении дела, а форма его дополнительного опреничения, на этот раз финансовыми рамками, нарушение которых всегда угрожает финансовым провалом и ответственностью за все вытекающие отсюда последствия. Руководитель советского предприятия, переведенного на хозяйственный расчет, принуждается, таким образом, быть таким хозяином, каким является владелец частного предприятия, а в то же время эта система не создает для него лично никакой заинтересованности, что главным образом побуждает к проявлению инициативы его капиталистического коллегу — владельца частного предприятия. (Следует помнить, что премиальные поощрения по хозрасчету, о коих больше, чем следует, твердят в советской пропаганде, имеют прямое отношение к внутреннему хозрасчету — цеховому, бригадному и пр., коего я не затрагиваю в данной статье совершенно. Так называемые «директорские фонды» образуются из отчислений от прибылей предприятий, работающих на полном хозрасчете, для целей поощрения участников внутризаводского хозрасчета. Вообще же следует заметить, что поощрения такого рода не играют и не играют существенной роли, кроме пропагандной, в возбуждении интереса к производственной деятельности у участников производства и, конечно, никак не могут рассматриваться как какие-то источники движущих сил в советской экономике.)

3. Идея экономического обособления хозрасчетного предприятия содержит в себе глубокое внутреннее противоречие идее единого централизованного планирования. Главная идея хозрасчетной системы — поднятие чувства личной ответственности людей за ведение хозяйственных дел, но она не достижима, если людям не доверить всей полноты руководства порученным делом. Система хозрасчетных отношений теоретически является системой хозяйственного обособления предприятия, при котором вся полнота хозяйственной власти переходит в руки руководителя такого предприятия, имеющего в своем распоряжении большое количество людей, огромные денежные средства и материальные ресурсы. Встает вопрос, а что же происходит с предприятием, которое пере-

ведено на хозрасчет и основывает свою деятельность на обособленном промышленно-финансовом плане в том случае, если у руководства им оказываются люди неспособные или нечестные, и если они приводят хозяйство к финансовому краху, и, с другой стороны, что происходит с самими виновниками краха. В условиях планового хозяйства было бы слишком большим ущербом для всего народного хозяйства провал отдельного хозяйственного звена экономики. С одной стороны, он означал бы срыв выполнения планов многих других звеньев экономики, связанных с ним планами, с другой, — совершенно несправедливый удар по потребностям общества. Не следует при этом забывать, что в условиях СССР нет предприятий, способных в порядке конкуренции моментально подменить другое предприятие, потерпевшее крах, как нет вообще конкуренции. Поэтому, если дело доходит до провалов, то большевикам ничего не остается делать другого, как только выправлять создавшееся положение, невзирая ни на планы, ни на условия и условности хозрасчета, ни на финансовые обстоятельства, путем оказания помощи в средствах, в людях и в материалах. При этом все расчеты оборотных средств, финансовая дисциплина и пр. летят в пропасть. В особо важных случаях власть не останавливается ни перед чем. Но это значит, что с виновников краха социалистического предприятия тем самым снимается прямая ответственность за провал общественного дела. Система хозрасчета, призванная большевиками усилить ответственность за порученное дело, именно с этой стороны уже теряет наполовину свой первоначальный смысл: люди чувствуют, что как бы ни было плохо — выход будет найден; задача только в том, чтобы не оказаться лично виновником провала в глазах власти. Частный предприниматель, если он разоряется и вынужден прекратить свое дело, причиняет несравненно меньший ущерб обществу, поскольку его предприятие в тот же час замещается на рынке спроса и предложения его конкурентами, либо переходит в руки других владельцев. С другой стороны, если он не совершил своими действиями уголовно наказуемых преступлений, он остается достаточно наказанным уже тем, что, потерпев неудачу, он из предпринимателей превращается чаще всего в человека без средств.

Развал хозяйственной деятельности в любой отрасли в СССР, как я уже сказал, больно бьет по насущным интересам общества и наносит серьезный удар по экономике страны в целом, и в то же время для виновника развала нет иного наказания, кроме как уголовного, т. е. тюрьмой или лишением жизни. Неудивительно, что

в СССР за «хозяйственные» преступления ежегодно осуждаются сотни тысяч людей, а другие сотни тысяч обвиняются в «сознательном вредительстве в области экономики, с целью вызвать недовольство и озлобление против советской власти и социализма».

Советская власть и коммунистическая партия беспрестанно стоят перед фактами провалов и перед необходимостью их оправдания путем обвинения конкретных лиц. Люди, если их потребности остались не удовлетворены и если они при этом не видят причины или непосредственных виновников, начинают ругать советскую власть и советскую систему, т. к. раньше, до советской власти, по крайней мере, покупательские потребности всех слоев населения были удовлетворены всегда. Коммунистическая партия всегда готова к тому, чтобы изобретать виновников и на них переводить недовольство народных масс, вместо того, чтобы копаться в действительных причинах, в результате чего обнаружилась бы ее собственная вина и вина мертворожденной системы человеческих отношений, ею созданной, вина карьеристов-вождей или лиц, коих партия сама посылает руководить народным хозяйством, как верных своих слуг и исполняющих ее волю и ее политические прихоти. Стоящие у руководства хозяйством коммунисты, в случае провалов, чаще всего, прячутся за спину малокомпетентных партийных организаций, поскольку вся деятельность «хозяйственника» протекала в контакте с ними и под их повседневным руководством, и с помощью этих организаций перекладывают ответственность на специалистов, т. е. на тех, кто планирует, учитывает, осуществляет действительное руководство производством, не будучи в то же время облеченным доверием и правами. Так возникают бесчисленные «дела» против специалистов о вредительстве, служебных преступлениях и саботаже. Но отсюда вытекают весьма важные рассуждения.

Единое народнохозяйственное планирование (по крайней мере, в советских условиях) не может быть осуществлено, если выполнение плана по отдельным хозяйственным объектам передоверено отдельным лицам и, таким образом, зависит от их индивидуальных качеств (иными словами, если выполнение плана в отдельных частях подвержено случайности). Контроль над всеми объектами, как учит советская практика, должен быть повседневным и во всем, дабы *заранее* предупреждать срывы планов в любой хозяйственной точке, а это значит, что инициатива людей — руководителей должна быть ограничена, как и доверие к ним, хотя формально руководитель предприятия, переведенного на хо-

зайтвенный расчет, является как бы полным хозяином на своем деле.

В этом заключается наиболее серьезное противоречие идеи обособления предприятия смыслу единого планового хозяйства типа советского.

Так оно и есть на самом деле. Невзирая на формальное обособление хозяйственных предприятий путем перевода их на хозяйственный расчет, на практике доверие к руководителям хозяйства и возможность проявления с их стороны личной инициативы сведены на нет. Известно, что руководитель советского хозяйственного предприятия принуждается к согласованию почти всех своих действий с бесчисленными советско-партийными органами, с собственными политотделами, с так называемой советской общественностью, не говоря уже о вышестоящих организациях по прямой линии. Повседневно согласовываются вопросы назначений, поощрений и взысканий, перемещения лиц (до рабочих включительно: напр., стахановцев, партийцев), почти все организационные вопросы (структура, штаты и пр.), распределение квартир между рабочими и служащими, первоочередность работ, планы, графики работ, расстановка сил и распределение технических средств по выполнению планов, вопросы материального снабжения, транспорта, отчетности и др. и т. п. Переутомление руководителя хозяйственного предприятия совещаниями и бесконечными телефонными согласованиями, в сущности, лишает его возможности выполнять плановое задание самостоятельно с помощью и при посредстве переданных в его руки оборотных средств, предназначенных для этой цели.

*

Рассмотрение недостатков и противоречий финансовой системы хозяйственного расчета могло бы быть продолжено еще, но хотелось бы подойти к главной проблеме финансового обособления предприятия еще и с другой, принципиальной стороны, а именно — стоимости производства.

Практика и теоретическое развитие финансовой системы хозяйственного расчета показывают, что сама идея, заложенная в постановлении ЦО СССР от 23 июля 1931 года, действительно ознаменовавшем переход всей экономической системы Советского Союза на иные организационные формы, не получила своего завершения, поскольку это постановление, как и все последующие директивы, изданные в развитие этого постановления, игнорируют понятие стоимости как регулятора и как комплексного

измерителя хозяйственной успеваемости предприятия. И это не случайно.

Финансовое обособление предприятия предполагает строгое разделение издержек обращения и производства между организациями, участвующими в процессе производства и обращения. При наличии собственных капиталов, коими предприятие полностью распоряжается в целях выполнения плана, оно может нести ответственность только за конечные результаты своей деятельности: за выполнение плана по объему и ассортименту и за конечную стоимость производства, но не за частные элементы, составляющие стоимость, в то время как методика единого народнохозяйственного планирования построена на учёте и централизованном планировании элементов, слагающих себестоимость национального производства. Таким образом, при всех словесных утверждениях полноправности руководителей советского производства, в смысле выполнения плана и распоряжения вверенными им собственными оборотными средствами предприятия и с этой стороны, — они принуждаются к осуществлению режима экономии и к снижению не комплексной себестоимости, а только лишь элементов себестоимости, что, конечно, далеко не одно и то же в смысле организации производства. Так, напр., руководители советского производства принуждаются к снижению накладных расходов и даже к снижению отдельных элементов накладных расходов, недопущению убытков от прогулов и опозданий, потерь от брака и пр., сокращению вспомогательной (ненормируемой) рабочей силы, фонда заработной платы по основной рабочей силе, в сравнении с выработкой, и пр. и т. п. Многими, очень строгими директивами и распоряжениями устанавливается внутренний распорядок в колхозах и на производстве в форме, исключавшей какое бы то ни было проявление собственной инициативы со стороны руководства производством. При этом исполнение подобных директив заслоняет собою для всего руководства производством все иные вопросы хозяйственной деятельности, а, следовательно, и вопросы себестоимости продукции, поскольку в круг его ответственности включаются частные вопросы. В то же время конечный результат — стоимость производства, чаще всего, обходится молчаливым или фигурирует только в сравнительных данных отчетов.

Практика и теория советской экономики идут в ином направлении. В известной статье Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», в разделе «Вопросы о законе стоимости при социализме», говорится: «...закон стоимости не имеет репулирующего значения в нашем социалистическом производстве, но все же

он воздействует на производство... в связи с этим на наших предприятиях имеют актуальное значение такие вопросы, как вопрос о хозяйственном расчете... Сфера действия закона стоимости при нашем экономическом строе строго ограничена и поставлена в рамки... не может при нашем строе играть роль регулятора...»

Таким образом, Сталин отрицает роль стоимости, как регулятора производства (хотя и не отрицает связи с нею хозрасчета), а, следовательно, и возможность проявления полной инициативы отдельным производственным предприятием, выделенным на полный хозяйственный расчет и финансово обособленным. В той же статье Сталин повествует о том, что учет действия закона стоимости на советском предприятии учит хозяйственников многим полезным вещам и в том числе «...систематически улучшать методы производства, снижать себестоимость, осуществлять хозяйственный расчет и добиваться рентабельности». Как видим, все понятия в данном случае свалены в одну кучу, при этом хозрасчет упоминается как нечто самоудовлетворяющее, в одном ряду с категориями, составляющими, собственно, хозрасчет как таковой.

Закона стоимости я коснулся в данной статье только в связи с анализом хозрасчета, но в то же время я полагаю, что мои замечания к основным положениям статьи Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» в той части, где он трактует вопрос о законе стоимости при социализме, которые действительно и по сей день, в сущности, исчерпывают полностью рассуждения по этому вопросу.

Может ли быть достигнуто в советских условиях превращение закона стоимости в главный закон производства и обращения, с подчинением ему всей жизни хозрасчетного предприятия, — это вопрос особый. Ответ на него следует искать в природе хозяйственных форм советской экономики и в движущих силах этой экономики. Но вряд ли он будет положительным.

Благодарная память сердца

Культура немислима без преемственности, без благодарной памяти об ушедших поколениях и о том вдохновении, которое ими руководило. На отрицании или насильственной стилизации прошлого культуру построить невозможно. Превращенная в «служанку политики», политика теряет способность радовать и вдохновлять, становится, по слову Евангелия, «солью, потерявшей силу...» Попытка коммунистической диктатуры в нашей стране, направленная на создание собственной, насквозь «политической» культуры, привела лишь к разгрому и уничтожению дореволюционной культуры, положительные же усилия так и не вышли из стадии унылых потуг. Этим объясняется тот повышенный интерес к дореволюционной русской культуре, который характерен для молодого поколения нашей страны. Даже воспоминания И. Г. Эренбурга — двусмысленные, как всё, что написано Эренбургом после его перехода в советский лагерь — пользуются опромным успехом уже потому, что в этих воспоминаниях Эренбург рассказывает о деятелях культуры, которые предпочли преследования и гибель «доходному» социалистическому реализму. Что же говорить о книгах, которые написаны в условиях свободы, без тех оговорок и недомолвок, которыми прикрывается Эренбург, о книгах, рисующих щедрую и многоликую культурную жизнь дореволюционной России? К этой, уже довольно значительной, мемуарной литературе, где воспоминания перерастают в памятник эпохе, принадлежит книга редактора очень известного дореволюционного журнала «Аполлон» Сергея Константиновича Маковского.

С. К. Маковский уже выпустил в 1955 году книгу «Портреты современников». Настоящая книга, продолжающая первую, представляет собой сборник статей, посвященных поэтам, писателям, художникам и музыкантам «серебряного века», века Александра Блока, названного так в противовес «золотому» пушкинскому веку. Книга воспоминаний, даже в том случае, если эти воспоминания подчинены единой теме — в данном случае: желанием приобщить «потомков светлого племени» к духу блестящей эпохи — не есть исследование. Галерея портретов — Владимир Соловьев, Случевский, Зинаида Гиппиус, Анненский, Блок, Гумилев, Евреинов и другие — объединена лишь общей атмосферой времени. Это была эпоха предреволюционного томления, страстных споров, дворческого торения.

Первая глава книги Маковского, посвященная религиозно-философским собраниям, быть может, больше других обобщает дух эпохи. После позитивизма XIX века русская мысль властно потянулась к религиозной теме, к осмыслению временного в свете вечного и неподверженного изменениям. Именно тогда определялся лик оригинальной и самостоятельной русской философии, связанной с именами Соловьева, Булгакова, Бердяева, Шестова, философии пр. преимуществу религиозной и историкофилософской. На религиозно-философских собраниях передовая русская интеллигенция впервые села за один стол с представителями традиционной церковности — председателем религиозно-философских собраний был молодой тогда архиепископ Финляндский Сергей, впоследствии, уже в советское время, ставший патриархом. Из светских богословов на религиозно-философских собраниях выдающуюся роль играли рано умерший В. А. Тернавцев и А. В. Карташев — впоследствии министр Временного правительства и, в эмиграции, профессор Духовной Академии в Париже. Среди представителей «ищущей» интеллигенции выделялись Д. С. Мережковский и В. В. Розанов. О чем только ни спорили на этих собраниях! О взаимоотношении религии и культуры, о социальном христианстве, об идеале подвижничества и о «святости плоти»... Из этих собраний, после 1905 года, родилось «Религиозно-философское общество» и журнал «Новый путь». От него вели свою генеалогию журналы, выходявшие уже в эмиграции — бердяевский «Путь» и «Новый Град», редактором которого был Г. П. Федотов.

Вспоминания С. К. Маковского о Владимире Соловьеве и о Блоке внесут живой элемент в ту исследовательскую литературу, которая посвящена этим выдающимся людям. Быть может, главная заслуга автора книги в том, что он воскресил образы менее известных деятелей культуры, которые, однако, внесли свой значительный вклад в сокровищницу «серебряного века». Кто среди молодого поколения знает таких поэтов, как Константин Случевский или граф Василий Комаровский? Даже эмиграции они едва известны, ибо умерли до революции (Случевский — в 1904, граф Комаровский — в 1914 году) — в отличие от Зинаиды Гиппиус и Евреинова, которые в такой же степени принадлежат «серебряному веку», как и эмигрантскому Парижу, в котором они прожили десятки лет. О Случевском была статья «Неузнанный поэт бессмертия» в журнале «Грани» номер 41, о поэте Комаровском пишущий эти строки узнал впервые из рецензируемой книги. Этот замечательный поэт, в стихах которого, по правильному определению Маковского, звучит «классическая, пушкинская, повествовательная точность», умер тридцати двух лет душевнобольным. Вот сонет Комаровского «Вечер», который, как сообщает Маковский, часто читался в редакции журнала «Аполлон»:

За тридцать лет я плутом ветерана
 Провел ряды неисчислимых пряд;
 Но старых ран рубцы еще порят
 И умирать еще как будто рано.
 Вот почему, в полях Медиолана,
 Люблю прозы воинственный раскат.
 В тревоге облаков я слушаю рад
 Далекий гул небесного тарана.
 Темнеет день. Слышнее птичий прай.
 Со всех сторон шумит дремучий край,

Где залегли зловещие драконы.
В провалы туч, в зияющий излом
За медленным и золотым орлом
Пылающие идут легионы.

Князь Сергей Михайлович Волконский... Внук известного декабриста, принадлежавший к одной из самых родовитых и самых просвещенных аристократических семей, он был живым опровержением той убогой клеветы, которую возводит на русское дворянство критика советского периода. Просвященный «европеец» и широкий русский барин, он был, в течение короткого времени, директором императорских театров. От этой должности он отказался из-за конфликта с дворцовым ведомством и жил «вольным художником», сотрудничая в ряде журналов. Князь Волконский соединял любовь к театру с самыми обширными научными интересами — об этом свидетельствуют его книги «Человек на сцене» и «Выразительный жест». Он был близок к Станиславским, увлекался теорией телесной ритмики и психофизической философией Штейнера. Даже уже в советское время, при поддержке Луначарского, ему удалось создать «Ритмический институт» — это было время всяческих экспериментов и «поисков нового». В революционной Москве он тяжело нуждался, жил впроголодь, но ничто не могло остановить пылливой работы мысли. В эти годы зародилась его книга, вышедшая уже в эмиграции («Быт и бытие. Из прошлого, настоящего, вечно-го»), к этому же времени относится его дружба с М. И. Цветаевой, о которой упоминает С. К. Маковский. Цветаева всем сердцем прильнула к просвещенному, благородному Волконскому, который остался барствено-независим и внутренне свободен даже среди обезумевшей, революционной Москвы. Чувство восторженного ученичества, которое испытывала Цветаева к С. М. Волконскому, нашло отражение в ее стихах этих лет. Маковский не приводит этих стихов, мне не приходилось встречать их в печати, и потому я разрешаю себе воспроизвести на память отрывки из этих чудесных цветаевских стихов:

Быть мальчиком твоим светлоголовым
О, через все века!
За пыльным пурпуром твоим брести в суровом
Плаще ученика!

.....
От всех обид, от всей земной обиды
Служить тебе — плащом!

Страстная «философия неравенства» (по выражению Бердяева), столь характерная для Цветаевой, ненависть к грубой силе, которая считает себя вправе гнать всё благородно-беззащитное, нашла свое выражение в стихах, рисующих князя С. М. Волконского на одной из долукачек революционной, обнищавшей Москвы:

Вьменивай среди нището Арбата
Гнилую сельдь на пачку лагирос...
Всё равенство нарушит нос горбатый —
Ты — горбонос, а он — курнос...

Волконский умер в эмиграции в том самом 1939 году, когда М. И. Цветаева вернулась в СССР. Два года спустя она покончила с собой в глуши, куда ее забросила эвакуация...

Книгу С. К. Маковского откладываешь с чувством благодарности к автору. Пером С. К. Маковского руководила «память сердца», которая, по словам одного из прекраснейших русских стихотворений, «сильней рассудка памяти печальной».

С. Сокольников

Лунный поэт

И. О.

...Вся сиянье, вся постоянство,
Как осколок погибшей звезды —
Ты заброшена в наше пространство,
Где тебе даже звезды чужды...

Георгий Иванов

В № 47 «Граней» было уже отмечено это событие: выход нового поэтического сборника «Десять лет» Ирины Одоевцевой. Но хочется к нему вернуться еще раз: из непосредственного соприкосновения с ее поэзией возникает уверенность, что Одоевцева — поэт не нашей планеты. И не земная стихия сродни ей.

Из всего земного царства она как наиболее родственное и созвучное своему естеству избирает — «хоть и странно сознаться мне в этом» — электричество, явление, природа которого таинственна по сей день и проявляется в земной жизни лишь частично.

Без крупной ошибки, вероятно, можно сказать, что родной стихией поэта является стихия космоса, в котором «рассыпаются миры, обрываются кометы», кружатся «звездолетные карусели», «звезда поет. Звезда зовет звезду». Поэт скользит «среди звезд и снов». Для космических пространств характерен абсолютный холод, ледяные глыбы, голубой искрометный свет молний, зеленоватый мерцающий свет звезд.

Во Вселенной совершает свой путь и Луна, таинственным образом влияющая на нашу жизнь, но сама живущая по своим особым законам. Луна играет совершенно удивительную роль в жизни поэта. Душа его тянется к Луне. Голубой, ледяной и призрачный свет освещает творчество поэта, тянет его к себе, как в транс. Луна присутствует во многих стихотворениях сборника. «Ничего я не любила, кроме лунных ожерелий», признается Одоевцева. Она ждала подарка: «Луны, положенной на золотое блюдо». Но Луна для нее и нечто гораздо большее: близкое, родственное, живое и одухотворенное:

— Луна, далекий друг, сестра моя луна...

Лидовые розы на льду, зеркала, светлячки, русалки и ундины, выплывающие с лунного дна, «в лунно-ледяной карете Гордая Царица Льдов», «голу-

Ирина Одоевцева. «Десять лет», изд-во им. Ирины Яссен, «Рифма», 1961, Париж.

бая суматоха», «лунные стружки» — всё это и еще многое другое подтверждают особые взаимоотношения поэта с древним спутником Земли.

Лишь приняв в себя эту особую космическую стихию, можно проникнуть в ряд поэтических формул Одоевцевой:

Беспощадно метет метелка,
Полнолуны́м светом звеня,
Выметая в пространство меня.

В стихии космоса, но ближе и роднее всего к Луне, поэт ощущает себя вольно, легкокрыло и уверенно, скользая по зеркально-голубой поверхности лунных, недоступных нам миров. Там всё призрачно, изменчиво. Нет твердых, застыло-окаменевших форм земной жизни. Нет и земного притяжения. А есть легкость и веселье свободного полета.

Подводя итоги своей жизни, поэт признается, что: «Весельем и волнением ожидания Светился каждый новый день и час Без сожалений, без воспоминаний...» В этом признании особенно легко улавливается инопланетная сущность поэта: он лишен самого земного — сожалений и воспоминаний. И именно с этого момента легко проследить центральный внутренний конфликт поэта-человека: конфликт двух вселенных. Волею Высших Судеб поэт был переселен на Землю, одет в тягостную земную плоть и вынужден был покориться земным закономерностям — физическим и духовным. Две реальности не могут одновременно вмещаться в одном человеке. Они немедленно вступают в смертельное единоборство. Для поэта земной мир чужд и страшен:

Отравлен воздух, горек хлеб —
Мир нереален и нелеп...

Размеренность земного мира приводит поэта в черное отчаянье. Логика лунного поэта — «дважды два — не четыре, а пять». Для пробудившегося от бреда-сна поэта, вырванного из его сказочного мира,

Сразу всё в порядок пришло.
Из прозрачно-зеркального лона
Нереальность скользнула на дно...

Живая сказка, в которой всё возможно и легко, ушла в глубины творчества, в мир иррациональный, и поэт, снова задыхаясь, как существо, выброшенное из родных океанских глубин на прибрежный песок, с ужасом ощущает чужую земную закономерность:

И теперь, как повсюду в мире,
В эмигрантской полуквартире
Дважды два не пять, а четыре.

И этот мотив земной обреченности слышен очень отчетливо. Исход земной жизни всегда один: смерть. Всё заранее рассчитано на этой спрассанной, могуче притягивающей Земле, по которой тяжело ступая, бродят бескрылые, оплутые в весомую грубую плоть, существа — люди.

Всё наперед бессмысленно — расчислено
 По квадратам размерено.
 Прямо под откос —
 К беде.

Предопределённость и обречённость — две чертги, два спутника земной жизни. Лунный поэт, отбиваясь от них, старается жить «без сожалений, без воспоминаний», «без предчувствий», «не волнуясь, не любя».

Но его веселье всегда сопровождается неразрывно тоской, усталостью, отчаяньем:

...О том, как я жизнь любила,
 Как весело было мне.
 О том, что моя тоска
 Тяжелее морского песка...

*

По земному закону бытия человеку претит одиночество. Лунный же поэт одиночек по своей природе, и одиночек в положительном для себя смысле:

Нет в лазури одиноче
 Белопарусней меня!

Если бы поэт смог избежать земной любви, он избежал бы и земной судьбы. Но... однажды их стало двое. И поэт сразу потерял свое лунное веселое одиночество. Конфликт же миров не исчез, а лишь углубился. Для существ иных миров земная любовь противопоказана, ибо она — неотъемлемое качество Творца Земли. Любовь земная преобразует *любю* существ. Что же произошло с сущностью инопланетной? В поэтическом отношении — следующий загадочный результат: стихи, относящиеся к *любимому* человеку, продиктованные любовью к нему, отягощены земными чувствами раскаянья, жертвы, нежности, — и будто бы написаны другим поэтом. В них меркнет переливающееся нездешними огнями сияние космических стихий. И проступает лик человеческий, лицо земной женщины, повторяющей всё те же немногочисленные земные слова, произнесенные до нее тысячами поколений.

Может быть, разгадка лежит в том, что лунный поэт, легко и весело влюбленный в голубые блестящие, как зеркала льды, дробил себя во множестве отражений, уходящих зеркальной дорожкой в бесконечность:

Всё вокруг двоится, тройится,
 В зеркалах отражаются лица,
 И не знаю я сколько их,
 Этих собственных лиц моих...

А в любви к *одному* человеку должно выявить себя *одно* лицо, как один — из множества существующих — проявленный анимок, *один* образ, зафиксированный земной любовью. И этот один, по сравнению с целым сонмом — беден, ущербен и повторен.

Но процесс земного воплощения начат, и его не остановить. Всё четче обрисовываются контуры *одной* души. Всё чаще приходят непрощенные

воспоминания. И никакие заклинания их не в силах остановить. Неумолимо захватывают поэта, как шестерни гигантской машины, законы земного времени. Ушел в смерть тот, кто приобщил к земной жизни. И Одоевцева начинает ощущать свое одиночество уже совсем по-новому, по-человечески, то есть трагически:

С тех пор, как умер ты, — одна на целом свете...

Это новое ощущение и новое осознание одиночества приводит к незнакомому до сих пор чувству раскаянья:

Я не могу простить себе...

Цикл развивается дальше: воспоминание — одиночество — раскаянье — страх:

Мне очень страшно быть одной,

но

Еще страшнее быть с другими...

Противоречие приводит в тупик. Оно неразрешимо.

Но борьба двух реальностей разных вселенных не окончена. Не сдаётся лунная душа! Всё в движении, в противоречии, в последней схватке противоположных миров; земное время ещё не задушило вечную молодость поэта. Она не сливается в нечто органически-цельное, нераздельное с телом, подчиненным законам старения и, в конечном счете, — смерти.

Жизнь прошла. Безвозвратно прошла.

Жизнь прошла. А молодость длится.

Или:

...А то, что молодость так бесконечно длится,

Когда давно она мне больше не нужна.

Это промежуточное, раздвоенное состояние рождается от тяжкого неразрешимого внутреннего конфликта и выражает себя в странном пребывании поэта *между* «вчера», «сегодня» и «завтра»:

Уже не сегодня, еще не вчера...

Или:

Как далеко до завтра... До вчера...

Поэт находится в *провале* времени, в каком-то таинственном межвременье, где он, обманчиво для себя, как бы вырывается из цепких лап Земли и Времени и снова обретает утраченную было веселую скользящую «среди звезд и снов» легкую лунную плоть. Но не так-то легко вырваться и улечься. Притяжение земли уже непреодолимо:

Разбиваются чайки о снасти,

Разбиваются лодки о льды,

Разбиваются души о счастье.

Расцветают крестами сады,
 Далеко до зеленой звезды...
 Как мне душно.
 Дайте воды...

И процесс земного воплощения поэта иных миров неумолимо продолжается.

✱

Этот сборник — сложный, противоречивый, насыщенный отчаянным сопротивлением законам Земли. Смертельная борьба поэта происходит на самом краю бездонной пропасти, жадно разевающей пасть, чтобы поглотить борющегося. Враждебен земной мир. Веселья нет. Крыльев нет. Тянет тьмой и холодом из мировых щелей... И вот в тот момент, когда нога уже соскользнула в пустоту, вдруг раздался отчаянный крик о спасении:

— О, любите меня, любите,
 Удержите меня на земле,
 О, любите меня, любите,
 Помешайте мне умереть!

Что означает этот крик? Свершившееся окончательно воплощение? Примирение с Землей? Озарение духа: любовь — чудо, только она в состоянии спасти и обессмертить?

Не будем гадать. Мы невольно оказались свидетелями самых сокровенных и причудливых тайн бытия. И поблагодарим за это.

Заклинаю страданье — исчезни!
 И чтоб мне простились грехи,
 Превращая болезнь в стихи...

Это чудо «превращения» произошло: перед нами подлинная поэзия.

Н. Тарасова

Дальневосточная трагедия

Книга начинается изложением мирового положения в момент окончания Тихоокеанской войны. Силы Японии окончательно подорваны, она ищет наиболее приемлемые условия для капитуляции.

Летом 1943 года в Квебеке Рузвельт и Черчилль определили судьбу двух держав, Германии и Японии: «безоговорочная сдача». В августе того же года, в Каире, с участием Чан Кай-ши, они же закрепляют эту позицию

О первом томе см. рецензию В. Липвинова «Белые ризы и грязные руки», «Грани» № 41. — Ред.

Петр Балакишин. «Финал в Китае». Том второй, изд-во «Сидриус», Париж, 1959. Стр. 374.

в отношении Японии, которая должна быть «изгнана из всех территорий, захваченных ею насильственным путем».

Балакшин раскрывает настроения правящих кругов США того периода в отношении так называемого «русского вопроса»: «Государственный Департамент США находился под сильным влиянием разношерстных деятелей с большим просоветским влиянием и коммунистическим уклоном». Напоминания об ответственности за этот период, который явился краеугольным камнем последующих судеб мира, автор говорит: «В свете фатального заблуждения Рузвельта и Черчилля, что в сознании советских правителей происходят глубокие сдвиги, шли совещания в Тегеране и Ялте».

В Ялте выяснились условия, на которых СССР вступит в войну с Японией. Эти условия были определены в частном совещании Рузвельта и Сталина; в общей форме звучат они так: «никаких трудностей не произойдет», отвечает Рузвельт на поставленный вопрос, если СССР получит справедливое вознаграждение за свое участие в Тихоокеанской войне.

Описание семидневной войны Советского Союза с Японией, сведенной смертельной судорогой атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки, дано четко, так же, как и цинизм Сталина, стремящегося продлить свое упоение победой и поэтому задержавшего сообщение о капитуляции на неделю.

Балакшин подробно описывает условия на внутреннем состоянии эмиграции, на интересе к ней советских органов, на роли оккупационных японских властей. Из Харбина выезжает только 40 человек. Остальная часть оседает по разным причинам. Однако автор объективно отмечает роль японских властей в деле эвакуации, основанной на понимании политического момента: кто хотел, мог уехать; специальный состав был подготовлен, но ушел из Харбина почти пустым. В последующий период такого понимания у организации ИРО, специально предназначенной для этой цели, мы уже не находим.

Раскрывается автором и личная судьба атамана Семенова и вождя фашистов Родзаевского. Атаман, не принимавший никакого участия в политической жизни и изолированный японскими властями, был не в курсе всех судьбоносных свершений. Затем он был вывезен в Советский Союз. Семья его подвергается надругательству чиновников государственной безопасности. Родзаевский (глава «Пять дней, перековавших душу») пишет пополнение того морального долга, которым автор сам себя обязал перед собственной совестью. Труд его проникнут скорбью к обездоленным и предельной честностью по отношению к тем деятелям, которые, в процессе жизни, находили не всегда верные пути.

Но нам кажется, что к труду Балакшина следует отнестись с должным вниманием еще и по другой причине: им освещается путь, пройденный эмиграцией, — тот опыт соборного страдания русских людей и утверждения их в подлинном патриотизме, который в той или иной мере пережит всей эмиграцией в целом. И не только эмиграцией, но и всей Россией. И как эмиграция постепенно освобождается, в течение сорокалетнего своего пути, от тех болезней, которыми было заражено общество перед революцией, так и Россия переживает тот же глубинный процесс в сознании народа. Это соборное спадание и очищение — процесс общего российского порядка, не зависимо от рубежей, временно разделяющих русских.

Книжка Балакшина наталкивает на подобные мысли и ассоциации. И в этом переосознании пережитого в широком масштабе ее особая ценность.

Г. Шикин

ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

(июль—декабрь 1961 г.)

- 1.7. — Английские войска высадились в Кувейте.
— Войска Саудовской Аравии вступили в Кувейт.
- 2.7. — Американский писатель Эрнст Хемингуэй погиб в результате несчастного случая.
- 3.7. — Чан До Ен ушел с поста председателя Высшего совета национальной реконструкции и главы правительства Южной Кореи.
— Председателем Высшего совета национальной реконструкции назначен генерал-майор Пак Чжон Хи, главой правительства — генерал Сон Ен Чхан.
- 7.7. — Открылась советская выставка в Лондоне.
- 8.7. — Опубликовано нота советского правительства правительству США от 5 июля по вопросу о прекращении испытаний ядерного оружия (ответ на ноту правительства США от 17 июня).
- 9.7. — Всенародным голосованием принята новая конституция Турции.
- 11.7. — Французские генералы Салан и Жюу за участие в алжирском путче приговорены заочно к смертной казни.
- 14.7. — Президент Финляндии Кекконен утвердил правительство из представителей Аграрного союза, сформированное Миеттуненом.
- 17.7. — Тунисский президент Бурлиба произнес речь с требованием к Франции освободить военно-морскую базу Бизерта и передать часть территории Сахары Тунису.
- 18.7. — Опубликовано ноты трех великих западных держав Советскому Союзу по берлинскому вопросу.
- 19.7. — Начались вооруженные столкновения между французскими и тунисскими войсками.
- 20.7. — Тунис подал в Совет Безопасности ООН жалобу на Францию, обвиняя ее в агрессии.
— В Эвиане возобновились переговоры между Францией и алжирскими повстанцами.
- 21.7. — Состоялся второй полет человека (капитан Приссом) в космическое пространство с территории США.
- 26.7. — Опубликовано заявление ТАСС о возобновлении работы конголезского парламента.
— Начались заседания конголезского парламента.
- 28.7. — Вновь прерваны переговоры между Францией и алжирскими повстанцами.
- 30.7. — Опубликовано проект Программы КПСС.
- 2.8. — В СССР с официальным визитом прибыл председатель Совета министров Италии Амилторе Фанфани.
— Сирил Адула утвержден парламентом в качестве нового премьер-министра Конго.
- 3.8. — Нота советского правительства правительствам США, Англии и Франции о мирном договоре с Германией.
— Меморандум правительства СССР правительству ФРГ о мирном договоре с Германией.
- 5.8. — Опубликовано проект Устава КПСС.

— Председатель Совета министров Италии Аминторе Фанфани отбыл из Москвы на родину.

6.8. — Запуск на орбиту спутника Земли космического корабля «Восток - 2» с человеком (Г. С. Титов).

7.8. — Выступление Хрущева по радио и телевидению.

9.8. — Нота советского правительства правительству США по вопросу о прекращении испытаний ядерного оружия.

10.8. — Англия подала прошение о приеме в Европейское Экономическое Сообщество.

12.8. — Кувейт и Арабская Лига заключили соглашение о замене британских войск в Кувейте войсками Арабской Лиги.

13.8. — В Восточном Берлине опубликовано «Заявление правительств государств-участников Варшавского договора» по германскому вопросу.

— Опубликовано постановление Совета министров ГДР об усилении контроля на границах с ГФР и Западным Берлином.

15.8. — В Токио открылась Советская торгово-промышленная выставка.

— В Москве открылась Французская национальная выставка.

— Состоялись парламентские выборы в Израиле.

17.8. — В Канаде бежал советский ученый-химик М. А. Ключко.

— В Пунта-дель-Эсте (Уругвай) закончилась панамериканская экономическая конференция.

18.8. — Ноты правительства СССР правительствам США, Англии и Франции о положении в Германии (ответ на их ноты от 17 августа).

21.8. — Открылась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о Бизерте.

— На выборах в законодательное собрание Британской Гвианы Народно-прогрессивная партия Чедди Джагана получила 20 мест из 35.

22.8. — Закончился девятидневный визит Микояна в Японию.

23.8. — Нота правительства СССР правительствам США, Англии и Франции о воздушных путях в Западный Берлин.

25.8. — Президент Бразилии Куадрос ушел в отставку.

— Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию, рекомендующую Франции и Тунису переговоры о Бизерте.

26.8. — Ответные ноты правительства США, Англии и Франции правительству СССР о воздушных путях в Западный Берлин.

27.8. — «Национальный совет алжирской революции» преобразовал «Временное правительство Алжирской республики»; премьер-министром избран Бен Юсеф Бен Хедда (вместо Ферхата Аббаса).

— Самоубийство советского писателя Всеволода Кравченко в Кане (Франция).

29.8. — Опубликован «Ответ Н. С. Хрущева на вопрос американского журналиста Дрю Пирсона».

— Парламент Бразилии постановил отделить должность главы государства от должности главы правительства.

31.8. — Заявление советского правительства о возобновлении экспериментальных взрывов ядерного оружия.

— Послание Хрущева премьер-министру Конго Сирилу Адуле о признании его правительства.

1.9. — В Белграде открылась конференция нейтральных государств.

— В Москве на 81-м году жизни умер Уильям З. Фостер, американский коммунистический лидер.

2.9. — Нота советского правительства правительствам США, Англии и Франции об использовании воздушных путей в Западный Берлин.

3.9. — США и Англия предложили СССР не проводить испытания ядерного оружия в атмосфере.

4.9. — Открылась Советская выставка в Париже.

6.9. — Закончилась конференция нейтральных государств в Белграде.

— Прием Хрущевым премьер-министра Индии Неру и президента Ганы Нкруму с письмом от конференции нейтральных стран.

7.9. — Вице-президент Жоаю Гуларт вступил на пост президента Бразилии.

8.9. — Ответные ноты правительства США, Англии и Франции правительству СССР об использовании воздушных путей в Западный Берлин.

— Взрыв бомбы на пути следования президента Франции де Голля из Парижа в Колтомбе-ле-дез-Эглиз.

9.9. — Конференция по прекращению испытаний ядерного оружия прервала свою работу.

— «Заявление Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева» по поводу предложения США и Англии не проводить испытаний ядерного оружия в атмосфере.

10.9. — Опубликованы ответы Хрущева на вопросы обозревателя газеты «Нью-Йорк таймс» Стюльцбергера.

11.9. — Кубинский президент Освальдо Дорликос Торрадо прибыл в Москву.

12.9. — Президент Индонезии Сукарно и президент Мали Кейта вручили американскому президенту Кеннеди послание от конференции нейтральных стран.

15.9. — Заявление Министерства иностранных дел СССР о готовности к переговорам с США по германской и другим проблемам.

16.9. — Закончился процесс турецких государственных деятелей старого режима на острове Ясыада в Мраморном море.

17.9. — Парламентские выборы в ГФР.

18.9. — Генеральный секретарь ООН Дат Хаммаршельд погиб при авиационной катастрофе в Африке.

19.9. — Открытие XVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

20.9. — Совместное советско-кубинское коммюнике.

— Совместное советско-американское заявление о согласованных принципах для переговоров по разоружению.

— Преческое правительство Караманлиса подало в отставку. Король распустил парламент.

21.9. — Опубликован ответ Хрущева на вопрос корреспондентов «Правды» и «Известий» по поводу речи папы римского Иоанна XXIII.

23.9. — Опубликовано письмо глав делегаций конференций неприсоединившихся стран Хрущеву и Кеннеди от 5 сентября и ответ Хрущева от 16 сентября.

25.9. — Президент США Кеннеди выступил с речью перед Генеральной Ассамблеей ООН.

— Опубликовано Сообщение советского правительства о двусторонних советско-американских переговорах по вопросам разоружения.

28.9. — Восстание в Сирии.

29.9. — Опубликован меморандум советского правительства Генеральной Ассамблее ООН об испытаниях ядерного оружия.

— Мамун Кузбарри сформировал временное правительство Сирии.

— Франция и Тунис заключили соглашение о Бизерте.

30.9. — Опубликован меморандум советского правительства Генеральной Ассамблее ООН о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

— Закончился визит Брежнева в Финляндию.

— Отменено чрезвычайное положение во Франции, введенное 23 апреля.

1.10. — Опубликован меморандум советского правительства Генеральной Ассамблее ООН о разрядке международной напряженности и всеобщем разоружении.

7.10. — СССР признал правительство независимой Сирии.

9.10. — В Голландии попросил права убежища советский ученый-химик Алексей Голуб.

10.10. — Тувинская автономная область преобразована в Тувинскую АССР.

— США признали Сирию.

11.10. — Коммунистический Китай признал Сирию.

13.10. — Голландское правительство объявило советского посла Пономаренко «персона нон грата» в связи с его поведением в деле А. Голуба.

— Советское правительство потребовало опоздания голландского посла.

— Сирия вновь введена в состав ООН.

14.10. — Состоялся Пленум ЦК КПСС.

15.10. — Парламентские выборы в Турции.

17.10. — Открытие XXII съезда КПСС.

18.10. — Нота СССР Греции о военных маневрах НАТО вблизи болгарской границы.

23.10. — Камбоджа порвала дипломатические отношения с Таиландом.

— В районе Новой Земли взорвана советская атомная бомба мощностью в 30 мегатонн.

26.10. — Генерал Гюрсель избран президентом Турции.

27.10. — Опубликован ответ Хрущева на письма президента Ганьы Нкрума, премьер-министра Японии Икэда, императора Эфиопии Хайле Селасая и др. о ядерных взрывах.

— Монголия и Мавритания приняты в ООН.

— Генеральная Ассамблея ООН приняла обращение к СССР отказаться от взрыва атомной бомбы в 50 мегатонн.

29.10. — Состоялись парламентские выборы в Греции.

30.10. — В районе Новой Земли взорвана советская атомная бомба мощностью около 60 мегатонн тропила.

— Нота СССР Финляндии о консультациях по защите советских и финских границ от угрозы нападения со стороны Западной Германии и ее союзников.

31.10. — Закончился XXII съезд КПСС.

1.11. — Возобновились заседания международной конференции о Лаосе в Женеве.

3.11. — Исполняющим обязанности генерального секретаря ООН избран У Тан (Бирма).

6.11. — Заявление ТАСС о позиции США в отношении испытаний ядерного оружия.

7.11. — Западнотурецкий бундестаг избрал Аденауэра канцлером ГФР.

10.11. — Сталинград переименован в Волгоград.

11.11. — Столица Таджикистана Сталинабад переименована в Душанбе.

13.11. — Президиум Верховного совета СССР назначил В. Е. Семичастного председателем Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР.

— США и Англия предложили СССР возобновить переговоры о прекращении испытаний ядерного оружия.

14.11. — Брежнев вылетел в Судан.

— Растушен парламент Финляндии.

— Президентом Филиппин избран Макапалагаль.

15.11. — Опубликована временная конституция Сирии.

16.11. — Закончилось совещание работников сельского хозяйства республик Средней Азии, Азербайджана и южных областей Казахстана в Ташкенте. Речь Хрущева.

18.11. — Объявлено об уходе генерала Рафаэля Трухильо младшего с поста главнокомандующего вооруженными силами Доминиканской Республики.

20.11. — Русская Православная Церковь (Московской Патриархии) принята во Всемирный Совет Церквей.

21.11. — Совместное советско-суданское заявление в Хартуме.

22.11. — Опубликован ответ советского правительства на ноты правительств США и Великобритании о возобновлении переговоров по прекращению испытаний ядерного оружия.

— Закончилось совещание работников сельского хозяйства в Целинограде. Речь Хрущева.

23.11. — Восстановлены дипломатические отношения между Бразилией и СССР.

24.11. — Встреча Хрущева с президентом Финляндии Кекконеном в Новосибирске.

26.11. — Закончилось совещание работников сельского хозяйства в Новосибирске. Речь Хрущева.

28.11. — Заявление советского правительства в связи с возобновлением переговоров по вопросу о прекращении испытаний ядерного оружия.

— В Женеве возобновились переговоры между США, Англией и СССР о прекращении испытаний ядерного оружия.

— Опубликована беседа президента США Кеннеди с редактором «Известий» Аджубеом.

30.11. — СССР наложил вето на принятие Кувейта в ООН.

4.12. — Заявление советского правительства в связи с переговорами о прекращении испытаний ядерного оружия.

— Открытие V Всемирного конгресса профсоюзов в Москве.

- 6.12. — Открылась седьмая сессия Верховного совета СССР пятого созыва.
- 7.12. — Сингапур вошел в состав Малайской Федерации.
- 9.12. — Провозглашение независимости Танганьики.
— Речь Хрущева на Всемирном конгрессе профсоюзов.
- 10.12. — Советский посол в Албании и албанский посол в СССР отозваны со своих постов.
- 12.12. — Правительство СССР потребовало от правительства США выдачи немецкого генерала Хойзингера для предания его суду как военного преступника.
— Заявление правительства СССР правительству Дании по поводу военно-политического сотрудничества Дании с ГФР.
- 13.12. — В Москве закончилось совещание работников сельского хозяйства нечерноземной зоны. Речь Хрущева.
- 14.12. — Навем эль Кудси избран президентом Сирии.
— Танганьика принята в ООН.
- 15.12. — Адольф Эйхман, руководитель реферата по еврейскому вопросу в гитлеровской Германии, приговорен израильским судом к смертной казни через повешение.
- 16.12. — Генеральная Ассамблея ООН отклонила советское предложение о приеме коммунистического Китая в ООН.
- 18.12. — Индийские войска вступили на территорию португальских колоний Гоа, Даман и Диу.
— Президент США Кеннеди вернулся из поездки в Венесуэлу и Колумбию.
- 19.12. — Президент Индонезии Сукарно объявил о «тотальной мобилизации индонезийского народа на освобождение Западного Ириана».
— Ленинградский просмейстер Борис Спаский завоевал звание чемпиона СССР по шахматам.
- 20.12. — XVI сессия Генеральной Ассамблеи ООН прервала свою работу.
- 21.12. — Заявление советского правительства правительству Бельгии в связи с размещением на бельгийской территории баз бундесвера.
- 22.12. — Закончились двухдневные переговоры британского премьера Макмиллана с президентом США Кеннеди на Бермудских островах.
— В Киеве закончилось совещание работников сельского хозяйства Украины. Речь Хрущева.
- 25.12. — Советский посол в Гвинее Солод стозван из Конакри.
- 26.12. — Египет расторг союз с Йеменом.
- 27.12. — Восстановлены дипломатические отношения между Бельгией и Конго.
- 28.12. — Йемен порвал дипломатические отношения с Египтом.
- 29.12. — Председатель Президиума Верховного совета СССР Брежнев возвратился из Индии.
- 30.12. — Австралия обратилась к Индонезии и Голландии с призывом к мирному разрешению вопроса о Новой Гвинее.
- 31.12. — Премьер-министр Ирака Касем заявил о решимости «освободить и вернуть» Кувейт.

ДОРОГОЙ ДРУГ И ЧИТАТЕЛЬ!

Журнал «Гр а н и» издается не только для эмиграции, но и для России. Доля тиража, распространяющаяся у нас на Родине (конечно, бесплатно), всё возрастает. Продажа журнала зарубежным читателям и подписчикам не может окупить наших расходов на «Гр а н и». Редакция обращается поэтому к друзьям-читателям с просьбой: ПОМОЧЬ ЖУРНАЛУ ПОСИЛЬНЫМИ ПОЖЕРТВОВАНИЯМИ.

Список пожертвований на «Гр а н и», с выражением благодарности оказавшим помощь друзьям, помещаем ниже:

Константин Васильевич Болдырев	20 долл.
Владимир Иванович Бондаренко	20 »
Д-р. Валентина Ивановна Булюباش	30 »
Иван Афанасьевич Буркин	20 »
Сергей Львович Голлербах	10 »
Парфений Павлович Заворотнов	20 »
Николай Евгеньевич Кузнецов	5 »
Борис Анатольевич Нарциссов	20 »
Ирина Леонидовна Сагатова	15 »
Иван Михайлович Суханов	2 »
Борис Андреевич Филиппов	20 »

Copyright by „Possev“

Главный редактор **Н. Б. Тарасова**

Редакционная коллегия:

**А. Н. Артемов, Б. А. Нарциссов, А. Н. Неймирок, А. И. Поплюйко,
В. Д. Самарин, Б. А. Филиппов.**

Адрес редакции журнала «Гр а н и»:
Grany c/o Possev-Verlag, Frankfurt/M., Schließfach 2786

Условия подписки на «Гр а н и»: Цена отдельного номера 6 НМ
Подписка на четыре номера — 20 НМ.

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ
И ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА И НАУКИ,
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ

Доводим до сведения писателей, поэтов, литературных критиков, деятелей искусства и науки, не могущих опубликовать свои труды у нас на родине, что русское издательство «ПОСЕВ», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет эту возможность.

Повести, романы, рассказы, стихотворения, литературоведческие, публицистические, философские и научные статьи будут опубликованы в журнале «Г р а н и».

Отдельные художественные произведения, сборники стихотворений, сборники статей и научные труды могут быть изданы также отдельными книгами.

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

1. Издательство «Посев» принимает рукописи, подписанные псевдонимами.
2. Издательство «Посев» обязуется немедленно перепечатывать присланные рукописи на пишущих машинках, чтобы уничтожить малейшую возможность установить личность автора по почерку или по шрифту его машинки. После перепечатки рукописи уничтожаются. Издательство «Посев» гарантирует, что ни одна рукопись не попадет в чужие руки.

3. Все права на рукописи авторы передают издательству «Посев», включая сюда разрешение переводить рукописи на иностранные языки и печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение договоров с иностранными издательствами также передается авторами издательству «Посев».

4. Издательство «Посев» обязуется откладывать авторский гонорар в размере, соответствующем установленным в издательстве ставкам. Деньги будут храниться в издательстве до того времени, когда автор найдет возможность их получить.

5. Сорок процентов чистого дохода от издания беллетристических произведений или научных трудов как на русском, так и на иностранных языках, поступают в распоряжение автора. Остальные шестьдесят процентов поступают в фонд издательства «Посев» для расширения печатной базы и покрытия расходов по *бесилатному распространению* в СССР, через подпольные каналы, журнала «Грани» и книг, в том числе и произведений данного автора.

6. Если автор хочет издать свое произведение за рубежом, но не в издательстве «Посев», издательство берет обязательство передавать рукописи в другие русские зарубежные и иностранные издательства по указанию автора. В таком случае издательство «Посев» берет на себя защиту интересов авторов.

7. Не принятые издательством «Посев» или другими зарубежными издательствами по каким-либо причинам рукописи будут храниться в перепечатанном виде до того времени, пока автор не найдет возможным затребовать их обратно.

8. Во избежание возможных недоразумений при последующем установлении авторского права *рекомендуется прилагать к рукописи «вещественный пароль»*. Например: половину узорно разрезанной открытки, копию какого-либо рисунка или чертежа и т. п. У себя автор сохраняет другую половину открытки, оригинал рисунка или чертежа и т. п. Когда автор сможет и захочет — он предъявит этот «вещественный пароль», который совпадает с «вещественным паролем», хранящимся в издательстве, и легко утверждает свое авторство и свои права.

ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР
В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»?

- а) Через моряков торгового и военного флота, плавающих в иностранных водах.
- б) Через туристов, посещающих государства свободного мира.
- в) Через членов различных научных и общественных делегаций; спортивных команд, артистических групп, выезжающих из СССР за границу.

Примечание: во всех этих случаях необходимо иметь доверенное лицо или личного друга, который не подведет и не предаст.

г) Через иностранных туристов, посещающих СССР, через иностранных артистов, спортсменов, ученых, моряков. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не обратиться по ошибке к ненадежному, нечестному человеку.

д) Через иностранные посольства — при имеющихся определенных связях и возможностях. И в этом случае требуется соблюдение особой осторожности.

На передаваемой рукописи указать следующий адрес:

Possev-Verlag
Frankfurt/Main, 1,
Postfach 2786

Издательство «Посев»
Франкфурт-на-Майне
Почтовый ящик 2786

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Для тех, кто привезет рукопись за границу, имеется два пути ее дальнейшей отправки по месту назначения:

1. ИЗ РУК В РУКИ.

Представители издательства «Посев» есть во всех европейских странах, в Австралии, США, странах Южной Америки, Канаде, Северной Африке и др. Представители издательства «Посев» часто встречают моряков, туристов и делегатов, приезжающих из СССР в западные страны.

В связи с этим приехавший за границу имеет возможность связаться непосредственно с представителем издательства «Посев» и передать ему рукопись из рук в руки, указав в устной форме все свои пожелания.

2. ПО ПОЧТЕ.

Для этого требуется надписать на пакете указанный адрес издательства «Посев» и бросить в почтовый ящик или сдать на почту в любом западном государстве.

В случае, когда покупка почтовых марок является затруднительной или рискованной, можно посылать пакет без марок. Рукопись все равно дойдет по адресу, почтовые же расходы по ее отправке в этом случае оплачивает получатель — издательство «Посев».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Участвуйте в духовной революции нашей Родины — РОССИИ!

Активно, свободно и горячо выражайте подлинное общественное и политическое мнение всей страны!

На российскую интеллигенцию, прежде всего, на молодежь, возлагается историей ответственной задачей — стать свободным рупором нашего народа, его стремлений, чаяний, борьбы.

За свободное творчество!

За свободную Россию!

С дружеским приветом,
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

Цена 6 марок (6 DM)